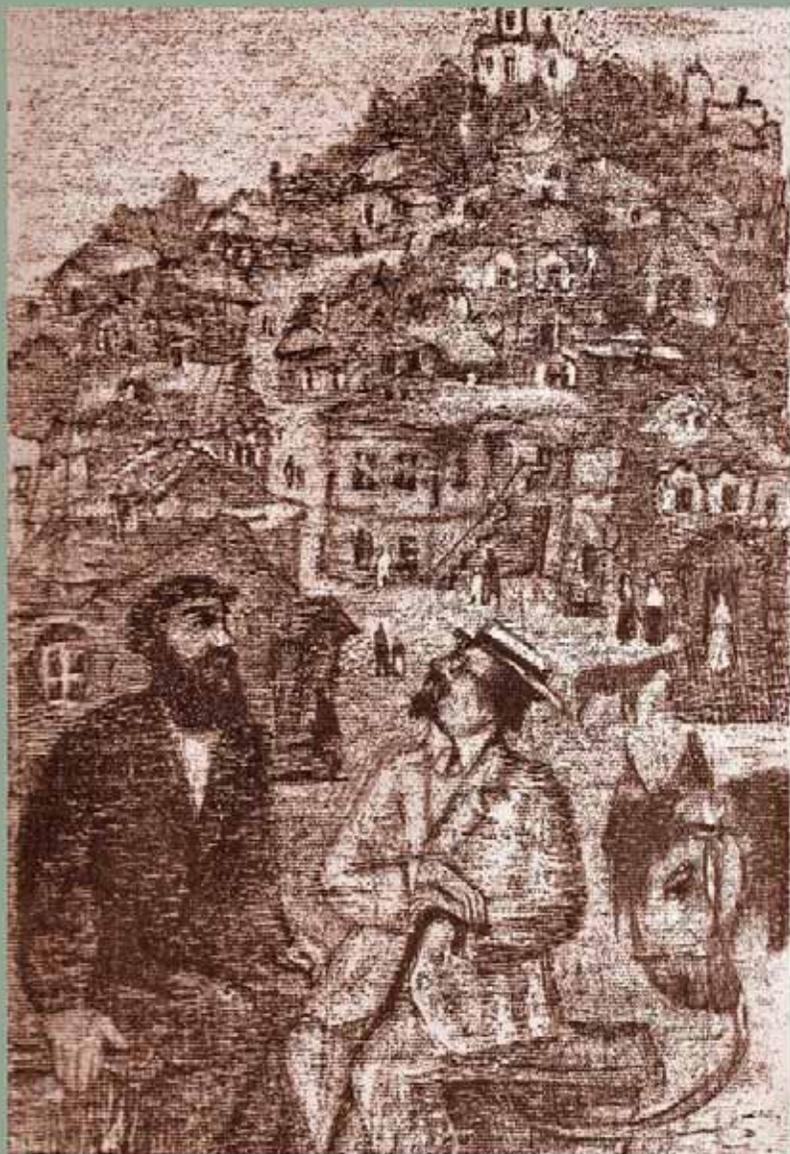


Литературный альманах

19

ДО И ПОСЛЕ



2015

ДО И ПОСЛЕ

Литературный альманах

АиП

№ 19

Берлин **2015**

Редакционная коллегия:

ЛЕОНИД БЕРДИЧЕВСКИЙ –
(главный редактор),
ГЕНРИЕТТА ЛЯХОВИЦКАЯ,
АНЖЕЛЛА ПОДОЛЬСКАЯ,
КАРА АБРАГАМ,
ДАВИД ЯНОВСКИЙ.

Компьютерная вёрстка
и оформление
Иосифа Малкиэля

Альманах иллюстрирован
литографиями
А.А.Каплана
(см. статью на стр 167)

ISBN 978-3-926652-98-0

Произведения, представленные
на страницах Альманаха,
публикуются в Берлине впервые.

Рукописи не возвращаются
и не рецензируются.
Права авторов сохранены.
При перепечатке ссылка на Альманах
обязательна.

Альманах отпечатан:
Druckerei CONRAD GmbH
Breitenbachstrasse, 34 – 36,
13509 Berlin, Tel.40 20 53-0



Der Klub der Literatur und Kunst bedankt
sich ganz herzlich beim Vorstand der
Jüdischen Gemeinde zu Berlin für die
Unterstützung bei der Herausgabe des
Literarischen Almanachs «Do i poße» № 19

Берлин, 2015

ДО И ПОСЛЕ

Литературно-художественный
альманах №19

Берлин, 2015



Яков Раскин

МЕСТЬ

Улица, широкая и пустая, ещё дремала, согретая ранним утренним солнцем, но из соседского дома сквозь открытые окна изредка доносился кашель, сонное бормотание – первые звуки пробуждения в прохладной тишине покоя.

В девять утра в актовом зале Академии художеств Алексею вручили диплом об окончании и, после торжественной части, он отправился домой готовиться к отъезду во Францию. В парижском аэропорту «Орли» его встречал старый друг Виктор, пару лет назад женившийся на француженке.

За ужином его жена Сюзан познакомила Алексея со своей подругой Жаклин, преподававшей в местной школе русский язык. Роман продолжался недолго, и вскоре отпраздновали скромную свадьбу. Прадед Жаклин, белогвардейский офицер, бежал из России с остатками врангелевской армии в Константинополь и после долгих мытарств осел в Париже, где умер в преклонном возрасте. Нужно отдать ему должное: его семья даже в третьем поколении была воспитана на русской культуре и дома старались говорить только по-русски.

Часами бродил Алексей по городу и окрестностям, искал натуру, писал этюды, но это мало удовлетворяло его: он хотел чего-то большего. Однажды он залюбовался расстилавшимся перед ним озером. Облака лежали на его невидимом краю, как лохматые снеговые горы. Окружающие озеро берёзки вызвали ранее незнакомое чувство ностальгии.

На следующий день он с мольбертом сидел в тени дерева и переносил на холст увиденный кусочек России. Этюд удался, и Алексей уже собрался было уходить, как вдруг почувствовал за спиной чей-то взгляд. Обернувшись, увидел средних лет полноватую даму с остатками былой

красоты. Она приветливо улыбаясь, указывала пальцем на этюд и что-то говорила. При слабом знании французского языка Алексей всё же понял, что ей понравилась его работа. Она протянула ему свою визитную карточку, из которой Алексей узнал, что зовут её мадам Вивьен и что она является хозяйкой картинной галереи. На прощание мадам одарила его очаровательной улыбкой и пригласила посетить галерею.

Дома он рассказал Жаклин о своём знакомстве, и они решили при первой же возможности нанести даме визит. Через несколько дней они припарковали автомобиль у здания, на котором красовалась вывеска: «*Картинная галерея мадам Вивьен*».

Хозяйка с очаровательной фарфоровой улыбкой вышла к ним в розовом брючном костюме с меховым воротником, предложив, пока она приготовит кофе, осмотреть собрание картин. Интуитивно Алексей был готов к встрече с хорошей, крепкой живописью, однако то, что он увидел, не оправдало ожиданий и вызвало разочарование, но тут Вивьен, прервав его размышления, внесла дымящийся кофейник и пригласила к столу.

– Как вам понравилась моя коллекция? – поинтересовалась она.

Жаклин, не очень разбирающаяся в живописи, дипломатично выразила своё восхищение. Алексей, в свою очередь, двусмысленно прижал голову к плечу, из чего невозможно было что-либо понять, хмыкнул и вежливо промолчал. После ничего не значащих фраз Алексей передал ей свои акварели. Ознакомившись, мадам Вивьен сказала, что акварели ей нравятся и изъявила желание их купить, но предложила такую низкую цену, что Алексей отклонил предложение. Вивьен немного увеличила сумму, но предупредила, что покупателям его имя незнакомо и она берёт на себя большой риск

– Соглашайся, – шепнула Жаклин по-русски Алексею, – для начала это не совсем плохо и даст тебе возможность хоть как-то зацепиться.

Вивьен вручила ему небольшой аванс, но заодно попросила расчистить и укрепить приобретённый ею пейзаж, находившийся, по её словам, долгое время в подсобке, и через несколько минут принесла, на первый взгляд, весьма посредственную картину. Заказ Алексей принял тем охотнее, что сидел на мели. Когда, приступив к работе, он снял потемневший лак, живопись и вправду похорошела, но, разумеется, банальность мотива и рутинная манера письма оставались – на них никакие припарки и реактивы не действуют. Дело шло к завершению, когда в одном месте вдруг отлетел небольшой кусочек красочного слоя. При дальнейшей расчистке Алексей обнаружил более раннюю и интересную живопись. Было очевидно, что это работа старого опытного мастера. Конечно, нужно было бы по меньшей мере заручиться

согласием мадам Вивьен, но та, как на грех, отбыла в Париж. Алексей, уверенный, что его находка вызовет восторг Вивьен, на свой страх и риск решил удалить позднюю живопись и тешил себя надеждой, что она непременно обрадуется, заполучив вместо заурядного пейзажа, каких на блошином рынке пруд пруди, картину не только более старую, но и более интересную.

Открытие Алексея не привело Вивьен в восторг. Напротив, она устроила безобразный скандал в связи с утратой «любимой» картины и тем самым вогнала художника в долг. Почти полгода Алексей отработывал нанесённый ей материальный ущерб. Его не согревало даже то, что сама картина осталась у него и каждый раз, когда он смотрел на неё, висящую на стене, светлело на душе, хотя и напоминало о долге.

Отработав долг, он продолжал приносить ей свои картины, которые к тому времени нашли своего покупателя, как у местных любителей живописи, так и в Париже, куда она часто с ними навещалась, но с Алексеем не спешила рассчитываться, придумывая различные причины, и сама задолжала ему приличную сумму.

Шло время, сменялись времена года, долг мадам Вивьен достиг солидной суммы и, несмотря на то, что Алексей уже давно ничего ей не приносил, это мало его утешало. Ему было стыдно от того, что здоровый и талантливый молодой человек сидит на шее у жены и не может помочь ей содержать семью.

Как-то осенним днём, серым и грустным, Алексей бесцельно бродил по городу. Случайно он натолкнулся на ярко освещённую витрину незнакомой ранее галереи.

Преодолевая робость, он вошёл внутрь и его взору предстали полотна европейских мастеров XIX и XX веков. Алексей, представившийся художником из России, познакомился с хозяином галереи, Жераром. Тот изъявил желание увидеть его работы.

Отобрав несколько работ маслом, он отправился к Жерару, который признал работы профессиональными и поинтересовался ценой. Алексей растерялся, не зная сколько просить, и назначил довольно низкую цену, лишь бы продать. Жерар открыл ящик стола и вручил сумму, несколько превышающую запрошенную, заявляя, что рад знакомству с ним, и постарается ему помочь в реализации его картин. Алексей был на седьмом небе от счастья и дал согласие работать с господином Жераром, но при условии, что тот выполнит его небольшую просьбу, которую он озвучит несколько позже.

Когда Жаклин пришла с работы, её удивили радостное лицо Алексея и большой букет роз на столе. Увидев недоумённое лицо жены, он протянул ей конверт с деньгами.

– Неужели мадам Вивьен с тобой рассчиталась? – с недоверием спросила Жаклин.

– Да какой там рассчиталась? – и он рассказал ей о своём знакомстве с Жераром.

Жерар оказался человеком слова и помогал Алексею, чем мог. Однажды он спросил:

– А о какой просьбе ты тогда говорил?

– Обещайте мне, что не будете возражать, если я в вашей витрине выставлю одну свою картину.

Мсье Жерар дал согласие и через пару дней Алексей появился в галерее с картиной, завёрнутой в тёмный мешок для мусора. Когда мешок был снят, Жерар потерял дар речи – это была карикатура, в которой он узнал свою конкурентку, мадам Вивьен.

– Это и есть моя просьба, – сказал Алексей. – Причём, эта работа, как вы обещали, должна быть выставлена в витрине галереи без права продажи.

Учитывая, что галерея Жерара находилась в центре города на пешеходной улице, карикатура привлекала внимание горожан. «Новость» быстро дошла до самой мадам и она, возмущённая, явилась к Жерару с требованием немедленно убрать с витрины эту «гадость», на что Жерар ответил, что он связан договором и не может его нарушить. Тогда она предложила её купить, но Жерар ответил, что у него также нет права на продажу – это прерогатива владельца картины. Когда было названо его имя, её прошиб холодный пот.

Ранним утром следующего дня Вивьен уже была у дома Алексея, но дверь долго никто не открывал. В бешенстве она стала стучать ногой до тех пор, пока на пороге не появилась заспанная Жаклин, которая, по просьбе Алексея, сказала, что муж в отъезде, и она не знает, когда он приедет. Вивьен с опущенной головой поплелась восвояси.

Всё как бы оставалось по-прежнему, но в то же время кое-что изменилось. Со стороны не сразу можно было понять, насколько Алексей одержим жадной мщеньем. Он вполне сжился со своей ролью и после продолжительного времени наконец-то ходил, расправив плечи.

Через несколько дней Вивьен всё же удалось отловить Алексея, но он сказал, что разговор может состояться только тогда, когда она полностью рассчитается с ним. Ей ничего не оставалось, как погасить свой долг.

– Я прошу вас убрать с витрины эту мазню – в приказном порядке произнесла она, вручая ему конверт с деньгами.

– Эта работа может быть убрана только в том случае, если вы её купите, – ответил Алексей.

– И какова её цена? – нервно улыбаясь, спросила мадам.

– Десять тысяч!! – ответил Алексей, глядя ей прямо в глаза.

– Что-о-о-о? – в негодовании закричала Вивьен, – но ведь это же безумная цена!

– Согласен. Но я включил в эту сумму нанесённый мне моральный ущерб, – и после недолгой паузы добавил, – до тех пор, пока вы её не выкупите, она будет находиться в витрине галереи.

Безрезультатно торгуясь, карикатуру она в итоге выкупила, но время уже работало против неё. Она чувствовала, что теряет свой авторитет и перестает быть «героем» дня. И тогда она съёжилась. От горделивой прежде осанки не осталось и следа, а на лице предательски проступили приметы старости.

Свою галерею, в связи с потерей клиентуры, ей пришлось закрыть, а ещё через пару месяцев она совсем исчезла, перебравшись, очевидно, в другой город, где её никто не знал.

P.S. Расчищенная картина не долго провисела в мастерской Алексея. Как-то Жерар, приглашённый в гости, обратил на неё внимание и посоветовал отправить на экспертизу в Лувр, где работал его друг. Через некоторое время пришёл ответ, что автором картины является французский художник XVII века Клод Лоррен. На торгах аукциона SOTHEBY's картина была продана за сто пятьдесят тысяч фунтов.

МИЛЛИОНЕР НА ЧАС

«Если вы нашли клад, то одну четверть от него забирайте на законных основаниях, а остальное перепрячьте».

Народная мудрость

Пусть вас не шокирует название рассказа. Ничего странного здесь нет. Есть факир на час, есть муж на час, так почему не может быть миллионер на час? Должен вам признаться, что ещё шестьдесят лет назад я уже был миллионером... целый час. Почему так мало? А это вы поймёте, когда дочитаете этот рассказ до конца. Все мы в детстве мечтали найти клад, в котором было бы много золота и драгоценных камней, но мечта так и оставалась мечтой. А ведь кто-то вырастал с этим затаённым желанием и, приложив все усилия, иногда находил что-нибудь очень интересное и ценное.

Случилось это в послевоенные годы, когда мы, а это человек пять-шесть дворовой шпаны, начитавшись книжек о несметных сокровищах, были заражены вирусом приключений, и мечтали о дальних плавани-

ях, путешествиях, поисках кладов... Похоронив деда, я остался вдвоём с бабушкой. Жили мы в небольшом городке на Брянщине, Он слыл центром российских староверов и еврейских ремесленников. Тот год запомнился жителям страшной жарой, напавшей на город. Детвора целый день барахталась в озере, а старшее поколение спасалось ночной прохладой, поскольку вентиляторов ни у кого не было, да и вживую их никто никогда не видел. И вот как-то бабушка попросила меня вырыть в сарае погреб, где она смогла бы хранить скоропортящиеся продукты хотя бы несколько дней – к субботе.

Ранним утром, когда город, ещё сонный и неповоротливый, не обращал на меня внимания, я в поисках стройматериалов несколько дней обходил готовые к сносу ветхие и разрушенные войной строения, откуда таскал в сарай необходимые для строительства погреба доски, а заодно проверял все чердаки и подвалы на предмет находок чего-нибудь ценного.

Признаюсь, что лезть на чердак или в подвал какого-нибудь дома и там, откашлявшись от толстого слоя вековой пыли, пытаться найти что-нибудь стоящее, занятие не самое приятное, но, если уж что-то находил, то это оправдывало все связанные с этим неудобства. И, бывало, находил: то пару бронзовых подсвечников, то старую подшивку «Нивы» и даже, в хорошем состоянии, старый, весь в медалях, медный самовар с клеймом тульского мастера *Баташева*. А однажды, оторвав половицу, нашёл несколько серебряных ложек с неразборчивой монограммой на черенке. Находки я отдавал бабушке, у которой всё скупал рыжий старьёвщик Пинхас, разъезжавший по городу в телеге, запряжённой такой же рыжей, как и он, кобылой. Но больше всего меня поразила завёрнутая в мешковину старая икона в серебряном окладе, которую я нашёл на чердаке полуразвалившегося дома *габая* (служки) синагоги *Шимона*. Каким образом она попала в дом правоверного еврея, и что он с ней делал, для меня и на сегодня осталось загадкой. Я ещё не успел её донести до дома, как на моём пути встал дворовый хулиган и силач Колька по кличке «Утюг», получивший своё прозвище из-за заострённой кверху головы. Поинтересовавшись, что у меня в руке, он тут же отобрал икону, заставив меня в течение пяти минут слушать его наставление, что, мол, нечего присваивать себе предметы культа чужой религии: «Вы и так ещё не рассчитались за нашего Христа». Сколько я ни пытался ему доказывать, что я к этому не имею никакого отношения – не помогло. Как он объяснил, трофей принадлежит ему по праву, как православному. Я не особенно переживал, потому что в те годы не знал её ценность, да и продать всё равно было некому. Всё свободное время я лазил по покинутым домам и снимал с вход-

ных дверей бесхозные мезузы (*закрепляемые на косяках дверей «обереги» из куска пергамента, на котором написано изречение из Торы, охраняющее жилище от несчастья*), некогда принадлежавшие евреям, погибшим в гетто. Мезуз у меня собралось около тридцати штук. Они ещё много лет лежали на чердаке у бабушки. И только после её смерти я подарил всю коллекцию своему родственнику, а он, в свою очередь, увёз их в Израиль и подарил музею.

Итак, если вам ещё не надоело, то, с вашего позволения, я приступаю к самому первому в моей жизни ответственному строительству. Из инструментов у меня была только лопата и топор-колун. Работа продвигалась быстро, поскольку земляной грунт состоял в основном из торфяного *смиття* (*мусора*), толстым слоем проникшего в глубину. Работа подходила уже к концу, когда лопата вдруг уткнулась во что-то твёрдое. Вначале я подумал, что это мог быть только камень. Удалив землю вокруг, я увидел нечто металлическое, с выступившими на нём буквами. Сердце заколотилось так, что, казалось, слышно было во дворе. Твёрдо решив, что это клад, я вылез наружу и осторожно приоткрыл дверь сарая. Убедившись, что поблизости никого нет, закрыл дверь на крючок и спустился назад в яму. Руками разгрёб землю вокруг и вытащил небольшой металлический ящик. Весил он не менее пуда, однако я, маленький и хилый, всё же нашёл в себе силы поднять его наверх и внимательно рассмотреть. Это оказался старинный чугунный сейф, на крышке которого литыми буквами с ятями было написано название какого-то страхового общества.

Вы хотите знать, что я почувствовал в тот момент? А что бы вы почувствовали на моём месте? Вот и я уже видел себя очень богатым человеком. Ведь, в конце концов, должно же быть там хоть что-то ценное, если его закопали так глубоко! В мыслях я уже купался в золотых и серебряных монетах, осыпал себя жемчугом и алмазами, подбрасывал вверх бумажные купюры и неистово смеялся от безудержной радости.

Первая попытка открыть сейф оказалась неудачной. Он был закрыт ключом на внутренний замок. Пытался ковырнуть крышку топором, но тут-то было: она плотно, без зазора, прилегала к корпусу. И тогда я решил открыть его по-солдатски. Размахнувшись, я ударил по крышке сейфа обухом – и чугунный сейф раскололся пополам. С замиранием сердца я вглядывался в полумраке сарая в содержимое, желая увидеть золотые монеты, алмазы, драгоценности, обычно сопровождающие такиеклады. О них я когда-то грезил, читая книжки, но сейф оказался набит... «*катеринками*», аккуратно упакованными в пачки, перевязанные шпагатом.

Вы можете представить себе моё разочарование? В глазах рябили сто, двухсотпятидесяти и пятисотрублёвые ассигнации. Я из любопыт-

ства пересчитал содержимое. Сумма оказалась внушительная – около миллиона рублей.

Ответьте мне на один вопрос, и я от вас отстану: неужели тот человек, который закопал этот железный ящик, не знал, что эти бумажки можно было в любое время обменять на золото? Так я отвечу за вас: знал, но не сделал это, потому что был ДУРАК. И я вам это докажу, если вы найдёте ещё пару минут, чтобы услышать эту историю до конца. Итак, если вы решили что-то спрятать, то понятно, что это связано с лихими временами, когда у вас могли всё отобрать, иначе деньги можно было бы спокойно хранить в банке. Ну а если вы не доверяете банку, который, в свою очередь, не гарантирует вам их сохранность, то кто ВАМ даст гарантию, что они потом не потеряют свою ценность? Значит, в этот проклятый несгораемый ящик нужно было положить то, что при любом раскладе событий не потеряло бы свою ценность, а в те времена это могло быть только золото и драгоценности. На основании этого умозаключения я и пришёл к выводу, что хозяин сейфа был наивный Д-У-Р-А-К! Интересно, как такому недоумку удалось сколотить такое состояние и о чём он вообще тогда думал? Во всяком случае, не обо мне. Это я точно знаю. А ведь из-за него можно было на всю жизнь потерять веру в человеческую добродетель.

Я рассказал о моей находке бабушке и показал ей несколько банкнот. Обхватив голову руками, и, раскачиваясь из стороны в сторону, она поведала, что в те времена корова стоила пять рублей, а хороший двухэтажный каменный дом её брат купил за три тысячи рублей. Как вам это нравится? Если бы была машина времени и могла перенести меня на сто лет назад, я мог бы быть обладателем несметного стада тучных коров и стать богатым домовладельцем, а пока... пока я молча сижу на краю выкопанной ямы, словно это могила моих несбывшихся надежд, и, как говорил *Фром Грач*, «...держу дулю в кармане».

НАТУРЩИЦА

В те годы я жил в Казани. Большой и бестолковый город на Волге пришёлся мне по душе. Как-то мой приятель, художник, сообщил, что в местном музее открывается выставка, подготовленная им из фондов. Её открытие он хотел бы превратить в праздник и просил моей помощи.

Музей располагался в здании кафедрального собора и был одним из лучших в российской провинции. Работали там славные и симпатичные женщины, служившие за мизерное жалование честно и самоотверженно.

Через несколько дней после вернисажа подходит ко мне Надежда Семёновна, служившая смотрительницей залов. Высокая грузная старуха с расплывшимися чертами когда-то красивого лица. Тяжёлые веки нависли над выцветшими глазами. Необщительно и угрюмо, взирая она на утративший для неё интерес мир. Мне показалось, что она чем-то взволнована. Подозвав меня к картине Сергея Левашова «Утро» – красе и гордости выставки, она, смущаясь и краснея, сказала:

– Это я!

Совместить сегодняшний облик с написанной на холсте женщиной я не мог и только ошеломлённо переводил взгляд с Надежды Семёновны на картину и обратно. Художник написал залитую светом комнату и сидящую на краю разостланной постели обнажённую с накинутой на плечи купальной простыней. Солнечные лучи преломлялись в покрывающих её капельках воды, и вся она словно излучала свет. Это был свет любви и вечной женственности.

– Вы?

– Должна вам признаться, что я была натурщицей, много позировала Сергею Андреевичу. И не только ему. Я позировала Фальку, Осмёркину, Кузнецову...

Я уговорил её рассказать о себе, о своих встречах с художниками. Через пару дней я уже сидел в её тесной, но ухоженной и по-своему уютной комнате большой коммунальной квартиры, и мы пили чай, настоящий на целебных травах. Принесённое мною лёгкое красное вино помогло преодолеть некоторую скованность. Видно было, что одиночество тяготило Надежду Семёновну, ей хотелось высказаться.

– С Сергеем Андреевичем я познакомилась вскоре после войны. Он только недавно вернулся из эмиграции, где много лет жил в Париже. Участвовал в Соппротивлении, получил советское гражданство и поселился в Казани, где родился и вырос. Нас познакомили на его первой выставке. Это был высокий элегантный мужчина, внешностью, одеждой, манерой разговора и поведением сильно выделявшийся среди людей тех лет. Видимо, я ему тоже приглянулась, и он пригласил меня позировать. Писал он тогда меня в рост, в красном вечернем платье на фоне восточного ковра. Портрет, а с ним и наш роман, успешно продвигались, хотя ни тот, ни другой не были завершены, когда грянул гром. Левашова арестовали, судили за шпионаж и сослали в Караганду. Как я его ждала! Один Бог знает, сколько слёз я пролила в подушку.

Вернулся Сергей Андреевич только в 56-м, – седой, больной, но такой же элегантный. Жёну похоронил там же, в Караганде. Прилетела из Москвы повидаться с отцом его дочь Елена. Очень она меня невзлюбила; ревновала; боялась, что наследство мне достанется. А наследство

и вправду бесценное – картины, акварели, рисунки. Их тогда никто не покупал, а музей в их сторону даже не посмотрел. Сергей Андреевич тяжело болел, грудная жаба у него была, так бы ещё пожил, но сердце не выдержало. Прилетела дочь, выставила меня на все четыре стороны, а картины увезла в Москву. Это уж потом о Левашове стали писать. Покупатели появились. Елена одну картину мне подарила, а десять продала музею. Вот я, как видите, в сторожихи и подалась, караулю его картины, чтобы не украли.

Надежда Семёновна невесело усмехнулась и, чтобы справиться с волнением, стала доставать из-за комода сохранившиеся у неё картины Левашова. На одной из них она была изображена в призывной позе рембрандтовской «Данаи», и Надежда Семёновна, смутившись, поспешила спрятать картину. Остальные, а их было три-четыре, были парижского периода: натюрморт с апельсинами в духе Матисса, очень экспрессивная «Сцена в кафе», «Набережная Сены», выдержанная в серебристой гамме.

Эти работы были, несомненно, в числе лучших. Художник знал им цену и знал, в чьи руки их отдаёт. И тут я замер ошеломлённый. Как говорят охотники, почти инстинктивно сделал стойку. Передо мной была большая, почти в целый лист, акварель, вернее рисунок, подцвеченный акварелью: юная Надя позировала обнажённой, запорокинув руки за голову.

Ещё раньше, чем в нижнем углу обратил внимание на подпись и дату – *M.G. 1941. 21.6* – понял, что это – не Левашов. Одной линией художник очертил совершенные формы прекрасного женского тела, безупречно угадав пропорции и неповторимые особенности. В прикосновениях кисти ощущалась его взволнованность и чрезмерная нежность к модели. Уставившись невидящими глазами даже не на рисунок, а поверх него, она застыла, словно изваяние. Из глаз текли слёзы и исчезали в глубоких морщинах.

После чая, немного успокоившись, Надежда Семёновна начала свой рассказ:

– До войны мы жили в Минске. Осенью 39-года, когда освободили Западную Белоруссию, моего отца – а он был крупный хозяйственник, – направили на работу в Гродно. Мне было без малого двадцать лет.

С той минуты, как впервые увидела Моисея, – Гольдманы были нашими соседями, – ни о ком другом думать я не могла. Он был удивительно красив: чёрные, как смоль, волосы спадали на плечи, а глаза были светло-серые по утрам, а днём – голубые. Носил мягкую фетровую шляпу с широкими полями, длинный вишнёвый шарф и чёрную бархатную куртку. Гольдманы бежали от немцев из Лодзи. Всё бросили

и, в чём стояли, убежали в Гродно. Моисею тогда было двадцать семь, он учился в художественном училище в Кракове. Жил в Вене, Париже, нередко выставлялся.

Однажды Моисей подошёл ко мне и на ужасной смеси польских, еврейских и русских слов предложил прийти к нему. Я даже не спросила зачем, и побежала домой надеть своё лучшее платье. Он усадил меня в кресло, задрапировал какой-то цветастой тряпкой и начал писать.

Раньше я никогда не видела, как работают художники, и Моисей часто удивлял меня. Нередко почти законченные портреты и рисунки летели в печку, и всё начиналось заново. Как я ревновала Моисея к этим картинам, кистям, палитре и краскам, которые он месил с каким-то садистским наслаждением! Такая злость меня тогда взяла. Не знаю уже, что на меня нашло, только я, зайдя за его спину, сбросила с себя всё и стала перед ним вот такой, как на рисунке. Моисей сидел, будто громом поражённый. Схватил кисти и набросился на чистый холст, словно это я, а не полотно.

Бог ты мой! Как я его хотела! А он, позабыв всё на свете, писал и писал, заставляя меня позировать по много часов, пока я не свалилась в изнеможении. Вот когда я узнала горечь хлеба натурщицы. Не много понимала я тогда в живописи, но всем существом, всем телом чувствовала, что это большое, очень большое искусство.

Всю ночь редела под одеялом, а утром помчалась на вокзал и уехала к тётке в Москву. Москва – город шумный, людной, – только мне не было покоя. Бывало, забудешься, а Моисей снова перед глазами. Тоска заела, и когда уже совсем стало невмоготу, сорвалась с места и поехала в Гродно.

Дверь открыла мать Моисея, захохала, запричитала что-то по-своему. Мастерская Моисея была отгорожена ширмой, создавая впечатление отдельной комнаты. Его самого не было, вышел куда-то. У стены увидела прислонённый холст и обомлела: тот самый, где я обнажённая. Что он с картиной сделал, уму непостижимо! Слои красок один на другом, какие-то пирамиды, шары, конусы: уже не живопись, а учебник по геометрии. Слышу – шаги на лестнице. Не думая ни о чём, скинула с себя всё и встала, как в первый раз – обнажённая, и руки за голову. И было то, что было, как и во сне не мечталось. Мы были равны по темпераменту, и этот сумасшедший огонь, эта экспрессия страсти мощными потоками света выливалась в его картинах. Тогда он меня и нарисовал.

На рассвете началась война. Еле уговорила Гольдманов уехать. Моисей стоял в дверях теплушки и всё смотрел на меня. Поезд тронулся, но он на ходу успел выбросить мне свёрнутый в трубку рисунок. Больше не встретились. Последним поездом сумели эвакуироваться. Когда ос-

вободили Белоруссию, вернулась в Гродно. Только ни дома, где жили Гольдманы, ни картин Моисея не нашла: сгорело всё дотла. Стала его искать. Куда только ни писала, но всё же нашла. Трудно ему пришлось: эшелон тот разбомбили, родители погибли. Его мобилизовали в польскую дивизию, где в одном из боёв он был тяжело ранен, ослеп на оба глаза, лишился руки. Письмо пришло из Казани, где Моисей лежал в госпитале. Если б успела, может и спасла бы его, но пока добралась, он уже умер. Что потом было, вы знаете. Теперь на кладбище Казани две мои могилы. Цветы вот высадила, навещаю. Как помру, так всё в музей возьмите – и Сергея Андреевича картины, и Моисея.

P.S. Надежда Семёновна умерла через два года после моего отъезда. Её последняя воля была исполнена. Кто сейчас смотрит за могилами художников, не знаю.

[17]

Ди П 19 / 2015

Феликс Фельдман

* * *

Я из страны, где хлеб и сало,
но никогда ты не был сыт,
того-то нет, того-то мало:
кругом тотальный дефицит.

Сейчас имею хлеб и сало,
а надо мною – мощный щит,
да и других вещей навалом...
В душе – тотальный дефицит.

* * *

Быть совестливым, ревновать, ценить,
любить, дружить, благодарить, быть верным –
выстраиваю собственную нить
я ценностям извечным соразмерно.

Влюблённости любовь я предпочту,
а красоте – её предел – искусство;
но из страстей я выбираю ту,
которая врагов приводит в чувство.

* * *

«После периода относительного затишья антисемитизм снова набирает силу по всему миру».

Из прессы

Когда я погружаюсь в недра мозга,
где в памяти хранятся все века,
мне чудится, что будто я из воска
в закрученных спиралях ДНК.
Себя ищу я в свите Соломона,
изгнанник в храме, пасынок в миру.
С Кутузовым гоню Наполеона,
и гибну в Бабьем дьявольском Яру.
Кентавр я. В общем, сложное творенье,
случайный синтез разных двух культур,
судьбы бездушной злое ухищренье
под властью вечно сменных диктатур.
Во мне мой мир не мною был раздвоен,
хоть кажется другим, что он един.
Ни русский, ни еврей, но все же двое
живут в душе до праведных седин.

Один ли я? Минуя перегрузки,
плывем в надежде выплыть поскорей:
от левого на правый берег – русским,
от правого на левый, как еврей.
Один ли я? Тут безутешье тысяч.
А демон зла? Ему людей не жаль.
Он всласть готов не тело, душу высечь,
держа в руках священную скрижаль.
И будь ты инженер, поэт, художник,
и, если даже день в тиши дожит,
не забывай, что вечный ты заложник,
и, как заложник, также вечный жид.

Горят огнем святым из воска свечи,
сгорая в дым на алтарях чужих.
Парит над ними, жертву ищет кречет,
и плетью в кровь избит еврейский стих.

[19]

Ди П 19 / 2015

Феликс Фельдман

«НОСТАЛЬГИЧЕСКИЙ» СОНЕТ

В Кремле отливы и приливы,
И очи пылью замело,
А я домой несу, счастливый,
Сосисок целое кило.

Мы к коммунизму путь держали
И брали за рога быка,
Мычали кони, козы ржали,
Надой давали облака.

Стакан наполовину полон,
Стакан наполовину пуст,
На дне его лукавый Воланд,
Трамвай и позвонковый хруст.

Мы жили так, смакуя блага...
Отгородившись от Гулага.

* * *

Жива тьмутаракань, ещё жива
с царем в башке и культом домостроя,
бессильная и ждущая героя.
Очнётся? Черта с два!

А ты, младенец, чуткий эмбрион,
тебе в утробе матери привольно,
прости, девчужка, мне, конечно, больно,
но подавляю стон.

Да, фифти-фифти. Вот такой расклад.
А ультрашаль судьбу рифмует точно,
она в самом сценарии оброчна –
крутой патриархат.

С молодых ногтей разучишься мечтать,
поймешь, что ценится у лиходеев
не ум, чей их трезвее и добрее,
а плоть твоя и стать.

Научишься вставать в глухую рань,
считать гроши, хватать пинки крутые,
достало бы денег на щи пустые,
что ждет супружник-пьянь.

Иль, прячась от лихого кулака,
детишек прижимая что есть силы,
(спасибо, Тебе, Боже, – не дебилы)
еще жива пока.

А в остальном здесь Божья благодать,
и сызмальства привычен кнут мужчины,
зато в раскладе нашей матерщины
всегда в почёте «мать»!

КЛАДБИЩЕ

На Neghgate cemetery east* поток не убывает.
Четыре фунта вход и каждый Welcome,
вхож.
Надгробный памятник столпом –
фигура
в прошлом ключевая,
с высоким лбом
едва
сам на себя похож.
А вместо тела -
пьедесталом куб гранитный,
для львиной гривы вроде
мрачный аналой.
И смотрит вдаль с надеждой
взгляд транзитный,
но нет у головы контакта
с грешною землёй.
Здесь «пролетарии всех стран»
с вождём «объединились».
Кучкуются могилы
взглядом на Восток.
И бродят призраки в восточном стиле
с вампирами в глухой ночи

вне праведных дорог.
Ему в насмешку капитал всё набирает силу:
на кладбище
«восток» и «запад» мздою разделён.
Четыре фунта вход –
оброк на популярную могилу.
Вот и решай,
чей класс сегодня глуп,
а чей умён.
Цветы у памятника, впрямь,
лежат, не увядая.
А он, как принято,
пав оклеветанный молвой,
стоит который век –
фигура мировая,
с зависшей в межпространствах головой.

*Heghgate cemetery east (читается: хайгейт сэметэри ист.
Восточная часть хайгейтского кладбища в Лондоне)*

ГОД 2011

А в Лондоне отвратная погода,
апрель сдурел, душою охладев.
У русско-эмигрантского прихода
последнее отнял британский лев.
Упрямые британцы как и прежде
по левой ездят «руко-стороне».
У наших активизируют надежды,
хоть и свои давно сидят в г-не.
Не три, а семь на Альбионе классов,
газеты стонут: сбой и нужды с ним.
И молятся здесь нелегалы Спасу,
но разве бизнес с Ним соединим?
А бизнес сам запутался в тенетах,
да вдруг на «Капитал» поднялся спрос.
От кризиса спасенья, вроде, нету
и равнодушен в милости Христос.
Тут люди полагаются на Бога,
и гонит их в беде авантюризм.

Но кто решится осудить их строго,
когда ни Бог, ни царь и ни марксизм.
И вот поток, горшки разбив у тына,
клюёт на мотыля чужих халяв,
непредсказуемость своей страны на
негаданность погоды променяв.

[23]

* * *

*В индонезийской Новой Гвинее, в её
первобытных лесах, открыты племена,
живущие на деревьях и не имевшие
никогда контактов с цивилизацией.*

Здесь брожу я в миру по развалинам,
по обломкам надежд и страстей,
проживаю, как богооставленный,
среди масок лукавых людей.
Я туда, где в стране Индонезии
острова бороздят океан,
убегу от тоски и депрессии,
чуждым ливнем прольюсь в Ириан.

Растекусь ручейками и реками,
обернусь даже лешим в лесу,
подружусь с папуа-человеками
и туземку в зубах унесу.
Возведу с ней лесное убежище,
тонких пальм наготовлю для стен.
Лунным светом умоюсь чуть брезжущим,
и развешу стихи на шесте.
Продырявлю я нос острой палочкой
для колец свои уши проткну,
позабуду о времени галочном,
в никуда окунуться рискну.
Я с Комбаями и с Короваями
разделю их удел и беду,
на тропинках забытых Маклаевых
дни закатные впрок проведу.
В папуасском лесном поднебесии,
там, где смотрится мир сверху вниз,

я, как веру свою, в Индонезии
первобытный приму коммунизм.
И позволю внутри вечной зелени
канибалам-друзьям себя съесть,
они кости забросят в расщелины,
помогая спасти мою честь.
Криком буйно успех свой отпразднуют,
мы ведь стали в тотемном родстве.
Карантином, как штука заразная,
плоть пройдет через каменный век.

Ну, а дух, он с полёта орлиного,
с просветленной душой, налегке,
курс возьмет на места те, былинные,
где в депрессии был и в тоске.
В город свой я вернусь белокаменный
на постой, в синеглазую Русь.
Помолюсь на развалинах пламенно
и прихода Мессии дождусь.

* * *

Когда уйду, а прах мой станет пищей
корням растений, догорит свеча...
И полетит душа над пепелищем
пустых надежд, виной кровотока.

Вдогон ругнёт, захлопнув дверь, судьбина,
проплачут снежным пухом тополя
и, отправляя в неизвестность сына,
смахнет слезу, прощаясь, мать-Земля.

Дымком умчусь туда, где обещали
нетленность в неге, холе и тепле,
от ангелов же утаю печали,
что захватил, скитаясь по Земле.
Парю в эфире бестелесно, долго.
Бессмертье в ювелирной лавке звёзд.
Померкли страсти. Нет земного долга
для избранных жильцов небесных гнёзд.

А я внутри дарёного блаженства
поклон отвешу тайно до земли
шкатулке, где храню несовершенство –
живую ценность, временность Земли.

В раю, конечно, сытно и беспечно,
да славить принято святую знать.
Но, как клеймо, по-божески, навечно
мне на уста наложена печать.

[25]

Ди П 19 / 2015

Поэзия и проза

Анжелла Подольская

ШТРИХИ ТОНКИМ ГРИФЕЛЕМ

Вчерашний день, став прошлым, распахнул все окна во двор. Первый летний день, и благодарение Богу – суббота. Лёгкий ветерок колышет занавески на окнах, донося аромат утренней выпечки, сгружаемой в булочную. Раннее утро, половина седьмого, двор постепенно просыпается, оглашаясь перекличкой домашних хозяек. Для них утро вовсе не раннее. Кто-то уже завтрак приготовил, у кого-то борщ к обеду почти готов, кто-то развешивает постиранное бельё.

Быт. Сто раз – быт. Куда же от него деваться, хоть и выходной?

Странно... Утро ещё не нарушено ни зазывающими вскриками старёвщика, ни матерным словом, этой приправой к любой беседе: и к бытовому разговору, и к высокому «штилю».

Все как будто сговорились – в выходной только улыбаться.

Солнце медленно движется к зениту, раскаляя воздух. Большая часть горожан устремляется к Днепру. Кто-то, спустившись по Владимирской Горке на Подол, направляется через мост на Труханов Остров. Другие на речном трамвайчике доезжают до Довбычки или Воскресенки. А некоторые, добравшись до Воскресенки, пересаживаются на маленький автобус, уже не городской – пригородный. Они спешат на дачные участки, которые не так давно стали выделять на предприятиях. Ещё никто не знает, что лет через двадцать – после бразильской «Изауры», эти участки станут называть «фазендами». А пока на фазендах ещё нет ни домиков, ни больших фруктовых деревьев. Только сбитые из досок столы, скамьи и созревающие на грядках собственные помидоры.

Тысячи ног, рассекая песок, бегут в раскрытые объятия Днепра. Пляж сотрясает смех, визг от встречи с ещё холодной водой, звуки ударов по

мячу любителей волейбола. На песке, тут и там, возникают «поляны», завораживая изобилием красок и запахов пищи.

Мамаши увещевают свои чада: «Не смотри на солнце, детка. Надень очки. Лучи могут прожечь сетчатку и обесцветить роговицу. Что такое сетчатка? Потом расскажу».

Обилие внешнего мира – этот мягкий розовый песок и синее небо – мешают внутреннему воображению. Невозможно себе представить, что где-то – лучше, чем здесь, что где-то – идёт война, кто-то недоедает...

[27]

«До чего дошла эта молодёжь?! Куда катится мир? – в голосе дамы «в летах» еле сдерживаемое возмущение. – Что за купальники? Кто их выпускает? Как можно появляться в общественном месте в подобном виде?» – брезгливо поджимает она губы, не подозревая о грядущей революции нравов, когда «бикини» станут нормой.

Но молодёжи плевать на общественное мнение. Праздник жизни во всей полноте бытия, в беспечности: «Сочи? Ялта? Ха... У нас свои «Юга», своя Венеция».

Солнце обжигает. Утомляет. И часам к пяти разморенные жарой, обгоревшие горожане покидают пляж. Остаются самые заядлые, молодые. Или приезжие.

Такой ослепительный, ярко-красный закат. Завтра будет жарко. Лето. К вечеру многие улицы как будто вымирают. Зато Крецатик заполняется праздной фланирующей публикой. Кафе переполнены, свободно достать, и приходится довольствоваться мороженым в вафельном стаканчике. В кинотеатрах много непроданных билетов на вечерние сеансы. Кто же захочет в такой дивный вечер соперничать героям простеньких сюжетов, пусть даже и строителям комсомольских строек? Ведь до «Сталкера» ещё далеко. Набережная Днепра тоже заполняется тысячной толпой. К причалам, поскрипывающим на воде, один за другим подходят речные теплоходы и, быстро заполняясь людской массой, уносят её в ночь. И только после речной прогулки, уже перед самым сном – успокаивает мерцание свечи. Душа просит тишины и темноты. Хочется быть здесь. И всегда.

Житейские истории коммуналок, которые населяют люди разных национальностей, в том числе и еврейской, давно известны, их не счесть. В них всё известно о соседе. В них каждый – свидетель любого события, происходящего за стенкой. Любимый интриги.

Говорят: «В каждом доме – всё по-своему». И да, и нет. Похожи, похожи между собой ячейки общества. И жизни, зачастую, похожи. И предметы, их окружающие. Почти у всех в комнате главное украшение – сервант.

За стеклом сверкают окрашенные кобальтом фарфоровые чашечки с блюдцами, кое у кого и хрустальные фужеры имеются. Нет, их никогда не выносят на кухню, моют в комнате, в тазу со стиральным порошком. И тут же в другом тазике ополаскивают. А потом трут, трут до блеска полотенцем. Никто из соседей их не видел, но уверены – они есть.

На серванте – обязательные слоники, символизирующие благополучие и долголетие. И хрустальная вазочка, добытая в длинной очереди, где пришлось и локтями поработать. А ещё всевозможные «ути-ути» и балеринки, задержавшие дыхание в «фуэте».

Диван. Обязателен. Тут, как говорится, и «глаз радуется», и отдых. Два в одном. Над диваном – коврик с двумя лебедями, символом вечной любви и верности.

Множество подушечек, вышитых крестиком или гладью, среди которых выделяется «думочка», на которой кукарекает петушок в окружении цыплят.

На окнах занавески кружевные, накрахмаленные, из простой хлопчатобумажной нити, которые при сушке натягивают на специальную раму для придания формы, ведь капрон и нейлон только в проекте.

Отмеряя каждые полчаса, подаёт голос «Кукушка». Это она ответственна за время, в которое мы живём, ей и отвечать. И ответит, не сомневайтесь.

С раннего утра Семён на балконе просматривает газету. Он работает в Дарнице на вагоноремонтном. И в очереди на двушку стоит. Если честно, ему совсем не хочется переезжать куда-нибудь на массив. В центре всегда свои преимущества. Только вот тёща всё пилит и пилит: «Ты об Аллочке подумал? Я отдала тебе дочь не для этой «трущобы».

Сёма – обладатель приличной комнаты с единственным во дворе балконом – предметом зависти многочисленных соседей. Такая вот привилегия. Вчерашняя передовица «Киевской правды» оставляет его равнодушным, хотя он не прочь «врезать» этим кровожадным империалистам.

Аллочка – аристократка. Таковой она себя ощущает. У неё свой, раз и навсегда заведенный, ритуал выходного дня. Она не может отказаться от своих привычек и, выстояв накануне трёхчасовую очередь за любимой «Арабикой», едва открыв глаза, спешит на кухню. Их конфорка, о чудо, не занята, и уже через несколько мгновений в джезве закипает кофе. Присоединившись к мужу и отгоняя японским веером струйку дыма от табачной взвеси Сёминой папиросы, она пьёт с трудом добытый кофе, вдыхая запах неведомых плантаций. Аллочка пребывает ещё в том возрасте, когда не задумываешься о постоянном или преходящем, этих неизбежных категориях жизни. Хотя душа её уже отравлена то-

ской, страхом перед самой собой, бегством от искушения переступить порог чьей-то чужой квартиры, чтобы отдаться во власть запретных чувств. Сёма? Он хороший, хозяйственный, но не «герой» её романа. Она и не заметила, как оказалась женой. Мама настояла. А Аллочка с детства привыкла во всём слушаться маму...

Мужчины. Женщины. Самые разные. Женщины, в основном, полные. И правильно создала их таковыми природа. С нулевым и первым размером бюстгалтера далеко не уедешь. Для продления рода нужны широкие бёдра и приличные груди. Но зачем они так шумны, а зачистую, и сварливы? Как хороши женщины, умеющие молчать, «держат» паузу. А некоторым просто противопоказано открывать рот, особенно до замужества. Так недолго и в старых девах остаться.

Мужчины. А что? Хищники. Их добыча – женщина. Хорошо, если красивая. Умная? Неплохо, но это не столь важно. Руки мужчины тоскуют по женской груди, которая влечёт их в темноту ночи.

Итог – счастье. Дети, рождающиеся там, где встречается мужчина и женщина. Такая вот «Селяви».

Соседи справа – Муся и Арик. Приятная пара. Он зовёт её «толстоножкой» за полные, как у рояля, ноги. В отместку, она его – Васей. Муся – бухгалтер на оптовой базе. Арик – контрабасист Киевской оперетты. Несколько лысоват, небольшого роста, но очень красив. «Мачо»... Тоже слово из будущего. Эсфирь Иосифовна, соседка, всякий раз, сталкиваясь с ним в коридоре, говорит: «Арик! Вы – опасно красивы, на вас просто больно смотреть». От переполняющей гордости, уши его краснеют. К сожалению, зарплата у него небольшая, и в каждый Новый Год он подрабатывает Дедом Морозом.

Кормилица семьи – Муся. Миловидна. Моложава, хотя рано поседела. Наверное, оттого, что ревнует своего «красавца» даже к табуретке. Двое детей, Светка-отличница и сын Данька. Не Данька, а «вырванные годы». Он почти заброшен ею, некогда следить и за ним, и за мужем. Не разорваться же. При малейшем подозрении на супружескую измену – непереносимая буря с заламыванием рук, заканчивающаяся валериановыми каплями. Муся никогда не может позволить себе расслабиться – ведь Арик так и норовит свернуть «налево». Но у неё не забалуешь – вмиг ресурс урежет. А без «бабла»... Да, дилемма...

На всё воля Божья. Это лето жаркое. Город полон обещаний. Эта немислимая красота – сады, парки, фонтаны. Разве они не для нас? Рай на земле. Тело нежится в тепле, а душа... Душа чуть-чуть опасается, потому

что знает, как тонка грань между Раем и Адом, потому что Рай – он же немножечко и Ад. Для кого – как. И душа трепещет, тоскует...

Житейские истории. Взять, хотя бы, ту же Эсфирь Иосифовну, касиршу небольшого гастронома на углу улиц Ленина и Пирогова. Типичная еврейка, с острым носом, библейскими глазами и большой родинкой над губой. Фигуристая, с тонкой талией и полными пальцами, уверенно выбивающими чеки на кассовом аппарате. Её лицо озаряется улыбкой, демонстрируя ямочку на щеке, когда она заговорщически общается покупателям-соплеменникам: «Наши летают...», – подразумевая космонавта Волынова, как раз совершающего витки вокруг Земли. Её муж, Спиридон Антонович, бывший партийный работник, что не помешало ему остаться порядочным человеком. Эсфирь Иосифовну соседи очень любят. И в квартире, и во дворе.

Стоит ей только выйти из дому, как кто-то обнимает её, кто-то «плачется в жилетку», делясь житейскими неурядицами. И иногда ей удаётся «склеить» чужие судьбы. И к её мужу соседи относятся с большим почтением, хотя многие, путая их имена, величают главу семьи Эсфирем Спиридоновичем. Их сын и дочь в неудержимом приступе веселья похотатывают от подобного казуса. Но Эсфирь Иосифовне не до смеха, «склеить» судьбы собственных детей не удаётся. У Лёньки, большого умницы, жизнь не складывается. Сначала завёл роман с балериной из «Оперного», потом женился на другой, неудачно. Невестка ушла, забрав внучку. А Лара, любимая дочь, выйдя замуж, привела в дом «гоя» Колю. В доме уже есть «гой» – Спира, как называет мужа Эсфирь Иосифовна. Но гой гою – рознь. Ну, а Коля – тот ещё антисемит.

Прелюдия любви... Что может быть восхитительней? Но неужели возможна страсть в этих комнатах коммуналки? Ещё как возможна. Например, кошачья. Кошек в доме много, они неразборчивы в связях, и любовная лихорадка накрывает их с головой. Приблудившихся здесь нет, местные зорко охраняют свою территорию. Им абсолютно не обязательно дожидаться весенне-мартовского периода, и по ночам двор оглашается кошачьими стонами. Всё, как всегда, зов плоти – святое. И виновны в этом Адам и Ева, отведавшие запретный плод.

Воскресное утро начинается с затрещин и шлепков. С утра пораньше соседские Миша и Гриша, играя в коридоре в футбол, разбили соседскую лампочку. «Выродки, а не дети. Такие же, как их родители. Что ещё могло у них родиться?» – возмущается Лия, которую бросил муж. Своих детей у неё нет, а чужих она бы... «на пушечный выстрел...»

«Горе мне, – вздыхает Шела. – Сплошное наказание. Сил не напа-

сёшься». Её руки от бесконечных стирок уже «отваливаются». Только Миша с Гришей из комнаты выйдут, даже не во двор – в коридор, и уже умудряются нашкодить. А сами – чумазые, и штаны порваны. Весь дом на ней. А муж Лёва, точно третий ребёнок, как всегда – на диване. Лёва исполняет «генеральную линию партии», то есть наставления своей мамы: «Не мужское это дело – дом. Для того она за тебя замуж шла». И крутится бедная Шела целый день, как заведённая. То, что она работает, и хоть бы ей полчаса отдохнуть – ни мужа, ни свекровь не интересует. Только всё время Лёвин вопрошающий голос: «Я бы чего-нибудь пожрал. Обед скоро?» «Ты бы хоть за детьми присмотрел», – робко просит Шела, в надежде развернуть его мысли в другом, кроме еды, направлении. Но совершенно напрасно. «Кто их мать? Кто их рожал? Вот и занимайся ими, – кричит Лёва. Как будто он тут вовсе ни при чём. – Так чего там с обедом? Не слышу?»

В те далёкие годы почти никто и не догадывался, только лишь самая малая часть, которую теперь называют элитой, что за границей у проклятых империалистов есть города, где живут сильные и элегантные мужчины, нарядные женщины. Что после полудня они сидят за столиками у ресторанов и, смакуя, пьют маленькими глоточками кофе из крошечных кофейных чашечек. Что у женщин красиво изогнута кисть, тонкая, нежная, а их женская сущность искусно замаскирована. Хотя настоящий мужчина всё равно угадает её. Что у этих мужчин и женщин, конечно же, исключена отрыжка, плохой запах изо рта, и что ни при каких обстоятельствах они никогда не станут ковырять в зубах или в носу при посторонних...

В своих снах, которые Лия именует про себя «снами с ощущениями», есть всё. Всё то, чего нет в её реальной жизни. И разноцветные огни, и звучащие мужские голоса. Таятся тени, тают, от чего всё её естество изнемогает. После таких снов не хочется просыпаться, открывать глаза. Стыдно. А за стенкой орут эти Миши-Гриши. С тех пор, как Илья ушёл, у неё никого нет.

Знала ли она, что у него другая женщина, до того дня, как он объявил о своём уходе? Подозревала? Плакала? Умоляла остаться? Да. И знала. И плакала. И умоляла. Память цепка. А что? Забвение лучше? Радость в печали? Или наоборот? Где же всё то, о чём она читала в романах? Страсть, долг, вина? Ничего нет. Только пресыщение, которое по отношению к ней в последнее время испытывал Илья, опьянённый другой.

Нужно непременно съездить на базар. Жарко. И, наверное, уже пошла первая клубника.

Бессарабка – исключается. Зарплаты хватит только на полтора за-

хода. Владимирский? Ну, да. Там подешевле будет. Или – Сенной. Нет, лучше, всё же, – на Житний.

Разноголосье рынка не передать. Это, конечно, не восточный базар, который показывают в кино. Но тоже, скажу вам... Сказка...

Чего тут только нет... Руки оборвёшь. А клубника, гадство, дорогая. И вишня... Кисло-сладкая... И лисички... Ещё зелени, чесночка молодого. Да, и шпинату для зелёного борща, обязательно. Теперь только в мясной ряд, килограмма полтора говядинки... Ой, половина десятого... Дотащить бы... Будет сегодня праздник «живота»...

Алик – эстет с маленькой бородкой. В коридоре появляется только, уходя на работу, или возвратившись. Ну... и, конечно, по естественной надобности... Ни на кухне, ни в ванной его никто никогда не видел. Ни-ни... Б-р-р... Его мутит от всех этих квартиросъёмщиков, этого «плебса»... Нет. Он – «птица» совсем иного полёта. Эрудит. И угораздило же его, окончившего институт в родной Москве, приехать по распределению в этот город с его «гхыканьем» и борщами. Ну и женился на Линочке, коллеге. Не в общежитии же прозябать. Там ещё похлеще, чем здесь. А Линка, дура счастливая, и на рынок сгонять успевает, и готовит, и обхаживает. А утром, ну и перед сном, естественно, миску в комнату тащит и поливает ему на руки из кувшина. Ничего, ничего. Потерпеть надо. Три годочка быстро пролетят. И не заметит. И – в Москву – «матушку».

Все истории начинаются с «однажды». Восторги, слёзы, улыбки... Гадание на кофейной гуще. Вздохи, охи, расставания. Ох, эти женщины. Их разнообразие. Непредсказуемость.

«Никто. Никогда. Слышишь, никогда и никто не прикаснётся ко мне кроме него».

Он казался ей небожителем. В льняных белоснежных брюках и рубашке (в те годы?), в шляпе и в тёмных очках. Он был, словно с другой планеты, вокруг него витал дух беззаботности.

Она никогда не сможет забыть запах шашлыка и вкус ткемали, который они поглощали в придорожном кафе.

Но для него помимо красоты была важна особая статусная аура вокруг его спутницы, интеллектуальность, аристократизм, которыми она, увы, не обладала. Простая девочка, каких тысячи. Его раздражало и её «девственное» невежество во всём. Он не видел в ней Галатее, из которой можно было бы вылепить всё, что угодно. Он понимал, что их союз – мезальянс в чистом виде.

Чтобы как-то смягчить расставание, чтобы не мучили угрызения совести за возвращение юности, одел её с ног до головы. Эти обновки рас-

кололи соседей на тех, кто возненавидел, и тех, кто стал искать её дружбы.

Она знала, чувствовала, что всё может закончиться в любой момент, или уже закончилось, только она ещё не подозревает об этом. Но, как забыть мужчину с голубыми глазами? Ведь его дыхание оставило следы на её коже.

Впрочем, в чём цель несчастья? В философии жизни? Какая, к чёрту, философия, когда горло сводит отчаянием.

Да, но в жизни каждый и постановщик, и главное действующее лицо.

А сценарий? Кем создаётся сценарий? О! Сценарий! Тот, кто его создаёт, хохочет беззвучно...

[33]

Все дороги вели к Крещатику. «Так в семь? Где? – Что «где»? На «Кресте», естественно».

Улица как улица. Ничего особенного. Даже и не очень нравилась она нам. Никаких архитектурных наворотов. Пассаж старенький. Консерватория. Нависший над нею Октябрьский дворец. Главпочтамтик с обвалившимся козырьком, убившим человек семь. Ну, горсовет помпезный. ЦУМ. Напротив – хиленький такой Центральный гастроном. А дальше – «Ленин», поднятой рукой призывающий посетить Бессарабку. Улица как улица. А нечто магическое в ней было. Прошлое довлело. Возможно – крещение.

А мы все – зрители, играющие свои роли в этот отрезок времени. Ну, и ладно. Какая разница? Мы-то родились для любви, чтобы жить вечно. Разве не об этом были пафосные песни, звучавшие по радио и в «Голубом огоньке»? «Мы родились, чтоб сказку сделать былью...»

И город, пылая багровыми сумерками и медленно погружаясь в море дрожащих огоньков, плыл к бабьему лету.

Годы... Другой город. Другие лица. Иные правила жизни, наконец. Тот город, в котором жили, дышали, любили – исчез. Не существует больше. Как не существуют Карфаген, Троя... Возможно, когда нибудь, через тысячи лет, через вечность, его найдут. Раскопают. И сам город, и предметы быта, «кукушку», например. И будут гадать, что за раритет?

Начало Руси. Город, с которого всё начиналось, превратившийся в её задворки, в Малороссию.

Многое придётся вспомнить, чтобы вернуться когда-нибудь сюда, в город, переполненный нашей любовью и задохнувшийся от ненависти жизни. В котором закоулки памяти сродни артериям, а сама память зыбка и обитает в пространстве, где обретает смысл невидимое. Но это уже совсем иное, иррациональное...

КАПЛЯ ЛЮБВИ

[34]

Д и П 19 / 2015

Женщины. Молодые и не очень. Красивые, обыкновенные. Счастливые и несчастные. Они всегда будут нуждаться в его помощи, искать у него утешения. Эти Мани, Зины, Ольги. Берты и Регины. Чего ждут все они от него? «Доктор Левин – гинеколог от Бога. Как он делает аборт! У него не руки – чистое золото». Им не понять, что и он, порой, нуждается в словах утешения. Что с каждым днём ему всё трудней и трудней без суетности скрывать своё бессилие перед толпой, этим живым потоком.

Его руки знают все впадины и закоулки женских тел, но за долгие годы он так и не смог постичь извилины женской души. Самое страшное – его перестало мучить любопытство перед каждой отдельной судьбой.

Сплошная женская масса.

Любовь. Это из-за неё Зоя идет по коридору в халате с завязочками сзади. Это из-за неё ноги ватные. Не в состоянии вымолвить ни слова, она еле поспекает за медсестрой, идущей впереди.

– Стой здесь. Тебя вызовут, – указала медсестра на очередь из женщин в таких же халатах.

Некоторые из них бледны, серьезны, молчаливы. Другие – чрезмерно разговорчивы в попытке задвинуть свой страх куда-то поглубже. Одна, две – смеются, только смех их лихорадочен. Им не «впервой»:

– Не дрейфить, девчонки! Подумаешь, двадцать минут, и свобода.

Зоя тошнит. Она то и дело бежит в туалет. Там она сталкивается с немолодой беременной женщиной.

– Какой у тебя срок? На аборт? В первый раз? С ума сошла. А если не сможешь после родить? А я – «на сохранении». И дома – трое. Как можно убить своего ребёнка?

Через два часа санитарка приводит Зою в палату и укладывает в постель. Сквозь забытьё до неё долетают слова: «Сама ещё ребёнок. Доигралась девочка, стыд потеряла. Где только родители были?»

Зоя сотрясает дрожь. Дрожь от только что пережитого, от боли, от осуждающих взглядов. Только одна молодая женщина подходит, гладит по плечу:

– Глотни, у тебя пересохла губы. Только немного, много пока нельзя. Несколько капель.

Зоя не может избавиться от отчаянных мыслей, долетающих сквозь дрожь до сознания:

«Почему так мало капель? Так мало любви? Её выдают порциями, не заботясь о том, чтоб досталось каждому?»

Через несколько часов разрешают встать, умыться. Она долго стоит над умывальником, с удивлением разглядывая своё отражение в зеркале.

– Ну, расскажи, девонька! Как тебя утраздило? – Интересуется одна из сопалатниц. – А я вот, люблю «это дело», за что и страдаю. Хоть бы скорей выписали. Да, конечно, первое время «ни-ни». Ну, а потом – оторвусь. – Говорившая похожа на контрабас, монумент не соответствует постаменту.

Зоя с отвращением отварачивается к стенке. Она верила, что её любовь возвышенная, совсем особенная. Оказалась детской глупостью... Внутренне содрогаясь, она вспомнила об истерике матери и растерянности отца, когда они узнали...

В разговор вступает ещё одна из сопалатниц:

– Вы знаете? Наш доктор Левин – просто «душка». Когда он смотрит, я – в раю. Руки – громадные, а нежные... Еле сдерживаюсь, чтобы... Ну, вы меня понимаете... Вот от него с удовольствием бы родила... А от своего недоумка не стану.

– Дуры вы, дуры... – в беседу вмешивается женщина лет сорока. – Нужны мы ему все, как прыщ на одном месте. Он нас по сто штук в день обихаживает... Конвеер...

Молодая женщина, которая дала пригубить Зое немного воды – красива, изысканна. Она какая-то «чужая» в этой палате, словно драгоценный камень, случайно оказавшийся среди бижутерии.

Зоя закрывает глаза. Все эти женщины будто из другого мира, куда она попала случайно, по недоразумению. Так ей кажется.

– Мама, мамочка! – шепчет она, – я больше не буду. – Ей кажется, что она шепчет, но слова слышали все.

– Вот и я говорила, что не буду, – смеётся кто-то. – А уж в третий раз здесь. Да идите все к чертям со своей любовью! Десять минут удовольствия, а теперь расплачивайся... И особого удовольствия, я лично, в этом не нахожу...

В палату зашла медсестра:

– Ну-ка! Подставляйте попы.

Запахло уколами, спиртом.

После медсестры в палату входит посетитель. Вообще-то, посещения запрещены, но ему почему-то разрешили. Он подходит к кровати молодой, красивой женщины:

– Это я, дорогая! – Он касается её руки, – прости меня.

Зоя любитесь ими: «Вот это любовь». Тем неожиданной становится реакция женщины:

– Уходи. Пожалуйста.

– Прости, прости, – ещё раз повторяет он. Кладёт свёрток на тумбочку и выходит.

Зоя слышит, как под одеялом рыдает эта женщина, и на несколько мгновений забывает о собственном горе. Кто-то из сопалатниц успокаивает «красивую»:

– Ну, не доносила. Ну, выкидыш. Ничего, забеременеешь ещё.

Наконец, женщина успокоилась, из-под одеяла показалось её прекрасное лицо. Она открывает свёрток, оставленный мужчиной:

– Угощайтесь, пожалуйста.

Кто-то подносит угощение и Зое:

– Держи. Не расстраивайся. До свадьбы заживёт. Ещё смеяться будешь, вспоминая.

На следующий день, сразу после завтрака, обход.

Доктор Левин корректен. Он прекрасно осведомлён об обожании некоторых пациенток. Следует оставаться бесстрастным. Он ощупывает животы. Голос его приглушён, но отчётливо доносится сказанное некоторым из них: «Посмотрю на кресле».

Через час у смотрового кабинета выстраивается очередь. Он тщательно вымывает кисти рук: «Эта уже не так напряжена, как вчера. Страх улетучился, осталась небольшая боль».

– Следующая, – коротко бросает он.

Когда Зоя оказывается на кресле, она с надеждой всматривается в его лицо:

– Доктор, у меня будут ещё дети?

На щеках её ямочки, розовый кончик языка между губами. В глазах – мольба.

Он что-то ответил, что-то обнадеживающее. Как мог сказать, что никто пока не знает, что уготовила ей судьба.

Зоя возвращается в палату. На душе почему-то тяжело. Как назло, льёт дождь, небо затянуто тучами. Она стоит у окна, напоминая взъерошенного воробышка: «Почему, почему так мало любви? Почему так часто нужно выпрашивать её, отстаивать своё право любить?» Зоя ещё не подозревает, что искусство любить – откровение, посылаемое не каждому.

МАРАФОН

«Последняя и единственная», – так казалось всякий раз, когда в жизни появлялась новая женщина.

Некоторые – исчезали сразу, немногие – задерживались, но ненадолго. Вначале – кайф, потом – истерики. От счастья, может быть, от его невозможности... Невозможности, в принципе. Не может быть полного счастья. Всё быстротечно. Не говоря уже о самой жизни.

Он не помнил, как, наспех одеваясь, уходили эти женщины. Поцелуй, короткое «до завтра», зная, что оно не наступит. Терпкая печаль, испытываемая обоими. Ею – из-за необходимости уйти. Им – в ожидании захлопнувшейся двери.

Как итог – воспоминания, не оберегающие от мучительных сновидений. Откровения. Страхи, как последняя строка в стихе, боязнь не написать что-то новое. Холодное безмолвие.

[37]

У него был собственный, изобретённый им реестр, в котором женщины подразделялись на типы.

Некоторые были похожи на подростков, с маленькой грудью и крошечным задом. Порой, ироничные, беспощадные. В их глазах поблескивал металл. В одежде преобладал мальчишеский стиль. Такие – стареющие «травести». Самым главным для них было, с кем провести ночь. Неважно – как. Важно – то, чтобы потом поведать о своей победе над «одноклеточным» мужчиной. Они уходили спокойно, или создавали видимость спокойствия.

Встречались женщины-дети, капризные, требовательные. Никогда не знаешь, чего от них ожидать. Легко переходили от слёз к смеху, способные детскими пальчиками разорвать сердце и смести всё на своём пути. Непостижимые. «НЛО».

Были очень «продвинутые». В сексе. Но глупы, как индюшки, заучив слова, заполонившие словарь: концепция, авангард, абстракционизм... Однако, не имевшие понятия об истинном их значении. Любимой темой, к которой они возвращались многократно, была: «реинкарнация». Некий экскурс в «прошлые» жизни: «Как хорошо было бы быть ромашкой, пахнущей степью». Они задавали вопросы, не дожидаясь ответа. Рассуждали об ауре, чакрах...

От «продвинутых» дамочек хотелось избавиться поскорей, ещё до начала всего.

Бывали женщины из далёкого прошлого, их тип скорее бы подошёл к минувшим столетиям. Чёлка, как у «Марины». В руках – обязательный томик стихов. Одержимы поэзией. В глазах – тревожная бездна, балансирование на грани... Любовь они раскладывали на ямбы, хорей, принимая её, как поэзию, но никак не прозу: «Ведь у нас роман? Роман, да?» – Как можно не оправдать ожиданий таких женщин? Раскачиваясь всем телом, они читают стихи, переписанные в блокнот.

Лишь после минут любви, умиротворённые, сворачивались клубочком. Где начинались их желания? Где заканчивались амбиции? Чего хо-

тели они на самом деле? После женщин такого типа он чувствовал себя опустошённым совершенно.

Однажды встретилась мечта, почти кумир. Появилась внезапно, как всё прекрасное. При ближайшем рассмотрении оказалась обычной. Она также тосковала от неизбежного приближения рассвета, как предчувствия конца. Глаза её были сухи от невыплаканных слёз. Подняв ворот пальто и обдав волной духов, исчезла внезапно, как и появилась...

Когда же в его жизни появится единственная, с той же группой крови, что и у него? Пусть в ней соединятся черты всех типов из его реестра, или не отыщется ни одной... Последняя и единственная будет скидываться по ночам, услышав его слабый вздох. А он не будет дожидаться её ухода, наоборот, сделает всё, чтобы она осталась.

Прошлые желания, окажутся ненужными, незначительными. Он не станет опасаться разочарования. Нет, не в себе. Только бы она не разочаровалась в нём.

Пусть поэзия правит в ночи. А утро – время для прозы. Не все любят поэзию. Он не любит. Пусть не останется времени для одиночества, размышлений. Тогда, возможно, придёт время счесть проклятый реестр.

ПОСТСКРИПТУМ

Неприлично быть несчастным, ненужным, опустошённым – несостоявшимся... Находиться всё время в каком-то тупике... Постоянно испытывать грусть...

Неприлично...

Поэтому... Она всегда подтянута, с приветливым, но измученным лицом. Припудрены морщинки... Тени под глазами... И складки у подбородка...

Она ходит по городу больная, температурит, бредит. Бредит кем-то, кто был в прежней жизни. На главпочтамте заказывает разговор. Удивительно, но ждать приходится недолго. Услышав голос, хрипит в трубку:

– Я больна. Только ты способен меня вылечить.

Видимо, он решил, что один из них сошёл с ума. Из вежливости молчит.

Она стала говорить ему о нём:

– Я просто хотела услышать твой голос.

– Просто услышать?

– Да.

Он слушал, не перебивая. Не молод. Пресыщен. Болен. Одинок.

Потом, всё же, сказал:

– Ты хочешь, чтобы я подержал тебя за руку? Возьми, вот она...

– Да, – прохрипела снова.

Он заговорил:

– Я помню, как мы расстались. Твои глаза смотрели в душу. Я физически не мог вынести этот взгляд... В нём сквозило доверие, и... такое недоверие. Потом ты злилась, язвила... В последний раз, до пяти утра, мы молчали и пили вино, сидя у камина... Когда он погас... я поехал в аэропорт... Да, я любил, но мне хотелось поменьше чувств. Вскоре понял – ты завладела моим сердцем. Понимаю. Звучит пошло, даже бездарно. И это угнетает меня. С тех пор всегда чувствовал раздражение, если кто-то при мне произносил слово «любовь». Любовь делает человека незащищённым...

Тщательность его речи чередовалась с паузами, будто он собирался с силами, чтобы произнести следующее предложение. Было очевидно – слова давались ему с трудом:

– Ты почувствовала, что мне очень плохо? Потому и позвонила? Все это довольно странно... Даже сейчас помню линию твоих волос, родинку на шее... Знаешь, двойственность моей натуры – одна из главных причин ночных кошмаров. Теперь только молитва может успокоить меня перед образом ночи... И ещё я понял, как хорошо быть не совсем чужим, не вполне своим. Быть просто сторонним наблюдателем...

Прошлое существует в памяти. Будущее – в мечтах. Жить приходится настоящим. Вернуться в прошлое невозможно. Иногда несостоявшиеся мечты заставляют думать, что всё могло сложиться иначе. Страшно, когда вся жизнь – воспоминания, либо – мечты. Хотя, у меня не осталось даже мечты...

Хочется, чтобы, наконец, все оставили меня в покое. И ещё, чуть-чуть солнца. Может быть, немного горького шоколада... Или настоящего кофе... Он горек и сладок, точно глоток случайной свободы, обрётённой совсем ненадолго... Свободы, даже от себя... Знаешь, я слышу: где-то шумит город, такой уже далёкий... В мою дверь всё чаще стучится это проклятое прошлое... Садится рядом, тенью скользит вдоль стен...

Любимая! Прошу, не открывай прошлому дверь. Гони прочь. Думай о настоящем. Только о нём.

Давид Яновский

ВЕСНА

Шальные пальцы солнечных лучей
Ласкают обнажённые деревья,
И ветки пробуждаются от сна.
На них бесстыдно набухают почки,
Как женские соски от поцелуев.
А в небе тучи набирают влагу,
И скоро семя первого дождя
Проникнет в истомившуюся землю.
Согрело солнце горы и долины,
Рожать готовится ожившая земля
И вот уже, журча, в полях отходят воды,
И там, где снег сошёл, земля нагая дышит
Неодолимой жаждой материнства.

БОЛЕЗНЬ

Неисцелима эта болезнь.
Передаётся она половым путём.
Сорок недель продолжается
период её инкубации.
Эта болезнь называется жизнь.
Бог дал нам её для того,
чтоб мы могли оценить
красоту огромного мира,
который Он создал когда-то.
Летальный исход неизбежен,

но он – как соль, как приправа.
Он придаёт нашей жизни
неповторимый вкус.

* * *

Не всякому дано понять
Своих возможностей границы,
Чтоб вовремя остановиться
И, не рискуя поясницей,
Груз непосильный не поднять,
Не вызвать смех, не срамиться.

* * *

Храни нас Бог от опрометчивых решений,
От дел неправедных и поздних сожалений.

* * *

Между Сциллою разнузданной свободы
И Харибдой беспощадной диктатуры
Проблема лучшей власти для народа
Сродни проблеме круга квадратуры.

* * *

Путь правильный нам трудно отыскать
В различных ситуациях мудрёных.
Не можем точно мы предугадать
Слов и поступков следствий отдалённых.

* * *

Одинаково светит солнце
На храмы и на кабаки,
Но в саду вырастают розы,
А на пустыре – сорняки.

* * *

Не важны форма и цена бокала,
Важна рука, что влагу наливала.

* * *

У мудреца язык
В самое сердце проник.

Сердце у дурака –
На кончике языка.

* * *

Если в тебе 90 пороков,
А добродетель – одна,
Тому, кто любит тебя всем сердцем,
Она лишь будет видна.

* * *

Ты не ограбил и не убил?
Ты не подонок и не дебил?
Это не всё. Расскажи мне, сынок,
Как ты любил, и кому ты помог.

* * *

Любовь и мускус спрятать невозможно,
Они себя проявят непременно.

* * *

Праведный путь не трудно найти,
Трудно идти по такому пути.

* * *

Следи за мыслями!
Будь осторожен в них!
Ведь в них – начало дел,
Хороших и плохих.

* * *

Покуда ты согнут сам –
Оставь пустые мечты;
Пока сам не станешь прям,
Других не выпрямишь ты.

* * *

По делу совет подобающий
Даст не учёный, а знающий.

* * *

Целебная редко сладка трава,
Редко приятны правды слова.

* * *

Рассудок наш с большим искусством
Оправдывает наши безрассудства.

* * *

Прокурор распознает пройдоху любого,
Но может в упор не увидеть святого.

[43]

* * *

Любят многие подробно излагать свои проблемы,
Хоть другим не интересен разговор на эти темы.

* * *

Трудно сердиться на тех,
Кто в нас вызывает смех.

* * *

Не уважаешь вкус других людей? –
Так в гости не иди, и не зови гостей!

* * *

Козёл твердил с завидным постоянством
О пользе вегетарианства.

* * *

Если в глаз твой соринка попала, –
Крушение мира ещё не настало.

* * *

Каждый получает, что положено.
Пользуйся, не требуя добавки,
Тем, чего добился ты хорошего.
Больше не получишь и булавки.

* * *

Когда сияет солнца свет,
Свеча едва видна.
Когда другого света нет,
Нам – солнышко она.

* * *

Я часто плакать был готов
Из-за невысказанных слов,
Но помню до седых волос
Те, что некстати произнёс.

* * *

Слепому кажется: обеими руками
Едят все зрячие огромными кусками.

* * *

Наша память – как сито,
И каждый своё хранит:
У одних остаётся жемчуг,
А у других – гранит.

* * *

Пока мудрец всё ищет мост надёжный,
Уж реку переплыл дурак неосторожный

* * *

Даже если слава заслужена,
Не выставляй её, как жемчужину.

* * *

Боишься заноз – не ходи босиком,
Не хочешь позора – не спорь с дураком.

* * *

Подобно свирепому тигру, старость нас ожидает,
Болезни нас атакуют с рождения до смертных дней,
Как вода из дырявой посуды, жизнь из нас вытекает,
И всё же никак мы не станем ни лучше и ни умней.

* * *

Давно забыты те, с кем я
Смеялся так беспечно,
Но тех, с кем вместе плакал я,
Всех помнить буду вечно.

* * *

Жизнь – гора, и крут подъём,
Вверх мы медленно идём,
Но потом, пройдя вершину,
Быстро катимся в долину.

* * *

Паденье грозит лишь тому, кто идёт.
Тот, кто ползает – не упадёт.

* * *

Нами правят воры и невежды,
Беды донимают без конца.
Если бы не обручи надежды,
Лопнули бы бедные сердца.

* * *

Склоняются под ветром тополя,
У сосен ветви гибко гнутся
И лишь дубы, ветвями шевеля,
Почти недвижны остаются.

* * *

Корысти и чести
Трудно жить вместе.

* * *

Сдавил апельсин ты сильнее, чем надо,
И горькою стала сока прохлада.

* * *

Голос истины не изящен,
Неприятен, порою груб.
Не стремись говорить красиво,
Пусть лишь правда слетает с губ.

* * *

Жизнь – суета, сказал Екклезиаст,
Но этой суеты пусть Бог побольше даст.

* * *

Упорство невежд и беспечность глупцов
Им гибель несут и мешают мудрецов.

* * *

Правдою ложь питается,
Но правда для лжи – отравя.
Чахнет она, рассыпается,
Остаётся дурная слава.

* * *

Не впитает влагу гранит,
Знание дурак не хранит.

* * *

Женский волос прочнее цепи,
Ты не вырвешься, как ни вопи.

* * *

Прекрасны познания, ум, мастерство,
Но доброе сердце прекрасней всего.

Игорь Коган

ШАРЛАТАН 6. ОХОТА

(Продолжение. Начало см. в альманахах «До и после» №№14 – 18)

– Тэ-э-э-э-к-с-с-с.... Ну-тес – посмотрим-поглядим, какое расписание блюд сегодня на обед предлагают:

– первые блюда: суп летний овощной, окрошка, рассольник, щи из квашеной капусты на м/б со сметаной;

– вторые блюда: фрикадельки мясные с подливой, «мясо гавюжье» (так, кажется, у Задорнова написано) в кисло-сладком соусе, поджарка свиная, запеканка картофельная с мясом;

– третьи блюда: сок берёзовый, компот из сухофруктов, напиток яблочный из яблочного пюре;

– закуски: салат оливье, салат овощной, салат свекольный;

– гарниры: пюре картофельное, каша гречневая, капуста квашеная....

Ничего в этой столовке за двадцать лет не изменилось... Ладно – первый блин, слава богу, не вышел комом. Можно было даже змейку не запускать, а сразу начать с кабинета заведующего производством. Я не стал облегчать себе задачу и мысленно, не вылезая из постели, проследил весь путь от третьего корпуса до здания администрации. Медленно, не торопясь, я выпустил из головы тоненькую зелёную змейку. Почему змейку? Так мне захотелось. Почему зелёную? Люблю этот цвет. Змейка сползла на пол, просочилась под дверь, затем налево по длинному коридору прокралась до выхода, стекла по ступенькам крыльца, миновала круглую резную беседку, извиваясь по узкой каменистой дорожке, протянулась мимо волейбольной площадки и теннисного корта до входа в пищеблок, и быстренько скользнула под дверь номер 16. Дальше не интересно – смотри выше расписание блюд...

Интересно кое-что другое – моя безопасность... «... не пойму пока, с чьей помощью ты такой резвый стал. Но это пока – разберусь быстро...» Так сказала Марьяна в электричке. Что из этого следует? Следует, что не разберётся. В ином случае – представить страшно, как бы я выглядел в ином случае. Не видать ей моих мозгов, как своих ушей. Ментальный барьер, поставленный Шарлатаном, Марьяне не по зубам. Он для меня охранная грамота – жаль, что не индульгенция. Максимум, что она может – слизывать инфу с поверхности, типа кассирши на вокзале. Флаг ей в руки. Знает ли, стерва, об этом? Наверняка – значит будет искать, кто поперёк дороги стал. Искать и бояться – бояться, и делать ошибки. Кстати об ошибках: стоит мне раз проколоться – я труп. Шарлатан не поможет – у него, видите ли, принципы... Хорош гусь – нечего сказать. Я труп, а у него принципы... Какой там ещё перл Марьяна выдала? «... язычок на крючок, а мысли на замок амбарный... Целей будешь...» Ну прям, как наш армейский старшина. Спасибо – запомню.

Залезть к ней в мозги мне пока не по силам. Что по силам? Узнать где живёт, и зайти в гости? А что? – Узнать и зайти.... Что-то было ещё – какой-то мерзкий нюанс, крайне неприятный в женщинах... Стоп – когда Марьяна проталкивалась с узлами через вагон, одна тётка в сторону шарахнулась, махнула перед носом рукой и осуждающе посмотрела в след. Точно! Пе-ре-гар!

От неё просто несло крепчайшим перегаром! Стало быть, пьёт – и это запомним. Почему вообще бабы пьют? Потому что тоска. На телеса Марьяны вряд ли кто позарится – даже за деньги. Значит без мужика, но причина не только в этом. В чём ещё? Она не дура и прекрасно понимает – карму придётся отработать, иначе вожделенной свободы не видать. Есть от чего прийти в уныние. Можно постоянно менять старые тела на новые, и так перебиваться до второго пришествия, но – во-первых, эта дорога не ведёт к храму, а во-вторых, Шарлатану, кажется, надоело глazierь на её выкрутасы – стал бы он меня науськивать. Хитрый – убивает двух зайцев сразу: я прессую Марьяну, а заодно свои долги возвращаю... Интересно кому? Тем не менее, на что-то или на кого-то она рассчитывает. На что и на кого? Вполне допускаю: существует что-то, или кто-то, а может быть и то и другое вместе, по своему могуществу стоящее между Шарлатаном и Марьяной. Это что-то или этот кто-то явно не человек...

В одной из моих бесед с Шарлатаном он сетовал: «Люди очень суеверны, и подвержены всяческому необоснованным страхам. Напримудумывают себе невероятное – богов, например, потом сами от этого страдают. Не понимаете? Постараюсь как можно проще. Любая мысль, мой молодой друг, имеет объем и вес. Как только вы о чём-нибудь подумали, особенно если не просто так, а крепко и целенаправленно, так

оно или она – мысль, то есть, тут же из вашей головы выплыла и самостоятельной жизнью зажила. Чем крепче подумали, тем дольше мысль уже без вас проживёт, а кто-нибудь её возьмёт и подхватит. Так вот – когда десятки, и сотни миллионов людей веками, тысячелетиями молятся одним и тем же воображаемым существам, их мысли объединяются в мощные энергетические потоки, структуры, сгустки, кластеры... Эти сгустки, некоторые ваши доморощенные специалисты называют их «Эгрегоры», начинают жить автономно, враждовать друг с другом, управлять верующими в них, натравливать их друг на друга, требовать постоянной энергетической подпитки, то есть молитвы, без которой они не могут существовать – они просто рассосутся, растают. Это, надеюсь, нетрудно понять – чем меньше верующих, тем слабее подпитка. Так появились все мировые религии. Вы сами на себя ярмо надеваете. Лично мне никакая подпитка не нужна. Я никогда и никого не вынуждал в свой адрес молиться. Зарубите себе на носу, молодой человек, – у планеты Земля есть только один хозяин и этот хозяин Я. Для вас, для всех, существуют установленные мной законы: любовь, самопожертвование, равновесие, справедливость, возмездие – справедливое возмездие за несправедливые поступки. И законы эти незыблемы».

«Ох, голова моя, голова моя – не по нутру это всё рядовым мозгам. Ещё этот на стене, монстр двадцатилетней давности, тик-так, тик-так, так-так, тик-так... Снаружи капает – внутри тикает и всё по голове...»

Резкий, омерзительный звонок, раздавшийся из мобилы – такой же омерзительный, как моя жизнь на рынке, возвратил обессиленные извилины в примитивную реальность. «Неужели пожар – вот счастье-то! Или рынок закрывают! Хорошо бы так! Сам я ещё долго время тянуть буду, а тут – бац – и в дамки».

Звонить могла только продавщица. Я, строго-настрою, наказал не теревить по пустякам, только в крайнем случае, а номер специально закодировал на этот звонок – что б и мёртвого разбудил».

- Алло, алло – это Марина! Вас тут все ищут...
 - Кому я сдался? Что случилось?
 - Случилось, случилось – голос был уже мужской. – Это Сергей. Узнал?
 - Узнал, узнал. В чём дело?
 - Это мы хотим знать, в чём дело. Немедленно приезжай! Чтoб через полчаса был здесь.
 - Быстро не могу. Я не в Москве. Приеду через два дня.
 - Ты что, с ума сошёл? Ты отдаёшь себе отчёт...
 - А ты отдаёшь себе отчёт? – Я обозлился и из меня снова попёрло.
- Ты отдаёшь себе отчёт, что имеешь более важные заботы? Жену твою, полчаса как, рожать увезли.

– Как ты...? Мне самому только звонили?
– Вот и езжай к ней. Роддом номер четыре. Улица Новаторов тридцать три. Правильно?

– Как узнал?
– Только что из башки твоей вытащил.

Ощущать, с расстояния в шестьдесят пять километров, как у человека потеют уши, бывает, в некоторых ситуациях, весьма любопытно...

– Ты... этот, как его, экстрапат, телесенс? – сдавленно прохрипело из трубки.

– Понятия не имею. Говорю, что знаю.

– Ладно. Проехали. Зачем звоню, в курсе?

– Теперь в курсе. Парня вашего в подъезде по кумполу огрели. Я к этому – ни с какой стороны, но бабки ваши найду. На место приеду и найду. Своих успокой, чтоб не зверели – сначала делают, потом думают, пусть ничего не предпринимают, а то наломают дров...

– Хорошо. Я тебя отмажу, но только два дня – не позже, ты наших знаешь...

– Да знаю я, знаю. Всё. Отбой.

«Вот чёрт! Дёрнуло с бедолагой лясы точить, ну отдал бабки и дело с концом, первый раз что ли? Естественно он рассказал, когда очухался, но я-то, я-то, дебил, козёл бесконечный, знал же – нельзя язык распускать – у них каждое лыко в строку. Объясняйся теперь. Доказывай, что не верблюду».

– Верблюду не верблюду, а доказывать, придётся. – Шарлатан, словно ванька-встанька, возник как всегда вовремя – а то, прошу простить за рыночный жаргон, вам так надерут задницу, что бабуины за родственника примут. Мудрый совет: разбираться на месте совершенно необязательно. Попробуйте дистанционно, отсюда. Прогуляйтесь, воздухом подышите, мозги на место поставьте, зелёную змейку, если по-другому не можете, на помощь призовите. Только глаза ей приделайте, чтобы, как давеча, в столовой буквы вслепую не ощупывать. Разрешаю, в пределах порученной вам миссии, покопаться в мозгах у тех, кого сами изберёте. Вот и будет вам практика перед тем, как с Марьяной тягаться. Да, вот ещё, вернитесь в прошлое, вспомните что-нибудь хорошее и счастливое типа: «...ночной зефир струит эфир, шумит, бежит Гвадалквивир...» Оч-чень помогает.

«Пушкина приплёл – подумал я – вот зараза! Издеваться затеял, дедок паршивый...»

– Ничуть – отозвался дедок, – я затеял обозлить вас, елико возможно, так сказать, дела ради, а то, гляжу, вы совсем распялились. Ну, идите, идите, дождик, кажется, совсем прошёл.

«Для меня не существует прошлого. Я никогда, никуда, ни к кому не возвращаюсь. Это жизненный принцип» – так сказала лет двадцать назад, теперь уже старинная, давно замужняя подружка, перед тем, как расстаться в очередной раз... Престервознейшая была особа. Бзик, присутствующий в той или иной мере каждой женщине, разросся в ней до галактических масштабов...

Она считала и, видимо, считает до сих пор: наилучший, полноценный секс может быть только после жгучей ссоры, сопровождаемой грандиозным скандалом, битьём посуды, истерикой, оскорблениями, неизменным желанием заполучить пару оглушительных оплеух и не меньшее количество хлёстких затрещин, опосля чего задохнуться, разрыдаться и кинуться, наконец, в омерзительные объятия этого неподражаемого подонка и мерзавца – то есть, меня. Всё это неисчислимое количество раз исполнялось на высочайшем художественном уровне. В самый последний раз, в тот самый последний раз, когда она вознамерилась помириться, чтобы вновь слиться в жесточайшем оргазмоподобном экстазе, я сбежал – сбежал позорно, скоро и радостно...

В отличие от подружки, обожаю возвращаться в места, где было хорошо и комфортно. Сказать по правде, посещение когда-то насиженных мест, занятие грустное и жалостное – на вкус горько-сладко-солёное, что-то вроде лёгкой формы мазохизма или садомазохизма – вспоминаешь и жалеешь, что было, вспоминаешь и жалеешь, что больше не повторится. Пусть так. Пройтись по местам боевой славы, поскулить внутри себя – не так уж, господа, и плохо, во всяком случае, точно не преступление. Только вот паршивая незадача: ничего путного, тем более счастливого, окромя сонма баб, из разворошенных извилин не выплывает – цельный ворох баб, и каждая неприличный жест под нос тычет...

– А вы надеялись, они забудут и простят? Особенно та, лишённая радости хоть когда-нибудь услышать «дорогая мамочка, я так тебя люблю» – придётся ответить. В этой жизни или в следующей, зависит от ваших поступков в дальнейшем... Закон свободной воли никто не отменял.

– Чёрт бы тебя побрал, Господи! Можно остаться с мыслями наедине хоть секунду!? Не пойди ли тебе, Господи, в баню – роман дописывать...

– Насчёт чёрта? – старый хрыч даже не обиделся, – всегда пожалуйста, всегда под рукой, тут же спворю... и роман допишу, а вы, молодой человек, как допишете жизнь – ещё будем посмотреть... Кстати, что-то не припомню, когда мы на «ты» перешли?

– А мы не переходили, просто достал меня ваш закон: «Казнить нельзя помиловать». Лучше ничего не могли придумать?

– Против глупости, молодой человек, бессильны даже боги. Знаки препинания расставляйте правильно. Или мне прикажете?

– Куда уж нам, сирым. Мы университетов не кончали, в гвадалквивирах перстами не булькали и ваще Гарсию Лорку предпочитаем. Кстати, насколько я понял, вы не только Леонардо за кисть водили, но и Шиллера за перо дёргали...

– Не угадали, не угадали – старик радостно захихикал – малыш сам допёр. Жизнь заставила. Любопытнейшая была жизнь, скажу я вам. Поведу как-нибудь, при случае... А вам, вместо того чтобы со мной в знаниях тягаться, пора бы заняться делом.

И пошёл я, тоскующий сердцем... Куда? Куда ещё могло направить свои стопы моё тоскующее сердце – конечно же, на пляж.

Автобус старый, полупустой. Движок полудохлый. Пассажиры тоже. Ничего иного в середине рабочей недели и середине дня ожидать не приходится. Кто имел работу, с утра работал. На всём пути до станции никто стоящий так и не вошёл. Копаться в мозгах было не у кого и, лёжа на берегу Москва-реки, я сосредоточил усилия на тренировке дистанционного зрения, при помощи зелёной змейки, а потом и без неё. Сначала всё виделось в сильно размытом фокусе и тумане. Пришлось очень сильно напрягаться, чтобы различать не только общую картину, но отдельные фигуры и лица. Пока «ехал» до станции, кое-как в этом преуспел. Честно говоря, не ожидал, что так сильно устану. Чтобы не заснуть, перебрался с мягкой травы на жёсткий лежак.

Поезд ещё не пришёл, до отправки вообще был час с лишним, и я решил заранее присмотреться – выбрать одного или больше кандидатов, с кем в пути интересней «общаться».

Двое взрослых мужчин, женщина средних лет и совсем юная пара. Звенигородские мужики пёрлись в Москву искать работу, тётка в Одинцово к дочери, сладкая парочка, поумирав недельку от тоски в доме отдыха Минобороны, жаждала столичных развлечений. Почему выбрал из большой толпы этих пятерых, сказать не берусь – чисто интуитивно, подсознательно, одним первым взглядом.

Волевым усилием заставить отобранных особей загрузиться в один вагон оказалось не так просто. Для начала я внушил им мысль посидеть на лавочке около входа на платформу. За пять минут до прихода электрички они организованно встали и собрались в центре перрона, затем благополучно расселись в четвёртом вагоне.

«Не имея практики, держать в поле зрения несколько живых существ, да ещё управлять их поступками! В гробу я видал такой фитнес!». Деревянный лежак подо мной просто отсырел от пота. Я распластался на нём, не имея сил даже приоткрыть веки. Какой же мощью должен обладать Шарлатан, держа под контролем целую планету!

Поезд тронулся. Только бы не сорваться. Любой ценой довезти этих

субчиков до места назначения. Меня начинает трясти. Башка готова взорваться и загадить мозгами пару квадратных метров: «Господи, все-го-то!». Несколько секунд, всего несколько секунд и капец – и тут я благим белужьим матом заорал...

– Мужик, а мужик, ты живой? Очухался? Всю рыбу мне распугал. Я думал, кондратий тебя хватил или насилуют кого. В дни моей туманной юности одна баба так орала. Что случилось-то?

Я смотрел сквозь него, смотрел мутно и безнадежно, только мерно перестукивала кровь в висках...

– Может ушицы? С дымком ушицы хочешь? Горячей. Давай, вставай потихоньку. Тут близко. Я рядышком, под бережком был. Вот так – тут тебя и опустим. Посиди. Оклемаешься. Расскажешь.

«Ему расскажешь, – подумал я, – тут же сбежит, вместе с ухой, да ещё психушку с ментами вызовет». Тем не менее, ушицы вкусил почти котелок. Жутко проголодался от этого напряга.

– А я тебя помню. Ты в Ёлочке всю первую половину 70-х обретался. Потом пропал. Активный был. Бабу твою последнюю помню. Выразительная. Что смотришь? Я тут с 67 года лодочной станцией заведую. При ней живу. Всех помню. Всё слышу. Подруга твоя другой ночью топить пришла. Еле откачал. Такую чушь несла: «...она меня всё равно убьёт, съест, заморит... Лучше я и себя и её...». Совсем психованная. В коморке моей отлежалась и ушла. Через сезон вновь была, с ребёнком. Про тебя спрашивала. А я что: «с концами, – говорю. – Больше не приезжал. Забудь. Такая ваша бабская доля». Я так полагаю, ты за пять лет много чего в «Ёлочке» понатыкал. Ежели они, все вместе, предьяву запузырят – потеха будет...

– Спасибо, дядя, – сказал я поднимаясь. – Славная ушица твоя, быстро мозги в просветление загоняет. Опять же, за экскурс спасибо – культпросвет так сказать...

– Меня в Каринском все Шуркой зовут, а так я Александр Семёныч. Каринское знаешь? На другом берегу. Через ваш знаменитый мост поцелуев перейдёшь и на горке рядом. Ты, паря, в голову не бери – бери в плечи – шире будут. Особо не парься. Времени-то ой прошло сколько... Ну давай, пути тебе хорошего. Если что, заходи.

«Зайду я к тебе, как же – ноги несли меня прочь, в сторону корпусов, напрямик по скошенному полю – без очевидцев и собеседников обойдёмся. Лодочник, блин, тоже мне Харон нашелся. Как всё обернулось, однако, не ровен час, в противостоянии с Марьяной появятся личные мотивы. «Есть такая буква в этом слове», – говаривал, светлой памяти, армейский старшина, Ах, стерва. Ах ты, ну погоди. Я тебя достану. Я тебя не только на полста лет назад верну, в твоё грёбаное «Наследие предков» – сам туда в гости наведуясь к фюрерам твоим я...»

«Следующая остановка «Малые Вязёмы» Какие Вязёмы??? Что за бред! Стоп!!! Это как понимать? Пока я мозгами брызгал, орал и отключался, поезд уже в Голицыно? У меня что, открылось второе дыхание? Перестук колёс электрички я принял за пульсацию крови, а моё подсознание всё это время за меня работало?! Вот здорово! Теперь я могу....

– Только это вы и можете – раздался голос моего записного топтуна – Утешьтесь тем, что Юлий Цезарь не мог большего. Забудьте пока и Марьяну, и «Наследие предков». У вас проблемы насущные имеются.

«Какой, всё-таки, старый хрыч бесцеремонный».

– Про ребёнка тоже забыть?

– Позвольте напомнить слова вашего нового знакомца: «Я так полагаю, ты за пять лет много чего в «Ёлочке» понатыкал...». Если про всех рассказать, вы их искать кинетесь? Будучи весьма осведомлён о ваших кудрявых привычках, полагаю – как раз наоборот. Всему своё время и своя карма. Займитесь насущным.

– Да как же....

– Если чайник полон кипятка – для холодной воды места нет. Остыньте.

– Да ведь я....

– Всё! Разговор окончен. Пока не разберётесь с рынком, к Марьяне не подпущу. Ваши подопечные, кстати, уже «Здравницу» проехали. Напоминаю ещё раз, на всякий случай: внушать мысли и поступки, способные изменить их личную карму, категорически запрещаю. Вы, кстати, выбрали для «общения» удачных кандидатов. Молодые – всего лишь третья, а у двоих даже вторая жизнь. Серьёзно набедокурить не успели, кармическая колея довольно широкая. Не как у некоторых – шаг вправо, шаг влево – расстрел. Делаете успехи. Хвалю.

– Это за что же?

– За то, что при выборе доверились интуиции.

– А что такого? Подумаешь – делов-то куча. Я постоянно ею пользуюсь. Не только я – все.

– Вы...??? Все...??? – Шарлатанский голос возмущённо фыркнул – А знаете ли вы все, что это такое? Знаете ли вы все, каким бесценным даром обладаете изначально и как бездарно этим даром пользуетесь, если пользуетесь вообще?

И столько было в его интонациях едкой, насмешливой, высокомерно-горькой иронии, что у меня зачесались руки и заныли зубы: «Как же он достал! Вот бы захватить по наглой физиономии!»

– Захватить? Мне? – он рассмеялся – руки короткие. А впрочем, я сам себе иногда хочу захватить, особенно после очередной общечеловеческой глупости. Так, знаете ли, руки чешутся. Взять и одним щелчком ото

всех вас избавиться.... То, что у вас принято называть интуицией, третьим глазом, внутренним голосом, ангелом хранителем, святым духом, душой и ещё бог или чёрт его знает чем – есть творение силы такого масштаба, что не только вам, но Мне, самой Вселенной понять и объяснить эту силу никогда не представится возможным. Примите это как данность. Знаете старый анекдот? «Что такое электричество?» – спросил профессор. «Я знал, но забыл!» – ответил студент. «Какая потеря, – воскликнул профессор. – Один человек во всем мире знал, и тот забыл!» Эта сила выше нашего общего, подчёркиваю – общего понимания. Она создала Вселенную, сотворила Меня. В каждом из вас частица этой силы. Она не только дарит возможность жить и осознавать жизнь, но и охраняет вас от вас самих. Это самая совершенная, всеобъемлющая система безопасности. Она никогда не спит, сканирует пространство, анализирует последствия ваших поступков, и заранее бьёт тревогу, нередко во сне, как правило, только один раз. Отмахнулись – ваши проблемы. Если б вы – все, давали себе труд, прислушиваться к её намёкам, то хлопот с вами было бы много меньше. Меня, старика, не раздражали, и проживали бы совсем другую, более счастливую жизнь. Возвращайтесь на лежак, или другой наблюдательный пункт. Займитесь, наконец, делом. Сможете проследить до конечной точки всех одновременно – удостоитесь ещё одной похвалы.

«Нужна мне твоя похвала, как собаке пятая нога, рыбе зонтик, а зайцу насморк. У меня теперь свой мотив имеется – бурчал я себе под нос, развалившись на остриженном, колком поле, – свой мотив, и свой расчёт. Закон свободной воли никто не отменял? Вот и ладушки».

Однако Шарлатан прав: без практики к Марьяне не сунешься. Ладно, что мы имеем? Имеем три разных направления и пятерых «кроликов». Могу я их проследить одновременно? Пока нет. Что могу? Ценой значительных усилий, и литров пота открутить плёнку назад, вытащить из подкормки всю историю, начиная с отхода поезда. Главное, чтобы мозги снова плавиться не начали. Ну что ж, «...Наши цели ясны! Задачи определены! За работу товарищи!»

И я закрыл глаза...

Продолжение следует

* * *

...И Голос Тонкой Тишины...
И тихий свет миров не слышных...
И малахитовые сны ...
И я...
И КНИГА...
И ВСЕВЫШНИЙ...

...Вдруг – СЛОВО!
Луч!
Мгновенье!
Блик!
Подсказка!
Вещее дыханье!
Сомненье!
Боль!
Рожденье!
– Крик!
– Прозренье!
– Ужас!
– ПОКАЯНЬЕ!

... И память тысячи веков,
И миллионов поколений,
Предвечный. Безначальный Зов,
Венец Божественных Стремлений,
Всесильный Духа моего вошел в меня!

...Но, что же. Что же?
Что смог понять я?
Ни-че-го...

Где зеркало?!
Вот это рожа!

Я – память тысячи веков?
Я – муки тысяч поколений?
Предвечный. Безначальный Зов?
Экстракт Божественных Видений?

Нет, – я не Зов, и не Экстракт.
Нет, – я не память, и не муки.
Хоть мне дано запросто так
Творить миры... От вечной скуки

От генетической тоски
Я мог бы кой-чего сварганить,
Кой-где идею прикарманить,
Глядишь – и выйду в маяки.

[57]

Жаль...
Память тысячи веков
Сквозь муки тысяч поколений
Доносит искаженный Зов –
Лишь отраженья отражений.
Лишь тень Божественной Мечты...
Лишь суета вокруг дивана...
Муляж Предвечной Красоты
Мне по мозгам и по карману...

СОКРЫТО ВСЁ...

Но, с этих пор, я молчаливей стал...
И выше...
И Голос Тонкой Тишины
Уже отчетливей я слышу.

Леонид Бердичевский

ВСЕ В ДОМЕ СПЯТ...

Все в доме спят, –
всё в тишине блаженной,
царит покой, святая благодать.
Спят стол и стулья, потолок и стены,
и только сердце не желает спать.

Оно готово вновь устроить диспут,
возобновить с судьбою давний спор.
Но, шёпот заглушая звонким свистом, –
влетает крик души в их разговор.

Претензий много накопило время,
неся их прямо, вкось и поперёк.
Напоминает, что оно не дремлет, –
готово главный совершить бросок.

Всё откровенно, всё наглядно, броско,
всё плавает и мчится впопыхах.
Выкручивая жизнь, как вертихвостка,
с кривой улыбкой на больных устах.

Все в доме спят,
и никому нет дела,
что сердце ни за что не хочет спать...
Бессонница до боли надоела,
и стала жёсткой мягкая кровать.

Царит покой.
Святая благодать...

* * *

Заблудившийся сюжет
отыскался в старом хламе,
пролежал в нём много лет,
затвердел, как плоский камень.

[59]

Не упомянуть, что хотел
я тогда поведать людям.
Навалилось много дел, –
кто теперь меня осудит?

Только помню громкий стук, –
так менялась панорама,
осень появилась вдруг
за стеклом оконной рамы.

Да, ещё погода та!..
Листья на глазах желтеют.
А на крыше два кота
выясняют, кто сильнее.

Сразу вылинял восход,
всё плывёт в осенней гамме...
Жаль, сюжету не везёт,
заблудился в старом хламе.

* * *

Ветер словно сошёл с ума, –
он стремителен и неистов.
Навязала ему судьба
быть на всём пути вокалистом:
просвистеть, вспугнуть, удивить,
пронестись, как шальные кони,
всем дыхание участить,
от него не сбежать. – догонит.
Не иссякнет его заряд, –
энергичен, чётко и метко.

Нет, он в этом не виноват,
он такой же точно, как предок.

РЕКВИЕМ

К памяти робко прикосновенье,
в ритме волненья,
вызовет трепет.
А обонянье и осязанье,
взглядом, гортанью
собраны в цепи.

Мысли тиранят воспоминанья,
как наказание
за эпизоды.
И подчиняется вдохновенье
сердцебиению
долгие годы.

Скажите: «Это самовнушенье,
нервов скольженье,
вакуум чувства».
Нет, это только моё завещанье,
строки прощенья,
строки прощанья,
шёпотно-устны.

* * *

Поэты молятся стихами, –
чтоб не остаться на бобах.
Затишье порождает страх,
но вдохновенье пьют глотками.

Поэты молятся стихами
при безнадёге на успех,
и вызывает звонкий смех
упорство их, как в личной драме.

Но я признаюсь, между нами,
когда сюжет берёт размах,
их мысль несётся второпях. –
Поэты молятся стихами.

ИНТЕРМЕЦЦО

[61]

Между небом и землёю,
между смертью и рождением,
между хохотом и плачем
 раздаётся, беспокоя
молотом сердцебиенья,
и нисколько не иначе,
чтоб дыханию согреться –
 интермеццо

Между выдохом и вдохом,
между звуком и словами,
между правдой, между ложью,
 раздаётся жизни грохот,
застревая меж губами
откровеньем осторожным,
чтоб в душе запечатлеться –
 интермеццо.

Нам всегда необходимо:
после солнца быстрый ливень,
чтоб душа собрала бисер,
в паузе, для слитка мысли.

МОЙ СОН

Мой сон, мой поводырь – то в Рай, то в Ад,
в Чистилище позволил передышку.
Я жду в нём сновидения интрижку, –
накал страстей, как шумный маскарад.

Вергилий рядом и угрюмый Дант
идут, – наш путь в десятки километров.

Тишь царствует, – ни шороха, ни ветра,
лишь мерный храп уставших горожан.

Вот, распростёрся ровный город Лимб,
заснули в нём и барды, и бродяги,
и на земле остатки снеди, фляги, –
всех усыпили песни нежных нимф.

Но вот уж утро. Колокольный звон,
и суета вчерашняя всё та же...
Ночь позади. Какие персонажи
мне преподнёс тогда прекрасный сон.

ФЛАЖОЛЕТ*

Свистит задорно флажолет,
и эхо повторяет звуки.
Задействованы губы, руки,
и рядом равнодушных нет.

Прохожих манит флажолет,
с гримасой музыканта горькой.
Растёт в дырявой шляпе горка
из мелких и больших монет.

Экспромты связаны в букет,
и кажется. что без обмана,
летят они в фойе S-bahna, –
но как находчив флажолет!

А умный музыкант хитёр,
он сыплет звуками остроты,
фальшивит, изувечив ноты,
как старый опытный актёр.

**свирель с наконечником*

ЛУЖА

Лужу морщит неразборчивый ветер,
луже приятно, что кто-то заметил,
как ей тоскливо.

Вздрогнула лужа от самообмана, –
может быть это начало романа, –
явится ливень?

Свежую воду подарит он луже,
и разогреет в осеннюю стужу, –
пусть, на мгновенье.
Озером лужа себя возомнила,
мысли придали ей новую силу, –
слабую тенью.

Вырос откуда-то дворник с метлою,
лужу размазал. Бывает такое, –
это обычно.

Так и со счастьем, – появится ветер,
чаще во сне, улетит на рассвете,
искрой от спички.

* * *

День подходил к концу,
морщиясь и темнея
проваливался в ночь,
чтоб в ней найти ночлег,
и только парковая
серая аллея,
желала, чтобы день
ещё продолжил бег.

Светили фонари,
мешали дню угаснуть,
скамьи молили день:
«Ещё хоть час побудь!»

Но день не слышал их.
Призывы их напрасны.
День от себя хотел
немного отдохнуть.

СТЕНОГРАММА

С улыбки на хохот, –
полшага, полвзгляда.
Мгновение вздоха. –
какая досада.

Насмешка – находкой,
лекарством от плача,
Всего на щепотку
подарит удачу.

Желанье антракта,
а может финала.
Ведь тема иссякла,
точнее, сбежала.

Улыбка и хохот,
полшага, но в прошлом.
Хотя и немало,
но несколько тошно.

ДИАЛОГИ С ВЕТРОМ

Наши с ветром диалоги
постоянно интересны.
На скамье и по дороге,
то серьёзны, то бурлескны.

Возмущенье, свист и шёпот
нам понятны с ползвуча.
Текст порой бросает в штопор
и смолкает с перепуга.

Но, дыхание наладив,
продолжаем диалоги.
Все, без сбоя в звукояре,
с выводами в эпилоге.

Насыщаемся друг другом, –
собеседники – что надо.
Воздаём всем по заслугам,
с терпким вкусом аромата.

Не летят слова на ветер –
остаются в подсознание.
В нашем суетном дуэте
композиция в ответе,
скреплена волнений тканью.

[65]

УЖАС (аллитерации)

По квартире кружит ужас,
шарит шумно в голове
замирает в ней, как лужа,
в зной бросает, в дрожь, и в стужу,
в суматошном шутовстве.
Жаждет, чтоб усвоил каждый,
что по жизни все рабы,
жжёт с ехидцей эпатажной,
но становится однажды
он желанен для судьбы.
Как его объятья крепки,
взгляд то жёсток, то колюч,
тело держит, словно в клетке,
вроде хочет сделать слепки,
чтоб к душе сработать ключ.
Для меня ничтожен ужас,
и его я не страшусь.
нет, меня ему не сдюжить,
знаю чувства я потуже, –
жадность, жалость, даже грусть

SPLEEN

Походкою неспешной, утлой,
не сбросив старости вериги,
прогуливаюсь зимним утром,
пейзажем скудным Хиросиге.*

А после, в дымчатой вуали,
угадываю призрак ночи,
глажу в заоблачные дали,
они судьбу мою пророчат

под декабря холодным взглядом,
что навевает сновиденья,
морозную неся прохладу,
и неожиданность решенья.

А завтра снова, зимним утром,
не сбросив старости вериги,
походкою обычной, утлой,
пройду пейзажем Хиросиге.

**Андо Хиросиге (1797 – 1858) – великий
японский художник, мастер строгого
зимнего пейзажа*

* * *

Слог раскован. Спешит сюжет.
Взгляд глотает страниц распятые.
Ничего любопытней нет, –
книгу смог бы всю ночь читать я.

Не споткнуться, не возразить, –
ладно скроена ткань фактуры,
содержанья прямая нить,
чёрно-белая, как гравюра.

Только утром тяжесть в груди,
и зрачки утонули в ресницах.
Я прошу: «Господь, остуди
после чтения небылицы»

* * *

Природа! Может быть, ты потеряла разум,
явления свои ты не берёшь в расчёт.
Ты хочешь, чтобы каждый был всерьёз наказан,
кто напролом идёт стремительно вперёд.

С тобою никому тягаться не под силу, –
ты в дружбе с солнцем, вызовешь жару,
Потом взбредёт тебе послать вдогонку ливень,
и мир вовлечь в свою безумную игру.

И только ветра бег способен взбудоражить
и изменить твоих замашек календарь.
Тебе в партнёрстве он шутя легко откажет, –
предложит свой апрель и упразднит январь.

И робко сникнешь ты, как раб пред властелином,
безгласно удержав свой непокорный нрав.
И это на века, и стало уж инстинктом,
или судьба тебе определила штраф.

[67]

Д и П 19 / 2015

Поэзия и проза

Саади Исаков

ДЕПОРТАЦИЯ

Генрих Блюме, владелец дома №8 на Сонной Алее, не был антисемитом, скорее, он был даже сочувствующим и чуть-чуть не дотягивал до филосемитизма, явления, в последнее время довольно расхожего в Германии. У него были друзья евреи, в том числе торговцы недвижимостью Цехер и Вайнберг, адвокат Алтерштад, а ювелир Псахес вообще снимал квартиру в том самом доме.

Несмотря на это господин Блюме попал в одну некрасивую и многим известную историю, причем в канун 9 ноября, в день, когда в городе одновременно весело празднуют Падение Берлинской стены и грустно вспоминают ужасы Хрустальной ночи.

Собственно, дело обстояло так. Началось всё пять лет назад, когда перед парадным подъездом собственного дома господина Блюме установили на мостовой семь бронзовых табличек, семь камней преткновения, в память о шести евреях, жителях дома, погибших в лагерях Освенцим, Треблинка и Собибор, седьмой же покончил с собой, выбросившись из окна. Установили таблички в один длинный ряд, одну за одной.

Не прошло и месяца, как всенаблюдающий Отдел общественного порядка магистрата в лице чиновника, господина Пепельмана, прислал владельцу дома и земельного участка Генриху Блюме письмо о том, что на его участке, перед его домом, ещё точнее, перед парадным подъездом, находится опасный скользкий объект, который зимой может привести к увечью беспечных прохожих. К письму прикладывалась фотография камней на площадке перед подъездом, помеченная актовым номером. Поскольку объект находится на территории, собственность которой бесспорна, то хозяин несёт полную и безоговорочную ответ-

ственность за печальные последствия. На территории, писал чиновник, должен быть порядок в установленной законом форме. И подписался: Йозеф Пепельман.

Генрих Блюме сперва решил отмахнуться, мол, не я устанавливал таблички, не мне о них заботиться, не мне о них радеть, и хоть земля моя, таблички не мои, и пусть тот, чьи таблички, за них отвечает. Но получил однозначный ответ всё от того же чиновника Пепельмана, что отвечает не тот, кто разместил объект, а тот, на чьей земле объект находится. А в качестве примера было приведено следующее: никто не спорит, что осадки нисходят с неба, однако за гололёд и уборку снега отвечает владелец участка. Чиновник был явно католик, в ответе прослеживались иезуитские нотки.

Генрих Блюме решил посоветоваться со страховкой. Агент Адольф Страчковски дал неутешительный ответ, из которого выходило, что при всём уважении к давнему клиенту, в результате несчастного случая страховка хоть и оплатит ущерб, но сумма ежемесячных взносов будет справедливо повышена. Попытка переложить риск на общество, устанавливающее таблички, не увенчалась успехом, потому что ответственность обычно несет город на своей земле, а в данном случае, совершенно случайно, таблички установлены на частной территории, а потому, «примите наши извинения, и увы».

Генрих Блюме написал в ответ, что если уж так вышло, то не соизволят ли уважаемые члены общества исправить ошибку, установить таблички хотя бы в шахматном порядке, чтобы, согласно законам физики, уменьшить площадь скольжения, или, на худой конец, перенести на тридцать сантиметров от дома на городскую землю.

«Ни в коем случае», – получил он ответ, – «мы не хотим в очередной раз нарушать память и покой усопших».

Адвокат Алтерштад, прочитав ответ, удивился: покой каких-таких усопших, – и по просьбе Блюме подал иск городу. На суде он взволнованно и красноречиво доказывал, что его подопечный стал жертвой оплошности, и что следовало бы войти в его положение, но судья, фрау Ева Доппельвизе, не хотела принимать решения в пользу одной из сторон и призвала к примирению на базе трёх вариантов: или Генрих Блюме добровольно откажется от того самого клочка земли в пользу города, или город выкупит этот квадратный метр по рыночной стоимости, или город переймет страховую ответственность за этот участок земли по своей доброй воле.

Как вы понимаете, никто на уступки не пошёл. Блюме из принципа не захотел дарить свою землю, сколько бы она не была мала, а город от всего отказался, ссылаясь на собственную бедность и перманентное

отсутствие доброй воли в промежутках между выборами. Но, как подчеркнул всё тот же чиновник Пепельман, представлявший в суде город, на территории во что бы то ни стало должен соблюдаться порядок в установленной законом форме.

Слушание было открытым, случай через пять лет после начала сенсацией попал в прессу, как раз накануне 9-го ноября. Вся страна праздновала великое события Падения Стены, и чтобы не портить радость, поминание Хрустальной ночи перенесли на завтра, 10-е ноября, тем более, что участники торжественной церемонии что там, что там – одни и те же. Таким образом, предусмотрительно предотвратили в городе пробки в результате хаотичного движения туда-сюда.

Именно в этот перенесённый день возле подъезда дома Генриха Блюме состоялся митинг протеста в память о Хрустальной ночи под лозунгом «Оставьте камни там, где они есть», в котором кроме соседей по Сонной Алее участвовали политики всех главных городских партий, отдохнувшие к сумеркам от церемонии по случаю Стены.

– Это бездушное и безответственное отношение к истории. Так мы можем сразу и кладбища отменить, не так ли? – выступал депутат от партии СДПГ Клаус Виллибранд.

– Я нахожу это ужасным, особенно для родных и близких, – говорил представитель левых Оскар Саренкнехт.

– Это то же самое, что убить жертву второй раз. Это точка зрения Зеленых и я на этом настаиваю, – говорила следующий оратор Бечкек Ислам-оглу.

– Конечно, мы уважаем частную собственность, но в данном случае уважение к памяти имеет явный приоритет, – говорила член ХДС Габриела Ротколь.

– Прохожие могут поскользнуться. Что за дерьмо! – кричал в микрофон представитель партии Пиратов Кнох Шварцшедель, – ничего глупее я никогда не слышал!

Один из жильцов дома, по понятным соображениям возможных гонений не назвавший себя, сказал газете «Берлинский наблюдатель», что хозяин дома – бывший нацист, член НСДАП и тайный антисемит, долгое время скрывавший своё истинное подлое лицо, и только теперь проявил себя, чтобы отомстить жертвам Холокоста за жидо-большевистский заговор и поражение в войне. Несмотря на то, что господин Блюме родился в 1956 году и его членство в партии весьма сомнительно, в «Наблюдателе» вышла статья, полностью повторившая слова анонима.

Таким образом, утром 11 ноября Генрих Блюме проснулся знаменитым и... антисемитом. Он позвонил главному редактору «Берлин-

ского наблюдателя» и потребовал разъяснений, на что редактор Йозеф Мюльфриде, сославшись на свободу слова, учтиво посоветовал добиваться справедливости в судебном порядке. На просьбу выдать имя анонимного негодяя, главный редактор, ссылаясь на закон о свободе информации и прессы, сказал, что этого не будет никогда, даже через суд.

На следующий день Генрих Блюме собрал всех жильцов дома и разъяснил, что в нынешней сложившейся ситуации он обязан честно всех предупредить о возможных последствиях. Все жильцы дома должны, по его мнению, подписать бумагу, составленную адвокатом Алтерштадом, а кто не подпишет, тому, видимо, будет хуже. Услышав угрозу, жильцы притихли и стали внимательно слушать. Секретарь собрания Магда Шнур пустила по кругу лист, на котором было написано крупно: «Предупреждение» с восклицательным знаком. А далее уже мелко по тексту владелец предостерегал, что, выходя из дома, жильцы обязаны соблюдать меры предосторожности особенно в зимнее время, и, проходя медные таблички, должны их перешагивать, ни в коем случае на них не наступать, или ступать ногой в самый большой, тридцати сантиметровый промежуток между четвертой и пятой табличками. В противном случае, владелец дома и его страховка ответственности не несут.

– А почему только мы? Почему других прохожих это не касается? – несмотря на то, что никто не хотел портить отношения с владельцем, свобода личности временно брала свое.

– Потому, что я не могу всему городу дать на подпись эту бумагу.

– Это форменная дискриминация. Я подписывать не буду, – сказала молодая особа по фамилии Маузелъ.

– Это нарушение конституционного права, – согласился с ней хорошо поживший до войны старичок Рудольф Бенч.

– Я дам в газету объявление, что на этом месте опасная зона и что ступать на неё будут под собственную ответственность, – сказал Блюме, – устраивает?

– Устраивает, – радостно согласились жильцы, сознавая, что права соблюдены, а хозяин дома всё же понесёт убытки, хотя для него и незначительные.

На этом все пришли к выводу, что бумагу подписать можно и нужно, иначе мало ли что. Подписал бумагу и тот анонимный жилец, для кого владелец дома был очевидным нацистом. Видимо, всё из-за того же страха преследования, из-за которого он побоялся назвать себя корреспонденту «Берлинского наблюдателя».

В конце собрания господин Блюме сказал, что, как ему кажется, наступают непростые времена, и если кто из жильцов пожелает досрочно покинуть дом, то он отнесётся к этому с пониманием, не будет настаивать.

вать на трёхмесячном сроке, предусмотренном при расторжении договора, тем более, он никого не в праве обвинить в предательстве и ни на кого не будет держать обиду.

Срочно покинуть дом вызвался только ювелир Псахес. Помогали ему с переездом фрау Бетина Маузел, старичок Рудольф Бенч, сам господин Блюме и тот самый неизвестный аноним.

– Я вас прекрасно понимаю, – сказал Генрих Блюме ювелиру Псахесу, – я бы, на вашем месте поступил так же.

В результате стремительного переезда пропала дорогая брошь покойной жены ювелира. Этого Псахес простить никак не мог, а известный аноним сказал в интервью «Наблюдателю», что окончательное решение еврейского вопроса в доме №8 не обошлось без ограбления и ариизации частной собственности. Искусствоведы признали ценную брошь предметом трофейного искусства и потребовали немедленного возвращения законному владельцу.

Утром следующего дня на тротуаре вокруг камней появились цветы, свечи и детские игрушки, а на стене дома огромная черная свастика, а справа от нее надпись: «Этот дом принадлежит нацисту и антисемиту Генриху Блюме».

Генрих Блюме возмутился и подал заявление в полицию, однако там ему намекнули, что шансов найти виновного маловато, что это может быть любой из 3 400 000 жителей города, включая женщин и детей, совершивших деяние из озорства. Что на это не стоит обращать внимания, а просто взять и закрасить. А если искать, то лучше всего в собственном доме, и пусть Блюме этим займется, а у них есть дела поважнее. Недавно их коллега застрелил пьяного в фонтане, теперь всем приходится отбиваться от нападков политиков и неутомной прессы.

О том, что Блюме был в полиции, газетчики узнали сразу из сводок городских происшествий. Появилась вторая статья, в которой говорилось о том, что Генрих Блюме всю свою жизнь был тайным сторонником праворадикальных взглядов, и только лень и застенчивость не позволили ему раньше вступить в НПД. Теперь, когда благодаря случаю, его взгляды открылись, он стал членом одной из этих партий. Газета не называла, какой именно, ссылаясь на то, что вынуждена скрывать свой достоверный источник. Кроме того, господина Блюме обвинили в том, что он преступно выгуливает перед домом, как раз в том известном месте, собаку и не убирает за ней, а наоборот, бьет её перед этим тростью, вырабатывая рефлекс. Доказательство было оформлено в газете большой фотографией автомата, выдающего пакетики для чистки улицы за собаками.

Любопытен тот факт, что у господина Блюме никогда не было собаки, но это никого из газетчиков не смутило. Впрочем, трости тоже не

было. Не утомленный предыдущей жизнью, Генрих Блюме обходился пока без неё.

Надпись на стене днем закрашили, но к утру она появилась снова, написанная той же размашистой, карающей рукой. Закрашивать её не имело смысла, только тратить время и краску.

Не будет секретом, что многие знакомые Генриха Блюме стали его сторониться, перестали здороваться. Встретив его на улице или завидев издалека, переходили на другую сторону и отворачивались. Однако, появились и сторонники. При встрече они заговорщицки улыбались и приветствовали его обратной зигой, не от сердца к солнцу, потому что так теперь в Германии нельзя, а от сердца к почве. Так пока можно.

Жильцы дома №8 Генриха Блюме никогда особых претензий к нему не имели. Он был аккуратным и нестрогим хозяином, внимательно относился к потребностям квартиросъёмщиков, гонял управдома по делу и по пустякам, честно вёл бухгалтерию и регулярно выплачивал излишки за отопление, если те накапливались, и даже придумал в доме лифт, как главную транспортную артерию, связывающую низ дома с его верхом и обратно, за что его при встрече в подъезде регулярно благодарил старичок Рудольф Бенч.

Ежегодно весной и осенью господин Блюме собирал жителей дома на праздники во дворе, угощал пивом и сосисками, особенно хорошо праздновался день немецких трудящихся Первомай, когда деревья во дворе уже покрыты нежными светло-зелеными листьями, прозрачными на просвет, как детские ушки. Внутренняя политика дома была, лучше не выдумашь, — дом содержался образцово. Внешняя ситуация, однако, начинала ухудшаться и утомлять. Дом неделями мог находиться в осаде пикетов, как со стороны правых, так и левых, зеленых и пиратов, палестинцев, выступавших против политики Израиля в секторе Газа, украинцев, обиженных на Путина за Крым, искусствоведов, борющихся за возвращение трофейного искусства прежним владельцам, сторонников срочной вакцинации Габона против Эболы, — каждый требовал, чтобы жильцы приняли их сторону. В результате действия посторонних сил, стал накапливаться мусор, вывозить который город категорически отказался, ссылаясь на неурочные часы, требовал, чтобы протестующие уносили его с собой. В результате у дома появился пикет брутальных экологов против муниципалитета. И хотя их идеи были особенно близки, жильцы дома их не поддержали, не хотели они конфликта ни с соседями, ярыми противниками и критиками господина Блюме, ни с самим Блюме, ни, тем более, водить дружбу или вражду со всеми посторонними энтузиастами, от которых жильцам не было вообще никакого проку, а только нервный продолжительный стресс.

Когда перед домом вместо отдельных пикетов появились организованные студенты и разбили палатки, стало ясно, что дело испортилось окончательно. Жильцы стали тихонько роптать и высказывать обидные соображения в адрес домовладельца, из-за каких-то сомнительных и неодошевлённых квадратных метров предавшего живых жильцов. Студенты придумали приставлять вертикально два пальца к верхней губе, а потом перемещать их к виску, намекая смотрящим на них в окно, как им следует в ближайшее время поступить.

И уж совсем плохо стало, когда открылся второй фронт – когда левые анархисты прознали, что возле дома порой собираются национал-радикалы в поддержку Генриха Блюме, и тотчас вдоль и поперек Сонной Аллеи полетели камни, петарды и коктейли Молотова, справедливости ради, и Риббентропа.

Полицейские, переодетые в роботов, тяжело подпрыгивали над пламенем, стелившемся под ногами. Пятеро анархистов окружили одного из них, и он почему-то отбивался от студентов в «балаклавах» пистолетом, держа его за дуло. Огромный студент, похожий на орангутанга, с разбегу налетал на полицейских, образовавших каре. Потом к нему присоединились товарищи, и они удачно теснили полицию, отступавшую без приказа наступать, пока последние, стоявшие в геометрической фигуре, не были прижаты к автобусу и не склонили его на бок. Видя это, другие полицейские в таком же каре пошли к ним на помощь, студенты были зажаты с двух сторон и их били дубинками по голове. Под самыми окнами дома прочие студенты дрались с нацистами, футбольными фанатами и примкнувшими к ним чеченцами ножками от стульев и прочими отходами человеческой жизнедеятельности, которые всегда невзначай появляются в общественных драках и многолюдных местах, будто их кто специально привозит и раздаёт, как Сорос гуманитарную помощь. Некоторые нацисты уже лежали на земле и наиболее жестокие студенты и чеченцы, постепенно оказавшиеся на стороне сильного, добивали их лежачими. На стороне студентов было численное преимущество и Холокост.

Когда командир полицейского отряда получил, наконец, ногой в живот, спасти его от неминуемой смерти изо всех близлежащих улиц, постукивая резиновыми дубинками по щитам, вышла сплошная вооруженная сила с пистолетами, газом из перца в баллончиках и наручниками. И через мгновение беспорядки прекратились. На площади остались только самые отчаянные, раненые и не способные к бегству чеченцы, опустившие глаза в корыто с водой – от перца. Раненых срочно развезли по больницам. Отчаянных скрутили и отвезли в участок добывать из них нужные показания.

На следующий день беспорядки повторились. Один из анархистов-радикалов совсем сдулся, с криком «Всех убью» врвался в толпу полицейских, и пропал, его проглоченный. И тут раздался выстрел. Все подумали, что убили спятившего студента за невменяемость, как того, что убили в фонтане, но не тут то было. Ранен был представитель антиконфликтной службы, полицейский посол доброй воли, капитан Леопольд Катц, застреленный за назойливость. Он приставал к каждому и убеждал студентов, что так вести себя нехорошо, будто никто из них об этом не догадывался, и этим всем порядком надоел. Студент Карл Либке, стрелявший из травматического пистолета, предусмотрительно сбежал вместе с подружкой Розой Люкс за пределы боевых действий за границу.

Жильцы дома уже давно не видели дневного света – жалюзи с перепугу всё время были опущены, как защита от бомбометания, а на улицу они выходить опасались. Во многих квартирах были выбиты стёкла, было холодно и сквознячно. Нормальная жизнь замерла. И если бы хозяин дома, преодолевая блокаду, не завозил продукты, питьевую воду и средства ухода за телом, не распределял всё бесплатно среди жильцов, был бы голод, эпидемия и назрело бы революционное восстание в подъезде. Многие уже позавидовали Псахису, пророчески покинувшему дом в самом начале событий. Двусмысленная утрата брошки на фоне их собственных потерь казалась теперь незначительной жертвой на алтаре судьбы. Из заботливого и мудрого управляющего домом, придумавшего для жильцов передвижение снизу вверх и обратно при помощи лифта, хозяин превратился в их глазах в бездарного и циничного разрушителя, втянувшего их в катастрофу из-за ничтожного клочка земли. Редкие фанатичные сторонники господина Блюме, а такие еще оставались, наедине с ним, на лестнице или в коридоре, сердечно приветствовали его втихаря, и не как раньше, от сердца к почве, а прятали зигу в кармане.

Все главные городские политики решили ознакомиться с ситуацией и провести выездное совещание на месте под руководством Клауса Виллибранда и театрально возложить венок. В итоге, после последней, признанной удачной спецоперации, улицу было решено полностью перекрыть для всех, кроме истинных жильцов, и впускать и выпускать за кордон только по предъявлению правильного документа, утвержденного муниципалитетом. Однако, с этого дня стало доставаться жителям соседних улиц и площадей. Студенты, отрезанные полицейскими от эпицентра событий, выражали свою боевую и политическую несознательную ненависть уже по всему кварталу. Постепенно из лютых врагов соседи из ближних и дальних домов превратились в союзников дома №8.

Торговцы недвижимостью, приятели господина Блюме, Цехер и

Вайнберг, не сговариваясь, появились почти одновременно. Они внимательно следили по газетным публикациям за ходом событий. Оба выразили Генриху Блюме своё соболезнование по поводу происходящего, не верили ни одному слову «Берлинского наблюдателя» и предложили по-дружески избавить Блюме от хлопот, а именно, купить у него обременительный дом с тяжелым нацистским прошлым. Цехер напомнил, что некоторые отъявленные нацисты были так добры, что оказывали высокое покровительство отдельным евреям, а один даже вывез любавичского рэбе Иосифа Шнеерсона в США, поэтому на таких никто зла не держит, как и на господина Блюме, позволившего вовремя бежать Моне Псахису из дома №8. Чтобы восстановить историческую справедливость и оказать помощь, оба предлагали такую низкую цену, будто сделка совершалась не в 2014, а в 1945 году.

Генрих Блюме обиделся на сравнение с гламурными нацистами и циничными оппортунистами, но больше всего на предложенную цену, и продавать категорически отказался.

На следующий день на доме появилась еще одна свастика, теперь уже справа от известной надписи. Её тоже никто стирать не стал – было ясно, что она будет появляться на зачищенном месте регулярно.

И тогда было решено пойти на самый крайний шаг, сравнимый с самоубийством. Под покровом ночи Генрих Блюме с помощью четверых нанятых, ничего не подозревавших рабочих, аккуратно выдолбил семь табличек и перенес их на тридцать сантиметров через границу, подальше от дома, на чужую государственную землю, принадлежащую самому городу, продолбил в серых муниципальных плитах квадратные лунки и намертво замуровал латунные квадраты в шахматном порядке, с целью уменьшения риска несанкционированного падения прохожих в гололёд на тротуар.

Шум и грохот от работ, однако, стоял такой, что вряд ли кто мог устоять перед соблазном и не посмотреть с интересом в окно на беспокойную немецкую ночь. Послушные господину Блюме работники, трое немцев, потомки идеально устроенных мужчин и женщин, от которых не то что сифилисом, даже гриппом невозможно было заразиться, и один турок, фанатичный последователь Мухаммеда и страстный поклонник Атаюрка, пребывавший от этого в вечной душевной гармонии, добросовестно выполнили работу, получили наличный расчёт и ушли. Их вряд ли можно было в чём-либо заподозрить и обвинить, разве что в неуплате подоходного налога. Соседи и жильцы дома следили через окна за происходящим самоуправством, но никто полицию не вызывал, хотя бы из-за нарушения ночного покоя трудящихся в перспективе наступающего рассвета и тяжёлого рабочего дня.

Видимо, никому уже не хотелось опять ворошить прошлое, оглядываться обратно, пикетировать, выкрикивать, возмущаться, негодовать, примыкать, воевать, ковырять и снова зализывать раны и повторять случившуюся историю, будучи однажды всесторонне к ней причастным.

НЕВЕДОМЫЙ ИЗБРАННИК

[77]

Яков Небель намеренно поссорился с женой. Поссорился из-за пустяка, прямо возле одного симпатичного берлинского дома начала XX века, как раз против мемориальной таблички о том факте, что здесь когда-то жил Эрих Мария Ремарк. Не успел Яков открыть рот по этому поводу, как получил от жены нагоняй.

– Ты, – сказала она, – весь в своей литературе. С тобой вообще не о чем поговорить.

Яков ошалел. Он-то как раз считал, что поговорить о литературе в кругу семьи – самое что ни есть достойное дело.

Яков – человек пишущий. Каждый божий вторник он ходит, как юный пионер, на заседание литкружка, чтобы читать свои тексты, потому что другой аудитории, кроме жены и французского бульдога женского пола, у него пока нет.

Он занимается писательством без малого сорок лет, однако публикаций у него немного, то есть он относится к тем малоизвестным авторам, о которых не упоминается даже в Википедии или в литературном словаре, однако Яков о себе очень высокого мнения. Особенно после того, как поставит точку в конце очередной лептописи. Правда, перечитав, он впадает в сомнение, а не бросить ли это дело вообще, и не заняться чем-то более дельным и общественно полезным. Но потом Яков вспоминает, сколько лет он занимался более дельным и мечтал как раз о том времени, когда ничто не помешает ему без оглядки стучать по клавишам. Стало быть, он норовит окончательно и решительно начать новую жизнь. Зачем он это делает, он не знает. Скорее всего по наитию. Скорее всего – это блажь.

Стоит ему на несколько дней оторваться от стола, как у него пропадают поток фантазии и тема, точно атрофируется писательская мускулатура, как у спортсмена мышцы, и надо потом долго тренироваться, чтобы наверстать утраченную тонкую и одновременно энергичную форму.

В такие дни Яков Небель начинает панически бояться, что ему не о чем будет писать. Тогда он берет с полки классика, и буквально после прочтения первой страницы, начинает сочинять. У него уже придума-

но название «Лапсердак» и следом появляется первая сточка: *«В одной отдельно взятой европейской стране..., хотя, какая разница в какой именно европейской стране, жил один еврей ...»* И пошло-поехало.

Якова жена – не жена писателя. Хотя в остальном она, как тень, то есть полное его отражение, будто он сам на себе женат. И хотя она никогда не бубнит, что ему следовало бы заняться чем-нибудь полезным, а не унылым сидением за столом, например, вынести мусор, выгулять собаку, сходить на базар за голландской селедкой или к пекарю за свежими булочками, и делает это сама, по собственному желанию, Яков догадывается, что он не её кумир. Стал бы он сам себя читать? – тоже вопрос, на который он честно не находит ответа. Между прочим, он многих бы не стал читать, что не мешает им быть классиками или знаменитыми.

Жена слушает его чтение с застывшим лицом, как послушные дети проживают воскресную мессу, едят манную кашу, делают уроки или играют из-под палки гаммы на скрипке, и едва дождавшись последней точки, аккорда, вскакивает, точно по звонку на перемену, чтобы приготовить чай или подбросить поленце в камин. Она много моложе Якова, но она не ждёт от него успеха, денег и славы, чтобы гламурно загорать в их тени. Кажется, она его просто любит. И это его больше всего бесит, потому что он, как правильный и практичный еврей, взвесив все за и против, не может понять, за что.

Он слышит, как собака грызет в туалете карандаш, оставленный специально на случай шальной, гениальной мысли, и понимает, что все против него.

Обсуждать с женой рассказ, удачную метафору или отрывок из повести бесполезно, потому что у неё заготовлена одна дневальная фраза: «Очень замечательно написано».

Якова эта оценка раздражает – про другие произведения прочих писателей она может говорить часами. В это время он её ревнует, и тем сильнее, что произведения других писателей он не считает лучше своих. В результате этих разночтений, он мучается оттого, что в уме жены он не избранник, и памятника, на худой конец, мемориальной доски по месту жительства на Бисмаркштрассе ему не видать, как собственного затылка.

После щемящего общения с женой на сочинительскую тему Яков на некоторое время прекращает писательство, и может неделями или месяцами не творить, при этом испытывать томление души и нервозность по тому поводу, что бесцельно проживает оставшуюся жизнь, когда уже две её трети пройдено и не так далёк невесёлый конец. Он становится суетливым до невыносимости, не может ни на чём сосредоточиться, с

ужасом подозревает возрастную потерю концентрации ума. Такие дни он проводит пуще заведенного, заменяя творчество активной жизнедеятельностью: спорт, гуляние по парку внешними, дальними кругами, может сделать бессмысленные покупки, например, лазерный прибор для точного измерения длины стены, а в итоге употребить стакан водки перед сном и завершить день полушоковым обогревом бунтующей души. Заметим, что когда он пишет, он никогда не пьёт.

Дав себе крепкий зарок больше никогда не читать своей жене, Яков, естественно, берёт с полки для разминки томик классика, и после прочтения, как подобает, одной страницы, постепенно входит в свой традиционный авторский раж, пишет два-три рассказа подряд, и его снова подмывает прочитать лучший из них жене, хотя он знает, что этого делать нельзя.

Яков читает рассказ с особым выражением чтеца, чтобы были понятны тонкости и перипетии, но эффект остаётся всё тот же. Однажды жена дала ему почитать модный бестселлер про секс с эротическими сценами.

– Вот, – сказала она, – это сейчас людям нужно. А ты пишешь очень умно и старомодно. А твою фразу невозможно дочитать до конца, чтобы ухватить смысл.

Напомним, её не интересуется громкий успех Якова как таковой. Она понимает, что у него тогда появятся поклонницы, а это противоречит её представлению о семейной жизни, целомудренной, без лишних страстей и глупого ажиотажа. Яков возражал, что, во-первых, писать о сексе и влажных местечках он не будет, потому что это пошло, хотя и может, а во-вторых, сокращать фразу до телеграфного стиля Фейсбука или Твиттера, это все равно, что писать языком надписей на заборе. Ему в это время приходит на ум мысль, что Достоевскому, конечно, повезло больше, что у того была настоящая жена писателя, и во многом благодаря ей он смог стать мировым олимпийцем, а не застрял в юношеском олимпийском резерве. И ему становится жаль своей писательской карьеры, находящейся в конфликте с семейным счастьем.

Яков очень не любит, когда во время работы над рукописью любимая собака исподтишка требует к себе внимания, и кошкой трётся у ноги и мурлычет.

– Кыш, – прогоняет он собаку, и понимает, что именно сейчас утратил строчку, а в ней как раз всё дело. Он пишет дальше, но это уже не то.

«Совершенно неважно, в какой это было стране. Можно сказать и так: в любой европейской стране жил один еврей...» – действительно не то.

Когда Яков написал эти строки, раздался звонок в дверь. Пришла со-

седка из дома напротив, увидев свет лампы в окне кабинета – следствие ранних зимних сумерек. Он подумал, что могла бы подождать до вечера или не приходиться вовсе. Он терпеть не может таких гостей, особенно когда сидит за письменным столом. А она всегда приходит именно в тот момент, когда он лептопит текст. Пожилая тетушка всегда ведёт с ним разговоры о литературе и писателях. Она почему-то считает, что это должно быть ему интересно и особенно приятно. Хотя говорить с писателем о писателях, особенно с непризнанным о признанных, всё равно, что с тяжело больным о недавно преставившихся покойниках с тем же диагнозом.

– Когда читаешь на идиш Шолом-Алейхема, это совсем другое дело, – говорит она.

– Читать в оригинале это всегда совсем другое дело, – через тоску отвечает Яков.

– Но на идише особенно.

– А вы читаете на идиш? – спрашивает он.

– При чём тут это? – обижается она.

Чем идиш лучше других языков, Яков Небель никак не поймёт. Соседка мучает Якова бессмысленными разговорами, а у него голова набивается ватой, он теряет нить своего рассказа, ничего не понимает из того, что она говорит, пытается вернуться к утраченной мысли, но думает только одно: скорее бы она замолчала или ушла. Но он знает, что пока она не выскажет ему «очевидные вещи», не перескажет чьё-нибудь интервью, не называя имён, потому что имена она опять не запомнила, из которого она почерпнула, например, что евреям в возрасте трудно начинать новую жизнь, она не уйдёт: «А он сказал: пока в мире всё хорошо евреев еще терпят. А он сказал: но когда что-нибудь происходит и становится плохо. А он ему сказал: Евреи снова становятся виноваты во всём. А он ему сказал...»

Яков думает, когда это кончится, и он сможет продолжить. Интересно, что она скажет, когда узнает, что он собирается эмигрировать в Израиль. Ведь он как раз в том самом возрасте, когда трудно начинать новую жизнь, а продолжать старую надоело.

Но ему уже пора собираться на литературный кружок и нести туда новую рукопись. Яков распечатывает свой последний текст, с любовью кладет его в портфель, говорит тётушке «адьё», провожает её через двор и идёт к подземке. Он проходит мимо дома, где жил Ремарк, с завистью смотрит на мемориальную табличку, и думает о том, что хорошо бы переехать сюда, где он жил, и вторая табличка по соседству смотрелась бы совсем неплохо.

В подземке он достает из портфеля свой рассказ и еще раз пробегает

глазами: *«Сруль Срулевич Сапожников решил пошить себе новый лапсердак. Не то, что старый у него вытерся или, что ещё хуже, протёрся до дыр, но как-то выцвел и вместо чёрного в некоторых местах, если смотреть под определенным углом, отливал коричневым цветом».*

Перед чтением Яков всегда волнуется. Он боится читать текст первым, опасаясь, что кто-то случайно принесёт настоящий шедевр, и он опять перестанет чувствовать себя избранныком. Если шедевр прочтут после него, то Яков огребёт нежелательное фиаско, если же до, то он сможет от собственного чтения улизнуть. Он ходит сюда как раз не для того, чтобы класть голову на плаху, чтобы его разругали в пух и прах за то, что «нехорошо переписывать классику». Однако, на его взгляд, ничего плохого в этом нет, потому что новое произведение приобретает интригующий контекст. После такой критики Яков на неделю-две непременно бросит писать, полагая, что Пегас не тот конь, на которого ему следует ставить на коротком ипподроме жизни.

И хотя некоторые из коллег опубликовали не более него, причем давно, однако, считают себя отпетыми профессионалами. Например, Марфа Свиридонова, похожая на небольшой антикварный комодик на тонких, гнутых ножках. Наверху у этого чиппендейла вместо причёски взъерошенная солома. Она, если читает своё, то в качестве обложки всегда использует актуальный номер журнала «Новый мир», и получается так, будто она читает, напечатанное вот-вот. Ей ничего не нравится из того, что она слышит, её эталон литературы – поэзия Вагантов и сосед Якова по улице – Ремарк:

«Мальши, ты хочешь меня покинуть? – Это уже произошло. – Мальши, ты не сделаешь этого! – Эрнст сбросил с плеча руку. – Что мне делать? Вновь обрести себя у гроба того, кого я предал? – Ах, Мальши, выбрось всё это из головы – иди ко мне! – Нет! – Когда же ты вернешься? – Никогда! – Она метнула на него горящий взгляд и выхватила револьвер из ящика письменного стола».

В юности Яков, как и все начитанные подростки, старался говорить также многозначительно и пафосно, как герои Ремарка. Сейчас, когда он вспоминает эти разговоры, он стыдится собственной пошлости, но понимает, что без этого бреда никогда бы не настроился на лирико-романтическую волну.

Когда Марфа присутствует, Яков не читает. Она опять спросит, зачем автор написал рассказ? А он и сам не знает. И сама же ответит, что неясно. Рассказ не удался в целом, а автор беспомощен – это её обыкновенный приговор всему.

К сожалению, в одном она будет права. Яков стартует от первой фразы, а потом у него всё бежит, как хочет, то есть без цели. Например:

«Каждый божий вторник...» и т.д. Вернее, цель есть – наполнить страницы кое-какой новой жизнью, не существующей в природе. И тогда он думает, что если он создаёт новые миры, то никогда не умрёт.

Напротив него сегодня сидит Аглая Мохнаткина. Лицо её могло бы быть прекрасным, если бы не брезгливое выражение и капризные уголки рта. Она гордо считает себя безразмерным талантом, сравнимым с Мариной и Донцовой, но её рукоделие без их милицейского задора. Когда она читает, Яков всегда думает о бесцельно прожитых годах героинь в её, в чем она убеждена, безупречных романах. Её, обыкновенно две, пожилые русские героини, обязательно блондинки, как она сама, осваивают гламурный образ жизни в дальнем зарубежье. Ходят после парикмахерской, маникюра и педикюра неразлучной парочкой по вернисажам, театрам, приемам, в туалет освежиться, пьют шампанское, разгоняя пузыри зубочистками и ведут бесконечные пудовые разговоры, преимущественно ни о чём, в любом из перечисленных мест, где их застаёт вдохновение Аглаи Мохнаткиной, и так при этом набухают от важности, как при неприличной болезни желудка, что вот-вот пукнут.

– Вам нравится эта бесформенная скульптура? – с негодованием спрашивает у одной из них случайный кавалер, собственно, настоящая цель их поисков, поскольку собственный муж всего лишь первичное средство передвижения от репы к пармезану и устрицам.

– Увы, – отвечает одна, – я ожидала большего.

– Согласна. Не понимаю, что хотел сказать этим автор? – вторит ей другая.

– Я вижу, вы понимаете в искусстве, – говорит источник запаха больших денег.

– О да, я училась три года в ЗНУИ, заочно.

В это время к скульптуре подходит мамаша одной из двух, приехавшая к дочери и зятю на три месяца зимы из неуютной от серости Костромы, и фыркает на скульптуру, крестясь: «Свят, свят».

У Якова болят скулы – он борется попеременно с зевотой и смехом. Сказать правду Аглае он не решается, потому что у неё начнется истерика признанного гения, а это опасно. Она, как уже было неоднократно, сразу перейдет на его бездарную личность, севшую, как и все прочие Сальери, не в свои сани.

После Аглаи он тоже не читает. Для неё его рассказы слишком провокационные с самой неестественной стороны. Например, её может покоробить слово «блядь» в тексте, в то время как при обсуждении сама станет с негодованием его употреблять, через слово, прикрывая рот ладошкой. Она искренне считает, что матерщина принадлежит исключительно прозе жизни.

Потом обычно читает поэт Китайцев, написавший в жизни два-три, как он говорит, стиха. Стихи безумные. Поскольку никто не понимает, о чем они, каждый раз стихи проходят как новые.

Есть и другие поэты, наоборот, очень плодovitые, например, Курлянд. Из него тексты несутся, как из козы горох. Между прочим, руководитель кружка Моисей Бермудский, вовремя просёк, что сам он никакой не избранник, собрал все свои стихи и повторил подвиг Гоголя, спалившего избранное, оказавшееся при втором прочтении не избранным. Моня Бермудский с терпением своего великого тезки ведет литераторов к Земле обетованной – к очередному литературному альманаху. Он с серым, гранитным лицом слушает поэта-производителя Курлянда. Яков видит, как настойчиво проступают трещинки сейсмических морщин. Он негодует, однако пребывает в надежде, что когда-нибудь количество написанного Курляндом перейдёт в иную субстанцию. При этом он понимает, что рассуждает, как средневековый алхимик и одновременно как объективный материалист.

Больше всего Яков не любит, когда поэты приводят с собой молодых, некошерных девиц. Почему-то это делают исключительно поэты, за прозаиками такое не наблюдается: они не таскают за собой своих дразнящих Муз. Поэт Китайцев невнятно умничает, девицы слушают с открытым ртом, краснеют от мозговых усилий, путают клирос с клитором в поэзии Рембо и преют феромоном любви и счастья, возбуждая поэта Курлянда на новый спешный стих.

Девицы наивно думают, что они сидят среди знаменитостей, весьма заблуждаясь на этот счёт. Но никто не пытается их вразумить, наоборот, поэты в их присутствии особенно разговорчивы, налегают на чай с печеньем, громко отхлёбывая из стакана, как Гумилёв. Китайцев фамильярно до скабрёзности говорит о классиках, перечисляет неразборчивые связи Пушкина, ругает поэзию Бродского, возносит себя и соседа Курлянда, критикует Нобелевский комитет за ангажированность и дилетантство. Тем самым набивает себе и Курлянду цену до небесного алтаря.

Яков в присутствии девиц молчит. У него нет потребности им понравиться. У него у самого забот хватает: дома сидит своя длинноногая, и хорошо бы справиться с ней одной. Она сама и несуетливая Муза, она и дополнительные приключения, и неверующий Фома. Яков наблюдает за происходящим, слушает до тех пор, пока у него не рассеивается внимание, и ему уже хочется поскорее домой.

Свой рассказ он сегодня снова не прочтёт, но в этот раз вовсе не по вышеописанным причинам, вовсе не потому, что опять струсил, а потому, что подумал, что вот все пишут, пишут и пишут. И он в том числе. И

что пишущего брата могло бы быть поменьше. И если бы он был Пушкин, то обязательно вызвал бы поэта Китайцева на дуэль с десяти шагов, и убил бы его из Лепаж в дальнем углу городского парка на лужайке из Лепаж, на фоне прелестного трехэтажного Бельведера, и на неделю по такому случаю ушел в запой.

Хотя тоже неизвестно, кто кого, если вспомнить, что бездарям, как правило, везёт.

[84]

Вера Фёдорова

МУЗЫКА СМЕРТИ

Нестройный оркестр еврейский –
Прощальный надрывный мотив.
Страданье на лицах библейских...
Играют, кошмар заглушив.

А рядом, заранее вырыт, –
Зловещий могильный овраг.
Наметили цель конвоиры
Под хрипы свирепых собак.

Ни слёзы, ни стоны, ни крики,
Ни детский отчаянный плач
Не сдержат агрессии дикой.
Пощады не знает палач.

Последним поставят к оврагу
Того, кто других провожал,
Глотая солёную влагу,
Им музыку смерти играл.

ЭПИЗОД

Проговорили мы всю ночь
Под стук колёс, столбов мельканье.
Деревья, сёла мчались прочь,
А мы, как в первое свиданье.

И позабыв про свой маршрут,
Кому, куда, зачем? – неважно,
Нырнули от рутинных пут
В пространство времени однажды.

И звёзды сыпались из глаз,
И тело ныло в ожиданье,
Хотелось много и сейчас,
И невозможно расставанье.

Но мчал за поездом рассвет,
Прилип он к окнам незаметно.
Не спав, проснулись... В толще лет
Тот эпизод не канул в Лету.

ПРОЩАНЬЕ

Они стояли на мосту,
Курили молча.
Глаза смотрели в пустоту,
В затылок ночи.

Плескалась тёмная река,
А влажный ветер
Дождинки нёс издалека
При тусклом свете.

Кружа, подхватывал слова,
Швырял в пучину.
Он знал – последняя глава,
Не знал причину.

Несла угрюмая вода
Плохие вести.
Ночь уходила навсегда
С любовью вместе.

ГИТАРА

Лежит в углу гитара,
В немой печали струны.
Умолкла от удара
И ждёт своей фортуны.

Седой покрылась пылью
Разрушенного дома,
Мечту мешает с былью
Тяжёлой, незнакомой.

И ждёт она в надежде
Руки прикосновенья,
Что потекут, как прежде,
Счастливые мгновенья.

Услышит чутким ухом
Напевы Украины...
Но воют зло и глухо
Безжалостные мины.

Хрипят в дыму руины,
Кипят и кровоточат,
И слились воедино
В кошмаре дни и ночи.

Надрывный стон несётся...
Не знает Украина,
Когда же захлебнётся
Жестокости лавина?!

СКРИПИЧНЫЙ КОНЦЕРТ

Прикосновеньем бережным и нежным
Касался скрипки трепетный смычок.
Дышал над ней весенним ветром свежим
И обтекал, как чистый родничок.

А скрипка от волнения вздыхала,
Томила, пела, не скрывая слёз.

И в каждый уголок большого зала
Её души рыдание несло.

В руках у музыканта билась скрипка,
Дрожали тело хрупкое и гриф.
И стан её, красивый, тонкий, гибкий,
Усиливал мистический мотив.

Мажором счастья и тоской минора
Переливались звуки, как хрусталь.
И был для скрипки другом и опорой
Солидный и торжественный рояль.

ФЕВРАЛЬСКАЯ ВЕСНА

Февральская пришла весна,
Стремительная, молодая.
И хоть совсем не в срок она,
Её восторженно встречаем.

Деревья нежатся в лучах,
Румяное ликует солнце, –
Теплом-накидкой на плечах,
И в стёклах весело смеётся.

Под ясным куполом небес
Не по-февральски пахнет летом.
И щурится безмолвный лес,
Ошеломлённый ярким светом.

Стихи для детей

БУКВЫ

Пишет буквы ученик,
Очень он старается,
Даже высунул язык,
Но не получается.

Стала Н, как буква И
Из-за средней чёрточки,
Б и В совсем легли,
Села Д на корточки.

Скачут буквы вкривь и вкось,
Ёжатся, сутулятся,
Словно вышли на мороз
Поскакать по улице.

Карандаш сточился весь,
Ластик тоже крохотный,
Всё до дыр истёрто здесь
И тетрадь заохала:

– Что мне делать? Я больна,
Грязная и рваная.
И кому теперь нужна
Я с такими ранами?

Пожалел малыш тетрадь:
– Напишу всё снова я.
А в машине постирать,
Станешь ты, как новая!

СМЕШИНКА

Не снежинка, не пушинка,
У меня во рту – смешинка.
Я зевнула, ну и вот –
Залетела прямо в рот.

Засмеялась я в ладошку,
Тихо прыснула, как кошка,
И по парте мой сосед
Тоже прыснул мне в ответ.

А затем в другой колонке
Засмеялись две девчонки.
И пошёл по классу смех,
Получился смех и грех.

Заразились все мгновенно,
Эпидемия, наверно.
А учительница – нет,
У неё иммунитет.

Остановит кто лавину?
Знаю только я причину.
Всем хочу теперь сказать:
«На уроках не зевать!»

ЛЕСОВИЧОК

Мы приходим за грибами.
Чьи глаза следят за нами?
А следит Лесовичок –
Ни дитя, ни старичок.

За деревьями мелькает,
Нас куда-то зазывает.
Ростом мал, но с бородой.
Как мальчишка озорной,

Он играет с нами в прятки
И не любит беспорядки:
Чтобы в сказочном лесу
Не обидели б лису,

Не спугнули бы зайчонка,
Не схватили бы совёнка.
И за это он готов
Всем помочь набрать грибов!

КОЛГОТКИ

Не могу надеть колготки,
Где тут зад, а где перёд?
Перевились, точно плётки,
Их никто не разберёт!

Мама мне помочь не хочет.
Говорит: «Должна сама,
Ты большая» – и хохочет.
Я сейчас сойду с ума!

С правой ножки или с левой?
Без колготок убегу!
Эх, была б я королевой,
Позвала бы я слугу!

[91]

ПИНГВИН

Шёл по улице Пингвин
Маленький, блестящий.
Почему-то шёл один
И такой несчастный.

Я отвёз его туда,
Где синееет иней,
Там, где снег и лёд всегда, –
В детский сад пингвиний.

ЁЖ И УЖ

У реки уселся Ёж.
Подползает Уж к Ежу:
– Здравствуй, Ёж. Кого ты ждёшь?
– Я не жду, а я ужу.

– Что Ужу? Я здесь уже.
– Отойди, ну видишь же!
Ничего не понял Уж
И уполз обратно в глушь.

ЗУБКИ

Жили в дёснах, как в скорлупке
Замечательные зубки, –

Не скрипели, не болели,
Ничего пока не ели.

Пил мальчонка молочко,
Жил беззубым старичком.
Лезут зубки! Ох, как больно!
Дёсны очень недовольны.

РАЗНЫЕ

Мы такие разные:
Чёрные и красные,
А бываем белые,
Но при этом – спелые.

Наши гроздья длинные
Очень витаминные.
Куст на грядке – Родина,
Нас зовут – Смородина.

* * *

Ворчала Нитка на Иголку:
– Ушко мало, в нём мало толку.
Я не могу в него пролезть. –
Поменьше надо было есть!

* * *

Мост перекинулся яркой дугой
С этого берега да на другой.
Но по мосту не пройдемся мы с вами, –
Радугу жалко топтать сапогами.

Константин Кербель

ТРЕВОЖНАЯ СИРЕНА

– Может, свою фирменную жарёжку изладишь? После последнего калыма ещё полмешка картофана осталось. Бас, да отчаль ты свои конспекты! Тут кишка-кишке бьёт по башке. Какое ученье после тренировки.

Золотов умоляюще-вопросительно склонился над столом. Заваленный атласами и картосхемами он выглядел неоднородным поднятием горного рельефа.

– Ты сумку сбрось. Форму на просушку не забудь. Ваш спортфак легче прибить, чем прокормить. Мы с тобой четыре года вместе, а прогресса в режиме – нуль. Не суетись, я и сам думал. Поздно. Магазины закрыты. На воде не пожаришь.

- Сходи к землячкам, тебе отказать невозможно.
- Опять я! У тебя, кстати, Танечка тоже из городка.
- Басов, ты же сам говоришь, что я прямолинейный.

Володя улыбнулся своей хитро-грустной улыбкой, чуть прищунив глаза. Это хорошо, что он их прикрыл. Монголовидный разрез скрывал удивительную голубизну, мягкую влажность и бездонную пропасть. На этой высокой баскетбольной фигуре, мужественных плечах, голова несла ласку и детскую нежность. Он знал свою неотразимость и топил в этих озёрах неопытных пловчих.

Семён поднялся на цыпочки. Потянул суставы, сцепив руки над чёрно-курчавой шевелюрой в плотный замок. Почти стовосемьдесят сантиметров смуглого торса с жилистыми, кручёными мышцами, послушно прозвенели спелой молодостью. Сняв напряжение с угольных, чуть навькате глаз движением ладони, запружинил к соседкам.

Тридцать девятая комната была почти напротив сорок второй аспирантской одиночки. Физматовки жили впятером в стандартной общаге. Как всегда, у девчонок был чисто и отчего-то уютно. Танечка Денисенко

сидела за столом, запрокинув голову. Короткая стрижка русых волос в отблеске света настольной лампы поблёскивала мелкими искорками. Перед ней лежала непонятная книга, которую она не успела закрыть. Пальчики ещё продолжали поглаживать какие-то неровности. Маленькая, крутленькая, совсем игрушечная, она протянула просителю полпачки «Кулинарного жира». Это же целый Клондайк!

– Танечка, приглашаю на поздний ужин. А где мои землячки?
Не дожидаясь ответа, рванул дверь.

Клубни картофеля были средней величины, ровные, красно-фиолетового цвета. Желтоватые пупыришки-глазки напоминали ёлочные украшения. Основной красный и составной фиолетовый цвет не являются дополнительными, поэтому и не усиливают друг друга, а только ослабляют, гасят тональность. Жаль срезать такую красоту. Вспомнилась художественная школа и возгласие Делакруа: «Дайте мне уличную грязь, и я сделаю из неё плоть женщины самого восхитительного оттенка».

Когда нашинкованные полоски покрылись румяной корочкой, поварник уменьшил газ, добавил мелко рубленый лук и плотно закрыл крышкой. Запах пошёл невероятный.

Почему Денисенко все называют Танечкой? Да просто иначе называть её было невозможно. Глазищи заливали поллица. Необыкновенную красоту дополнял взгляд Он всегда был вопрошающим. Любознательность и постоянное удивление подсвечивалось какой-то грустной лучинкой, маленьким огоньком, там где-то далеко-далеко. Басов часто ловил в себе желание взять эту кроху на руки. Лучше, если она будет туго перетянута детской пелёнкой. Тогда от неё будет исходить чистый, детский запах парного молока и ещё чего-то необыкновенного.

– Золот, Танечка читала какую-то книгу без букв.

– Это учебник для слепых. У неё практика в областной школе инвалидов.

– Слушай, у неё такие «окуляры».

– Читала много в детстве. Возможно лёжа.

– Ты хочешь сказать, что я мало читал?

– Меньше тебя, «академик» вряд ли кто.

Басов накалывал картофель вилкой и запивал крепким чаем. Разумеется без сахара. Володя в своём ампула. Работал ложкой. Жевал то-ропливо, быстро.

Сын, (его так называли в команде. Когда просишь пас от партнёра, обращение должно быть очень коротким. Судья может дать предупреждение за разговоры) не гони «тюльку». Все прекрасно знают ваш го-

родок. Я тоже. И давал подписку в «Гавани» на двадцать пять лет. Только «сарафанное» радио работает без перебоев. Все давно уже знают, что наши первые атомные бомбы были похожи на американские. Плутониевая основа. Точнее, двести тридцать девятый изотоп. С сорок девятого года по шестьдесят шестой радиоактивные отходы, получаемые при работе реакторов, сливали в реку Теча. Высокоактивный шлак шёл напрямую в озеро Карачай. Сегодня его уже нет, бетонка! Это потом стали какие-то могильники варганить.

– Варганить, – съёрничал собеседник. – Ты представь, умник, это целый подземный город. На глубине десяти метров в специальном каньоне с ячейками помещаются двадцать банок. Каждая из нержавеющей стали, ёмкостью в пять железнодорожных цистерн. Со своей автономной системой охлаждения. Заполненную банку закрывают плитой в сто шестьдесят тонн весом.

Золотов перестал жевать. Голова чуть опустилась на подставленную руку. Воспоминания отражались на лице то поднятием бровей, то мелкими перекатами желваков на скулах. Не поднимая глаз, продолжил с грустной тоской:

– День был солнечный и очень тёплый. Двадцать девятое сентября – это разгар «бабьего лета» на Урале. Люди отдыхали. На участках, огородах, пикниках. Урожайная страда. Весь лес – золотое море. Мы на тренировке в спорткомплексе были. Танечка с подружками, они из теннисной секции, уже закончили.

В шестнадцать тридцать масса «сыграла». Тепловое излучение может продолжаться до десяти лет. Видно, сбой в системе охлаждения был. Не знаю.

– Володя, хватит, не вспоминай. Давай я тебе чайку свежего подсыплю.

– Ярко стало и ослепительно светло, будто много-много солнечных дисков. Почти сразу грохот взрыва. Стёкла полетели. Мы гурьбой из зала. Над промплощадкой огромный столб из пыли и дыма. Всё мерцает каким-то оранжево-красным цветом. Очень быстро откуда-то появилось густое чёрно-серо-бурое облако и нависло над городом. Представь, Бас, во время яркого, солнечного дня, вязкая темнота. Ни говорить, ни спрашивать друг друга мы не могли. Стояли оглушённые, подавленные. Собаки сильно выли, не умолкая ни на минуту. Потом они пропали куда-то. Да и птиц, помню хорошо, тоже не было. Борис Сергеевич, тренер, загнал нас в раздевалку. Вокруг стали падать крупные хлопья сажи. Нас без родителей никуда не отпускали. По радио объявили, чтоб все сидели дома. Потом сирену врубили. Представь, резкий, воющий звук над чёрным, тёмным городом. Долгий и протяжный рёв. Она тогда и поделила всех жителей на живых и мёртвых.

– А Танечка как?

– Шли домой. Хохотали, болтушки. От взрыва спортивные сумки, ракетки, теннисные мешочки со «второй» обувью – всё сорвало, разбросало. Световая волна, видно, ударила по глазам. У неё папа майор КГБ, это же генеральская должность. Он её в Москву возил, даже в Чехословакии врачам показали.

– И что?

– Вот пристал, «что да как»! Глаза есть, но видеть не будут. Сетчатка разрушена. *Слетнет она!*

ЛАДАНКА

Тепло было каким-то необыкновенным. От грудины оно разливалось по лёгочным полям. Где-то в районе сердца, подчиняясь его ритму, успевало чуть покалывать. Точнее постукивать, как в плотно закрытую дверь. Сквозь вязкий, тягучий полусон хозяин провёл рукой успокаивая непрошенного гостя. Почувствовав отклик, что-то забилося в своём бессилии. Натужно-тяжело опухшие веки поднимались медленно и одновременно.

Пластмассовая клетка. Органическое стекло, толстое, но прозрачное. Георгий сидел на полу, не вписываясь в угол, широко разбросав ноги. Инопланетяне? Похищение? Плен? Ах да, суббота. Яркий, солнечный, майский день. Выборы в Верховный Совет. Голосование. Гуляние. Провал...! Мысли тормозили по ухабистой, размытой, похмельной дороге памяти.

В грудь опять настойчиво застучало, покалывая лёгкими щелчками будто гитарной струной при нанесении татуировки. Егеря покатали в город. Ресторан. Компания. Потом ещё и ещё кто-то. Дальше... – обрыв!

Не поворачивая головы, через боковую стенку прочитал: «Дежурный по милиции». Вот тебе и инопланетяне. Менты! Всё прорезалось до реальности. Волокли по ступеням. Бросили в коляску. Запихнули в «аквариум» где уже «плавали» человек пять-шесть. Буйный был только он один. Орал, грозил, матерился. Особенно на этого, маленького, кругленько-пузатенького с двумя большими звёздами. Подполковник! Его фраза: «Всех отпустишь, а этот будет у меня долго-долго сидеть!» Значит всё-таки плен?!

Тёплая волна ударила в голову вытеснив остатки похмелья. Каяться и вспоминать мамочкины слова: «сынок, всю её не выпьешь», «помни последнюю» – было бесполезно. Требовалось действовать. Рассвет приближался. Ночная прохлада отодвигалась лёгким ветерком, который

пробивался через открытые двери Райотдела. Рукоятка находилась с внешней стороны. Задержанные могли довольствоваться только стальным, четырёхугольным сердечником. Сантиметра маловато. Жиликов подполз к замку, приподнялся на колени, не упуская из виду дежурного. Его фуражка лежала рядом с пачкай «Беломора». Сороковаттка, прикрытая массивным зелёным колпаком, освещала неяркое, круглое пятно. По сержантским погонам, лёгкому храпу с пузырьками было понятно, что юнцу тоже досталось от праздника.

Захватив зубами сердечник и поворачивая голову налево, он одновременно нажал своим плечищем на дверной косяк. Язычок легко соскочил с обналочки. Сняв обувь и пригибаясь, Георгий прошёл под стойкой. Коридор пуст. Входная дверь открыта. Да, советский праздник – для всех праздник! Он обулся, пошарил по карманам. Пусто. Премия и получка – улетучились. Это, конечно, «постовые». Законный калым под названием «обыск».

Ленивой, беспечной походкой он продефелировал с десяток метров. За углом дома стартанул по-спринтерски, резко бросив своё полусогнутое тело, поднимал колени почти до прямого угла и выбрасывая ступни ног, чуть прикасаясь пятками к земле. Перемахнув через цепь-слагбаум, на минутку задержался возле домика-дачки. Бочка-полуцистерна садового, заполненная дождевой водой освежила лицо. Несколько глотков восстановили дыхание. Перейдя на лёгкий бег, оставил позади себя коллективные сады и захолустные затолочья¹.

К хребту выходил по касательной, огибая крутые склоны. Урманная тайга от приречных участков постепенно менялась. Кедрово-сосновое редколесье заполнялось рябино-малиновым частоколом. Отдельно, как бы являясь мостиком от карликов к великанам, дежурила черёмуха. Часа два беглец шёл изволоком² и на самом венце раздола вышел на матёрый кряж. Лес, низкорослый и не совсем затенчивый, расфундаделся цветочным разнотравьем. Набросив капюшон штормовки, он опустил на это пёстрое, пахучее ложе и погрузился в спокойный сон.

– Георгий, подойди ко мне.

Мальш отложил карандаш и подошёл к кровати.

– Вот надень эту ладанку и никогда не снимай. Мне её наш дедушка передал.

– Это который попом был? Его ещё в японскую ранило.

– Не поп, а священнослужитель. Ещё отец Радонежский говорил, что православный монах всегда должен быть готов выступить на защиту своего отечества.

Перекрестив, бабушка Нино погладила вихрастую голову внука.

Жиликов открыл глаза. Прохладный ветерок играл выплеснувши-

мися из под капюшона смоляными кудрями. Солнце прошло зенит. Сориентировавшись по сторонам горизонта, уверенно зашагал параллельно хребту, подпиравшийся закатом.

В грудь опять настойчиво застучало. «Что же ты неугомонная такая!». Георгий через ворот кухлянки³ поправил шнурок и погладил ладанку. «Успокойся уже, видишь, я и так поспешаю!»

Далеко за изворотом река прорывалась сквозь каменные «щёки». Захмылистые⁴ скалы нависали шатром, выдаваясь вперёд и вверх. Там бурлило и рокотало. А здесь – «Васильковский затон»⁵.

С высоты он открылся своим зеркальным блюдцем с длинными заливами-затягами. Какая нереальная сила и мощный покой природы! Его нарушали молчаливые всплески двух купающихся. Рановато открывали энтузиасты летний сезон. Приглядевшись к беспорядочным хлопаньям по воде, егерь сорвался по склону. На бегу сбросил штормовку. У самой воды стащил кухлянку. Два десятка метров и над водой, раздув щёки от забора воздуха, упорно «саженил» пацанёнок.

– Держишься? Давай к берегу!

Второй пловец уже погрузился в воду. Поднырнув, спасатель со спины перехватил лёгкое детское тельце. Загребая правой рукой, подплыл к мальчику.

– Берись за плечо!

Работая ногами, подобрался к берегу. Мальчик снял фуфайку и стал отжимать свитерок.

– Подожди минутку, вот только другу твоему помогу.

Положив животом на колено, чтобы голова и руки свободно свисали, Жиликов легонько надавил на спину. Вязаная шапочка соскользнула с головы и по плечам рассыпались блестящие светлые косы. Тельце задрожало, стянулось судорогой. Кашель вместе с рвотой погнал воду. Её было немного. Видно, успела только желудок заполнить. Стянув пальтишко и сапожки, егерь завернул девочку в кухлянку, посадил спиной к сосне и накрыл штормовкой.

– Всё в норме, «Магеллан»?

Он подошёл к крепко сбитому, затылоостому мальчугану лет десяти-одиннадцати. Выжимая носки, тот исподлобья, недоверчиво ударил глазами по громадной фигуре. Промокший «тельник» обрисовывал стройный торс, гиреватые плечевые мышцы и круглые мячики бицепсов.

– Тебя как зовут?

– Фёдором.

– А я Георгий. Можешь просто «Гора».

– Гора?!

– Пойдёт и так. Подружка твоя всё молчит и молчит.

– Это Лизка, сестрёнка моя. Она немая.

– Как это?!

Дурацкий вопрос вырвался чисто автоматически. Стало неловко от того, что взрослый человек спрашивает такие нелепости. Так вот почему она тонула молча! Господи, только сейчас стало ясно, какую крошечку, ягодку-жизнь спасла ладанка! Она, только она звала и толкала его к этой ангельской душе. Нарочито грубо проворчал, чтобы скрыть дрожь в голосе и провёл пальцами по глазам, сбрасывая накотившие слёзы.

– Чего вас по весне на купание потянуло?

– Чагали⁶ мы. Здесь линь лопатный.

– А вехи, лодка – где?

– Я первую сеть к черноталу⁷ привязал, а остальные цугом⁸, свободно. Здесь ни течения, ни ветра. А плоскодонка утопла.

– Сейчас к лабазу схожу. Сухостой наломаю для костра. Осину бери, она чистый порох. Рыболов!

Через три десятка минут Жиляков принёс ведро, таганок, посуду. Пошёл к девочке и заменил штормовку двубортной чёрной курткой с отложным воротником на тёплой подкладке.

– В бушлате теплее будет. Отвар изготавим. Поправимся. Фёдор, разводи костёр и таган наладь. Пойду сети выбирать.

Он заглянул в живые глаза цвета чёрной смородины. На смуглой, бархатистой коже бледность не проступала. Яркие полные губы чуть улыбались нежной покорностью с грустинкой.

– Всё будет хорошо, Лизонька!

Тёплая волна опять взбила грудь. Что же это такое сегодня? Радостное, сладкое томление. Сердце предчувствовало счастливый праздник души.

Метров шесть сеть была пустой, а потом повалило!

– Фёдор, ведро подбрось!

Линь – рыба вялая и ленивая, как и все карповые, но не в конце мая. Икромет! Тело гладкое, плоское, покрыто толстым слоем слизи. Чёрно-оливково-зелёного цвета с золотистым блеском рыбыны тянули за полкило.

Мальчик стал торопливо выпутывать их из ячеек.

– Низа приподними, а то грузила могут зацепиться. С таким уловом вам батька всё простит.

– Нет у нас отца. Сиделец он был. Лет восемь, как в тайге сгинул. С мамкой мы, на чароитном⁹ станке¹⁰ живём.

Зацепив с десятка линей на ивовый кукуан, Гора прикрыл ведро с уловом крапивой и ветками черёмухи. Вода в тагане кипела. Распотрошить и запустить уху было минутным делом. Чистить рыбину накладно.

Чешуя мелкая, глубоко сидящая. Зато варёная, хорошо раскладывается, благодаря толстой коже. С одним живым в руках, он подсел к девочке.

– Посмотри, глаза ярко-красные и очень маленькие. Они в тине не очень нужны. Ротик тоже маленький. В уголках короткие усики. Это и ручки, и носик, и язычок. Зубки тоже интересные, с одной стороны их четыре, а с другой пять.

Девочка слушала внимательно. Склонив голову, она снизу вверх смотрела то ему в глаза, то на рыбину. Вдруг она наклонилась к его руке и прижалась к ней губами. От неожиданности Жиляков застыл. Её сверкучие глаза смотрели остро-застенчиво, благодарно, с чуть беспокойной и молчаливой грустью. В них что-то затеплилось, будто солнце выглянуло из-за глухих, тёмных туч.

– Гора, а они долго живут?

Вопрос мальчика вернул к действительности.

– В три-четыре года первый икромёт. Икринок триста-четыреста тысяч. Потом как повезёт.

К заливу мелкой трусцой выкатила одноосная бричка-платформа. Женщина-возница, освещённая потоком тёплого, солнечного света, придержала чубарую¹¹ кобылицу.

– Мама, у нас уха и улов богатый!

Мальчик за руку настойчиво увлекал к костру женщину. Пышное золото волос переливалось звонким смехом и ниспадало на плечи. Белизна упругой кожи, окрашенная горячей пульсацией крови, разливалась румянцем и выдавливала зеленоокий, одушеворённый взор, который поражал, как выстрел. Пышные бёдра и высокая грудь перерезались узкой талией. Георгий узнал свою кровь. Она не только внутри. Она потоком изливалась с неба на души двух людей. Какие могут быть тут слова? Да и вообще, любовь нуждается в них?

¹ окраина;

² перевал;

³ меховая рубашка;

⁴ узкие, длинные заливы;

⁵ залив-озеро;

⁶ ловить в 3 невода;

⁷ род ивы;

⁸ одна за одной;

⁹ подел. Минерал фиол. Цвета;

¹⁰ сибирский хутор;

¹¹ светлая с тёмными пятнами;

Бронислава Фурманова

ЦВЕТЫ МАЯ – ПОБЕДИТЕЛЯМ

Всегда, с приходом солнечного мая,
Когда сирень нам дарит дивный аромат,
В руках цветы весенние сжимая,
Спешу поздравить дорогих моих солдат.

А их становится всё меньше, меньше,
Тех, кто в боях своею жизнью рисковал,
И тех несчастных, одиноких женщин,
Кто над пришедшей похоронкою рыдал.

Война коснулась всех, без исключения,
Победы праздник самым главным в жизни стал.
И не утратит впредь своё значение,
Хоть не один десяток лет уж миновал.

Смотрю я кадры хроники с экрана,
И удивляюсь непременно каждый раз,
Что до сих пор болит и ноет рана,
За тех солдат, кто воевал тогда за нас.

Ведь многие из них совсем забыты,
Порой трудней бывает им, чем на войне,
Не все и не всегда бывают сыты
В спасённой ими от врага, своей стране.

И вновь, с приходом солнечного мая,
Цветёт сирень, даря нам дивный аромат,

В руках цветы весенние сжимая,
Спешу поздравить я *оставшихся* солдат.

ОДЕССА ВЛЮБЛЁННЫХ

Город гасит огни, засыпая.
Опускается ночь над бульварами.
Молодые влюблённые – парами,
Бродят, времени не замечая.

Запах мёда с акаций струится,
Ожерелья цветов распускаются,
Белоснежные гроздья качаются,
Приглашая нектара напиться.

Море отблеск заката качает,
Золотится вечерним мерцанием,
И просоленным свежим дыханием,
Будто терпким вином, опьяняет.

Чайки с криком гортанным летают,
На воде ловят звёзд отражение,
И по воле морского течения,
Словно призраки белые, тают.

Лайнер дремлет у кромки причала,
Убаюканный мерным качанием,
Утомлённый извечным скитанием
О покое мечтает устало.

Часто снится – по улицам старым,
Наступившей весной окрылённые
И, по-прежнему, нежно влюблённые,
Бродим мы по цветущим бульварам.

СЛУЧАЙНЫЙ ВЗГЛЯД

Всего лишь случайный прохожий,
Нечаянно брошенный взгляд,

До боли сердечной похожий
На твой, что лет сорок назад

Притягивал, словно магнитом,
Смущая меня и пьяня –
В глазах бирюзы с малахитом,
Таилась любви западня.

[103]

И мне не уснуть до рассвета –
Я буду опять вспоминать
Далёкое жаркое лето,
Где нам на двоих тридцать пять.

Порою прошедшие даты
Скребуются в закрытую дверь...
Давно это было когда-то,
Так что ж мне не спится теперь?

БЕРЕЗЫ РОССИИ

Когда смотрю на русские берёзы,
Когда я слышу, как они шумят,
Ладони прикоснуться к ним хотят,
Глаза невольно застилают слёзы.

Во многих странах я не раз бывала,
Берёзовые рощи там повсюду,
Что никогда любить их *так* не буду,
Я почему-то сразу понимала.

Они стройны, ухожены, красивы,
Но им не вызвать у меня волнение,
Я твёрдое имею убеждение,
Что нет прекраснее берёз России.

Я помню: детство, по весне берёзы
Мне что-то шепчут листьями в тиши,
По капле из берёзовой души
Сбегают сладковатым соком слёзы...

Как дороги мне русские берёзы,
Словами невозможно передать,
Лишь только стоит мне их увидеть,
Глаза невольно застилают слёзы.

«РАССТАВАНЬЯ МАЛЕНЬКАЯ СМЕРТЬ»

Нас разлучая, семафоры
Подмигивают виновато,
Тебя ворует поезд скорый,
Везя до пункта невозврата.

И рельсы отобьют чечётку
По нервам – дробью барабана,
Вагона силуэт нечёткий
Затянет пеленой тумана.

За серым занавесом тает
Всё, что казалось самым важным,
Лишь кадры памяти мелькают,
Как в фильме короткометражном.

Злой перестук колёс, всё громче
Стаккато в тишине играя,
Копытами мне сердце топчет.
И, в одиночество ступая,

Пересчитаю все ступени.
По чувствам нашим правя тризну,
Я, не оставив даже тени,
Уйду с перрона, как из жизни.

ГОРЕЧЬ

Кофе, чёрный, как ночь, закипает,
Словно жизнь, точно также горчит,
Как любовь, горячо обжигает,
Не давая уснуть мне в ночи.

Как мне спрятать гордыню подальше
И разрушить любовью своей
Тот барьер, что воздвигнут из фальши
Тем, кто был для меня всех родней?

Может быть, мне поможет паромщик
Переплыть через реку обид?
Память в ней неустанно полощет,
Боль, которую сердце хранит.

Будет в ключья душа разрываться,
Нам с тобой не бродить по весне,
И рукам нашим нежно касаться,
Посчастливится только во сне.

Кофе, чёрный как ночь, остывает
И меня он уже не бодрит,
Но до доньшка я выпиваю,
Горечь кофе и горечь обид.

ПОДРУГА-ПАМЯТЬ

Память, верная подруга, ты – моя вторая жизнь:
Из кусочков прожитого создаёшь ты витражи,
Не даёшь забыть, как трудно мне бывало иногда,
Держишь ты, как на ладони, все прошедшие года.

Почему, скажи на милость, сохраняешь, бережёшь,
Аккуратно, по порядку, их на полочки кладёшь?
Ничего не пропуская, всё в реестр ты занесла...
Ты, случайно, в прошлой жизни счетоводом не была?

Ты мне враг или подруга? – не могу тебя понять.
Для меня такая мука – всё переживать опять!
Норов ты имеешь сложный: то веселья ты полна,
То становишься внезапно так печальна и скучна.

Не могу с тобой повздорить, не могу тебя прогнать,
Ничего не помогает – от тебя не убежать.
Почему бываешь, память, так жестока ты со мной?
Даже в середине ночи нарушаешь мой покой.

Не даёшь мне передышки, перерыва на обед,
Я сыта тобой по горло, и не мил мне белый свет.
Из хранилищ самых дальних достаёшь ты иногда
Позабытые события, лица, даты, города...

Ты за мной крадёшься тенью, ты – моё второе я,
Гордость ты, и сожаленье... Или совесть ты моя?

RUSSUSCHЕ-НЕМЕЦКИЙ

Есть много разных языков в Берлине:
Арабский здесь и польский, и турецкий,
Нередко так же слышим мы английский,
Но главным стал для нас – русско-немецкий.

Конечно, вызывает удивленье
Замысловатой речи оборот,
Немецко-русских слов и фраз смешенье.
Я попытаюсь machen перевод.

«Ах! *Bus* уже ушёл? – спросила дама,
Услышав, что по-русски говорим, –
Как лучше *kann ich fahren* до Кудама?
Zu Fuß? Ну что вы, мы ведь *so* спешим».

Уже пришли сегодня *Geld*´ы в банке.
Мы *zahlen* будем *Ihnen*, aber завтра.
Зазеленела *endlich Kraut* в парке.
Сегодня *Sahne* с творогом на завтрак.

А в магазине и не то услышишь:
Что *kostet* хлеб и *wie viel* колбаса?
Всех оборотов просто не опишешь...
От смеха *läuft* из *Augen* слеза.

Tschüs, *Schatz* любимый мой, пока, *bis später*,
Увидимся мы *morgen*, *Grüß* большой,
Я так спешу, *wir* завтра будем *sprechen*,
Я *hab dich lieb*, мой *Junge* дорогой!

Ах, scheiße, получил опять я Mahnung,
Natürlich, это всё не очень gut,
Чем кончится, я habe keine Ahnung,
Vielleicht немного всё же подождут.

Мы говорим, друг друга понимаем –
Язык такой удобный и простецкий,
Его так быстро мы запоминаем,
Неповторим он – Russische-немецкий.

[107]

Ди П 19 / 2015

Поэзия и проза

Давид Брацлавер

ПРОЩАЙ, ЛЕТО!

Резвятся тучи в небе синем, –
танцуют, радуясь не зря
прощанью августа с Берлином
и наступленью сентября.

К земле деревьев гнутся кроны,
и беспокойная листва
лежит на шляпах у влюблённых,
как золотистая канва.

Напоминает звуки лета,
весёлой песней ветерок,
а в роще, солнцем обогретой,
порхает белый мотылёк.

Унынье мной владеет ныне,
в последний августовский, день.
Уходит лето из Берлина, –
луч солнца уплывает в тень.

ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ

Шуршит опавшая листва,
Ей ветры не дают покоя.
Она парит, как кружева,
Пернатых души беспokoя.

И вслед за шумною листвою
Взлетает в небо птичья стая,
В объятьях дымки голубой,
Как первый снег, бесследно тая.

У певчих птиц труднее путь,
Чем у листвы, летящей рядом.
Листве позволено уснуть
Невдалеке. За сонным садом.

А птицы собрались в полёт,
Их манят розовые зори,
И солнце жёлтое зовёт,
И фиолетовое море.

Придёт весна и старый сад
Птиц встретит радостно, как прежде.
И будут принимать парад
Деревья в праздничной одежде.

АРОМАТ ВОСПОМИНАНИЙ

Романс

Любовь под сводом мирозданья
Царит, не ведая границ,
И даже звёзды на свиданье
Спешат под сполохи зарниц.

В бессонные часы мечтаний
Смотрю с тоской на небеса:
Плывут в космической нирване
Твои небесные глаза.

В них сладкий дым былых желаний,
Божественных мелодий звук
И аромат воспоминаний,
И лёгкий трепет нежных рук.

Мечту заветную лелею,
Остановив мгновений бег, –

Найти на солнечной аллее,
Любви спасительный ковчег!

И в храме сбывшейся надежды
Врата откроются для нас,
И снова зазвучит, как прежде,
Ушедшей юности романс!

Басни

СИНИЦА И ПОПУГАЙ

От вражеских когтей спасаясь,
коварство Коршуна кляня,
влетела в клетку Попугая,
Синица на исходе дня.

И гостью бедную пугая,
раздался вдруг из темноты
счастливый голос Попугая:
«Я рад, что прилетела ты!»

Синица спела: «Каюсь, каюсь,
но я в испуге, невзначай,
в твой терем, от врага спасаясь,
влетела, мистер Попугай».

«Я очень рад тебе, Синица,
мне скучно, – молвил Попугай, –
есть в клетке зёрна и водица, –
прошу тебя, не улетай!»

Увы, расстались обе птицы,
кивнув друг дружке головой...
Свобода в небе для Синицы
дороже клетки золотой.

Так повелось на белом свете, –
одним летать,
другим, – жить в клетке.

ЛЬСТИВАЯ ЛИСА

Когда был Волк в высоком чине,
и занимал высокий пост,
катался в чёрном лимузине,
Лисица распускала хвост.

Кумиру говорила льстиво:
«Да Вы талант! Вы просто диво,
среди знакомых мне зверей,
вы всех сильнее и умней!»

Но вот беда, Волк слёг в больницу, –
совсем плохи его дела...
Однако, льстивая Лисица
на похороны не пришла.

Мораль: встречая подхалима,
скорее проходите мимо
и помните, что в трудный час
он вас лизнёт, потом продаст.

[111]

Ди П 19 / 2015

Марина Авербух

ЛЮТИКИ – ЦВЕТОЧКИ

Сентиментальный детектив

(Окончание. Начало в альманахе «До и после» №18)

Если бы удалось графически отобразить невротический ритм моей Полушкинской командировки, то эта «психограмма» указала бы на состояние «организма» по существу катастрофическое... Непрерывное чередование «пиков» и «провалов»... Ни одной ровной линии, отвечающей «жизненно стабильному» состоянию. Не только моего собственного бытия, но и жизни немалого коллектива и медиков, и многих иных, способствующих как будто изначально спокойной санаторной жизни... Всех, кто был причастен, лихорадило...

И на вершине одного из пиков (не первого! Но, боюсь, и не последнего?) была история со спасением Лёли от анафилактического шока... Кто же подложил флакончик с аллергеном, да ещё слегка надколотый, что и грозило прямым попаданием в кровь через царапину на Лёлькиной руке? И этот коварный трюк реализовался и мог быть доведён до летального конца – то есть убийства! Как я оказалась там – это чудо! Чудо «совпадения»!

Я – и на нужном месте, и в нужное время! А далее прошло «рутинное» спасение! По стандартной и, к счастью, давно отработанной схеме... Пик на «кардиограмме» сменился «долинной» линией...

«Выдохнув всё напрочь», я перешла к следующему этапу моего секретного задания... И так – Ботаническая Оранжерея, где могут оказаться смертельно опасные «лютики - цветочки». А могут и не оказаться? Спросить не у кого... И опасно... Надо выяснить самой, но не в лоб... «Ботанический сейф» мы вскроем иначе!

Я решила, в счёт своего нерабочего времени, «отдаться свободному Творчеству»... Среди обуревающих меня время от времени страстей и страстишек есть одно хобби, с которым я не люблю надолго расставаться... Не смейтесь, пожалуйста, и не выражайте сочувствия моим близким, но это – рисование! Не живопись, как жанр. И не карикатура. Это – «графо-флористика!» Я сама придумала это словосочетание, по которому даже среднеграмотный дурак поймёт существо моей забавы. Ну что поделывать! Люблю я, считайте с детства, рисовать. А цветы – особенно. А здесь, в Полушкино, свой собственный, абсолютно доступный, без пересадок и дорожных пробок и без входных билетиков, домашний Ботанический, ну не сад, а садик... Но вполне профессиональный, с уникальными, как сейчас помню, 189-ю образцами раритетов со многих континентов... В великолепном состоянии, можно сказать – «во здравии отличном». И в плодоносности завидной... Нам бы такую, Человечеству... Хотя, надо ли Природе–Матушке такую обузу? А цветочкам что надо? Солнце!... Иногда тень ещё лучше... Землица правильного состава и состояния... И вода!... Но для садика нужно ещё и внимание конкретного человека–«Садовника»... «Я садовником родился. Не на шутку рассердился...» ...А вот сердиться при растениях нельзя... Не любит Флора этого и может захворать! Наверное, мои рассказы – пережитки язычества, пантеизма, многобожия... Но увидеть Садовника угрюмым, злым и опасным для людей – это не к добру... Вот наверное и нашу местную садовницу лучше не видеть, да вот нельзя! Она – хозяйка всех этих цветов, и мне тоже надо позволения испросить порисовать ... «А то кто-нибудь и обидится?»... Где же всё-таки эта «мырра»? ... А вот и она. Легка на помине. Или меня не упускает из виду? Ну, пока это её забота. С какого же «мотива» мне начать «Полушкинскую сессию»? Проще, пожалуй, с «Виктории Регии». По-русски «Королевы Виктории»... Красивая водоплавающая посадочная площадка для лягушек и стрекоз. Здесь-то она невеличка – всего с полметра диаметром. Вот и нарисую её почти в натуральную величину... Рисую... Сзади кто-то подходит и застывает за моей спиной молча... Смотрит на лист альбома и на появление на нём штрихового «портрета» круглого листа... Рисунок пока нехитрый, но зрелищно выигрышный: появляется и объём и фактура загнутых вовнутрь бортов листа. Прожилки – словно рёбра. Соседние листочки позволяют выявить и блеск, и игру воды, да и масштабность... Навожу тени. Полутени. Где же зрительская реакция? Вот злыдня. Затаилась. Но нет! Слышу, пока ещё за мою спиной:

– А почему вы не предупредили о своих талантах... У нас вы значите как доктор... А вы и художница оказывается!

Ну, слава Богу, кажется на контакт выходит... Слегка полуоглянувшись, я миленько так спрашиваю, как дурочка из Изокружка Дома Пионеров:

– А Вам правда нравится? Жалко, что я краски не привезла, да здесь и цветовая гамма простоватая. Что-то у вас, в вашем саду, мало многоцветья. А почему так? Солнца мало, или всё затенено так? – Оглядываюсь.

– Ну, хоть розочку какую, лучше тёплого цвета – «Чайную».

Сама, не глядя на неё, не прекращаю работу – рисую и рисую, штрих за штрихом. Слышу:

– Напомню вам, Марина Борисовна, я – старшая сестра-хозяйка по обоим корпусам... Гликерия Петровна... А Ботанический Сад – это уже моё хобби... Вроде вашего рисования... Скучно без красоты жить. Если пожелаете, я вам покажу наши ботанические коллекции. Там немало тёплых тонов. А вы ещё и ботаник?

Отвечаю небрежно так, сквозь очередные штрихи:

– Да какой я ботаник! Я, как нарисую, тут же забываю, где и что рисовала... Мне мой рисунок уже и Натуру, и Ботанику заменяет. Но, если покажете что-нибудь фактурное, обязательно возьму на лист... А почему у вас в Кантине на стенах этот сад не отражён? Такая красота и игра форм, теней и, как вы обещаете, красок...

– Ну хорошо, покажу я вам и формы, и краски, каких вы и не видели нигде...

Я встаю, закрываю альбом и протягиваю руку:

– Что это мы через мою спину разговариваем? Не солидно как-то... Мы теперь уже и не чужие, не так ли?! Общая эстетика нас явно объединяет... Кстати уж и по нашему делу...

Хотя я врач - аллерголог, к вам я попала из-за моей, будь она неладна, Аллергии. Но не только из-за неё... Начальство моё требует, заодно с моим излечением, проверить на ваших пациентах одну нашу методику диагностирования... Я ведь, к тому же, дипломированный иридодиагност... И хотя этому методу более ста лет, он всё ещё считается экспериментальным. А метод великолепен! Позволяет увидеть не только прошлое здоровье, но и предсказать будущие проблемы с ним... Вот завтра подберу команду пациентов поразнообразнее – не более пяти – шести – и вперёд... Но это не сегодня уж точно. Надо и мне уходить. И так впечатлений через край. А я тут у вас, прямо на лестнице, свою подругу детства встретила... У неё тоже с Аллергией дружбы не сложилось, слава Богу, обошлось только что. Может, и зайдёт поболтать, если получится... А посиделки наши уж не на один час... Всех вам благ, Гликерия Петровна... За вами обещанная экскурсия по Ботаническому хозяйству... Буду мотивы искать для рисунков... Я девушка настырная! Если позволите, конечно... Вы же завтра опять трудитесь? А я, как освобожусь, сразу, только выберу мотивы – так и начну рисовать. Ждите гостью.

На том и расстались. Возвращаюсь не вслед уходящей Хозяйке Сада,

а несколько кружно... Чтобы посмотреть на Природу ещё. Иду... Вон там я видела «наперстянку». Впрямую не подойти... Какая-то клумбочка с белыми зонтичным шапочками банальных лесных цветков... Огибая её, я чуть не задохнулась (опять моя аллергия) от чисто мышиноного запашка... Откуда он? Уж можно было и вывести этих землероек... И тут меня осенило! Это же «болиголов»! Точнее если – «Болиголов крапчатый». «Убийца Сократа!»... (И цикута пресловутая тут не при чём была. Именно Болиголов – выращивший алкалоид кониин – (летальная доза – 0,15 грамма!)... Поверьте Медицинской Науке! Но также ножки вначале немеют. Потеря чувствительности ползёт выше и выше – «восходящий паралич!»... Вот и дыхание Сократа остановилось... И сердце Философа... Всё по Закону и Обычаю «гуманной и демократичной» Древней Греции, конечно... Такой лесной простодушный дикий бело-многозонтичный цветик! А выпьешь «отварчика» – и двух часов достаточно до полной «летализации»!

Но чего ради держать эту ядовитость почти в дому? Ни красоты особой... Да ещё и пованивает мышью. Странное хобби у тётушки Гликерии Петровны! И бронхам моим это ни к чему! Нет! На этюдах будет только наперстянка! А остальных мы и не щупали, и не нюхали... Какая же это красота – Пурпурная наперстянка... Соцветие длинненьких колокольчиков – напёрстков напоминает и звонницы, и корильоны – если бы ещё озвучить эту «ядовитость»! Через часок я уже закончила два цветочных «портрета» наперстянок и отчаливаю к себе в номер, так и не повидав больше никого...

ЛЁЛЯ

И вот уж я, солоно хлебавши, пошла исполнять указания администрации и как-то обустраивать свою личную жизнь на отведенной мне территории. Номер оказался достаточно просторным, с балконом и живописностью вида, с него открывающегося. Но моё уединение было недолгим... В дверь, чуть шелестя, поскреблись, неслышно для соседей, чьи-то коготки... И на мой «отзыв» заглянула... голова Лёльки: «Можно?» «Можно!». И по-прежнему в халатной, рабочей прозунIFORME предстала моя давняя подруга... Она по-хозяйски оглядела всю комнату и, быстро дойдя до стола, бесшумно достала из внесённой ею же кошёлки «ужин туриста»: какой-то судочек, бутылку «Смирновки», пакет яблочек и что-то ещё, уже мною позабытое... Так же по-хозяйски нырнула в сервант и вытащила на свет вполне приличную для командировочной «фатеры» посуду... Присидели мы с ней душевно и информативно (!)

вплоть до «отбоя». Точнее, до стука в дверь какой-то (мне кажется, той же самой хозяйки «ботанического уголка»).

Судя по звукам близким и отдалённым, Гликерия Петровна решительно пресекала своими бесцеремонными стуками по дверям номеров-палат всякие попытки и просьбы:

– Ну ещё чуть-чуть посидим...Мы же тихо!. Но мы уже всё с Лёлей, ставшей моей «кротихой во вражеском стане», переговорили и обговорили...

...Странная штука эта наша сегодняшняя российская жизнь! Такие прыжки и «тулупы фигуристские» исполняют не приспособленные, казалось, абсолютно, от рождения, люди... Вот пожалуйста! Близкая мне семейная История! Лёлькина родная сестра Нина! Та ещё уродина! Она старше Лёли на три года... Сестра, как говорится, старшая...

В отсутствие мамы – даже временном – «Надёжа и Опора» всех младших... Так и было... Пока! Пока разнёсшийся по всей Рассее-Матушке дух «бобла» – легко «сшибаемых» случайных денег, и денег немалых, точнее таких больших, что никакими силами, воспитанием, страхом перед Законом, стыдом и даже Совестью, нельзя было затормозить... остановить, в конце концов, человека, вступившего на заведомо преступную «Тропу самообогащения»...

...Лёлька моя, трудами и муками, выпестовала свою, небольшую – человек на десять штатного персонала зубоорачебную фирму. Вначале это было просто ИЧП – «Индивидуальное Частное

Предприятие». Но золотые ручки и из того же драгметалла Головка и Сердце быстро подняли дело до уровня Фирмы, дающей доход, и завоевавшей авторитет у всего района... Некоторые пациенты приезжали чуть не с другого края Москвы, чтобы посидеть в кресле у моей Лёли!... Пока... Пока Волей Божией не скончалась её Матушка...И тут-то Нину – старшую сестру Лёльки – как подменило! Мамину дачу и мамину квартиру через банду жадных и ловких «чёрных» риэлтеров, ею нанятых, всё целиком переоформила на себя–любимую и бесценную... Это «раз»... Одновременно та же бригада, через подкупленного своего (то есть Лёлиного) зубного техника, в два месяца всю фирму родной и, якобы, любимой сестры Лёльки развалила... Нам, друзьям Лёльки, с трудом удалось вырвать её из-под судопроизводства.

Как на Руси говаривалось ещё в догоголевские времена – «отпустили душу на покаяние»... Всё, кроме маминной квартирки, ушло в «небытие»... Как смерч аравийский прошёл по семье моей подруги. Муж коварной сестрицы, Валера, – отличный парень, сломался и ринулся в бег! Решил сыскать счастья и покоя аж на...Тибете! Семь долгих лет он пропадал–прятался у Тибетских монахов, заодно уж освоил их секреты исцеления. Приехал–вернулся «домой» истощённый, но «просветлённый», словно сам

Шакья-Муни, то есть Будда. Теперь он людей «поднимает с одра»... Я давно слышала о новоявленном враче-гуру, но и сейчас даже не сразу и поверила, что это тот самый наш запропавший Валера. Он-то попросту удрал от своей акулы Нинки... И не хочет даже сейчас никаких дел и безделиц с ней иметь...

– Ну а ты-то, Маринка, каким ветром к нам привезена? – спросила Лёля.

– Да шеф меня пригнал, ему напели во все уши про ваше Полушкинское чудо. Я тут всего можно считать и дня не прожила, а голова уже как бы не своя... Всё по-королевски...И комфорт, и дизайн, и обслуга вышкола, как в берлинском Адлоне. Кантина – что московский ресторан «высшей категории»... Судя по всему, вкинуто сюда денег – немеряно! Похоже, не одна «крыша» сторожит это сокровище... Не знаю пока, да мне и знать «без надобности», но разные, очень социально разные, денежные потоки оросили Полушкино и окрест его. Завтра предстоит осмотреть больничный корпус, если подготовят пропуск! У вас что-то всё на своих особых запорах? Секреты что ли выращиваете? Я и спрашивать тебя не хочу, а то подведу случайно... Да и сама я здесь, в конце концов, «по-непонятке»... Толком не объяснили, зачем я здесь... Аллергия аллергией...Бронхит не затухает с нужной скоростью и основательностью. Но это скорее повод для... Я подозреваю, что Шеф сам не прочь открыть нечто подобное в самой Москве. Особнячок старинный и благоустроенный уже присмотрен, не хуже вашего. Выселят напрочь сегодняшних насельников-жильцов – повод есть теперь достойный: все чиновники освоили словечко «геронтология». А мы, глядишь, долголетие пообещаем.

– Да лучше, подруга, и не спрашивай... Я сама здесь хожу, как по ключей проволоке...

За каждым углом – проблемы... Не то, что до того!

– До чего «того»?

– До смены Руководства... Новые «хозяйева», новые задачи, новые оклады-зарплаты! Нам уже как полгода назад всем сразу, одновременно, в пять раз повысили оклады... Словом, мы стали получать как сталебары, что ли, или скорее – как космонавты. Но дисциплиной начали ковать из нас таких верных Исполнителей!

Я, заслушавшись, как-то упустила случайно обозначившийся «момент Истины» в монологе Лёли! Странно внимательно Лёля взглянула мне в глаза, потом, как в «песочном» нашем детстве, приложила пальчик к губам, призывая, ясный блин, помалкивать со своими расспросами, и при этом осмотрела стены, углы, картины, развешанные по стенам, и, в конце-концов, также молча, ткнула пыльцем в телефон... Я уже давно поняла её жестикуляцию и, подыгрывая, принялась шуршать

конфетками, слегка что-то мурлыча, и с бульканьем доливать в стаканы водочку, а в бокалы – водичку... Пришлось включить и «телек», и под его многоголосие начать беззвучную застольную переписку. Тут многое и прояснилось...

...Вывоз тела (пока я видела только две «акции») проводился около четырёх утра – перед рассветом, когда темень просто крошечная, ну и «табор спит»... Но то ли глаз у меня достаточно зоркий, то ли стены светло окрашены, то ли из-под двери высвечивал лучик, но мне удавалось моментами разглядеть даже лица «труповозцев»! Самый крупный из них – тот, «змееголовый», именно тот, что, якобы случайно, встретился мне в день приезда.. (Лёля его знала и сразу ещё тогда подсказала, что он в «интенсиве» задействован). Второй, кто тоже спрятан капюшоном (прямо монах из средневековья!), был на голову пониже, однако «работал» столь же оперативно – без шума, без разговоров, как автомат – ловко и быстро... Они вывозили каталку почти на руках и так же бесшумно чуть ли не убежали с нею – буквально «яко тать в ночи». Показалось ли мне, но как будто издалека, еле слышно, прошумела автомашина – и на вверенной моему дозору территории вновь замерла тишина. Ещё одно чёрное Дело сотворено. И сколько же их всего было? Утром у стены никаких следов – голый, чуть припылённый асфальт... Чисто работают, гады!

ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ

...После быстро приконченного завтрака знакомилась с моими пациентами... Для некоторой статистики отобрала двух дамочек (за 25 и, на глазок, за 55 годиков. Двух мужичков лет за 45 и одного спецбольного - перемещенца из «Кашенко»). С него и начала поиск – обследование – расследование. Типичный астеник, исхудавший то ли на скудных казённых харчах «психушки», то ли на непреходящей депрессии. Типичный «чахлик невмырущий» (это, если по-украински), а по-русски – «Кашей Бессмертный»... Хотя и явный нежилец. На аллергию и на бронхиты у «выпускника» психбольницы жалоб никаких. Обычные показатели – депрессия, навязчивые идеи. Упёрто и монотонно твердит о квартире, из которой, якобы насильно, вывезли на лечение. Речь «больного» довольно бессвязная и нервная. Выразила ему полное сочувствие и пообещала улучшить его состояние радикально...

...У молодой женщины, Елены, бронхит на стадии выздоровления... Елена закончила литературный институт. Была принята в редакцию гламурного (или жёлтого?) Журнала... Родители решили переехать в писательский дом на Бронной... Их квартира на Соколе должна была

остаться дочери... Как и дача в Переделкино... (Маме стало тяжело даже ездить туда, не то что обихаживать). Всё и прошло бы своим естественным ходом, если б не «дружанки» из Редакции Журнала... Пошла вначале «травка»... Затем героин («герыч» по-новому)...

А уж тут одна «злая» или просто «нехорошая» (знакомая!) докторица и пристроила Елену в Полушкино... Елена морально и покрепче, и постабильнее «Чахлика», но, как и он, считает (столь же бездоказательно, как и тот), что её насильно уложила на лечение (чуть ли ни принудительно) именно подруга матери... Как и все иные пациенты, они оба отягощены не типовыми, «банальными» болезнями, а комплексами душевных проблем, порождёнными «непомерной квартирной собственностью». Помните, у Булгакова: «Всех испортил квартирный вопрос». Полистав их больничные карты, и не найдя особых патологий, я решила именно на них и опробовать моё Ноу-Хау: модификацию комплексной диагностики психического состояния и психические предпочтения по методу Люшера, который (метод то есть, а не Профессор Макс Люшер), был расширен нами до более комплексного выявления Общих психических предпочтений пациента... Оказалось, что существует некая биологическая предрасположенность нашей психики к позитивно-восприятию лишь некоторых, а не всех линий радужного спектра...

Даже абсолютно здоровые, но обладающие скрытым, недружелюбным, подозрительным характером, предпочитают фиолетовую область спектра. Жизнерадостные, общительные, из всех вариантов предпочитают...жёлто-оранжевую область спектра... А вот близкую к запредельной, инфракрасной области, условно отображаемой коричневым цветом, обладают устойчивым, позитивно настроенным чувством Бытия... Зеленовато-голубой интервал – предпочитают особи наиболее пассивные, вплоть до равнодушиности вообще, чуть ли ни ко всему!

Я раскладывала перед каждым пациентом таблички, окрашенные в локальные цвета, и просила выбрать из них самые приятные для восприятия. В следующей сбойке выкладывала таблички, окрашенные цветом «антагониста». Тест был по-существу двойной: не только на психологическую ориентацию. Выявлялась, не афишировано, реакция больного на отравление цветочным ядом – дигиталисом, т.н. «ксантопсия» – виденье больным всех предметов только в жёлтом цвете... Секрет теста скрыт в том, что среди карт жёлтые таблички отсутствовали! Только при отравлении дигиталисом (этим, ставшим популярным, после детектива Агаты Кристи, цветочным ядом)... Все предметы для больного приобретают жёлтый оттенок... И именно поэтому жёлтых «табличек» отравленный не отличит от остальных. Однако! С пожилой пациенткой мне «повезло». Эта дама проявила себя аномально: то есть

как «ксантоптийка». Остальным всё было ясно – где какой цвет! Интересно! Ну, а уж в иных психических предпочтениях этих больных я разберусь сама чуть позже. Принимала ли «найденная» больная «местный» дигиталис – тот самый яд, что содержится в наперстянке? Если бы больная принимала дигиталис как сердечный стимулятор, и покупала его в аптеке согласно врачебным указаниям, такой «ксантопсийности» обнаружить не удалось бы. Но не исключена и особая индивидуальная реакция на действие этого глюкозида!

Вот он – ключевой вопрос!

Ответ Пациентки: А что это за лекарство? У меня с сердцем пока ещё всё в порядке! SIC! (На латыни – так!). Всё ясно – эта дама – «ксантопсийка»! «Обнаруженная» дама оказалась вообще разговорчивой. Правда, весьма агрессивно настроенная к персоналу. Особо она выделила Старшую сестру. Именно – мою «мымру - ботаничку»... Кстати, как и я, но независимо, именно «мымрой» моя пациентка её и прозывала. «Почему?» «У меня есть причины! Она слишком расспрашивала о моих жилищных планах». Примем к сведению и это... Пока проводила тестирование, осматривалась. Окна заблокированы «изящной», ампириного стиля, решёткой. И замки на дверях – основательные. Запираются только извне. Чужих сюда, в Отделение «интенсивной терапии», по-видимому, не допускают даже на «пистолетный выстрел». Закончив командировочный день, я опять спустилась в Ботанический Сад. По дороге вывешиваю «дацзыбао»: «Потеряна записная книжка. Просим нашедшую оставить в «Регистрации». Сие означает – «Подозреваю Женщину!» Шерше ля Фам! Подхожу к окошку Регистрации – а там сидит сама! «Мымра» то есть...

«Здравствуйте!» «Здравствуйте!»... Дружелюбно даже. Объясняю, что где-то (да где угодно! Может и на лестнице?) «Нет, пока нет!» – таков ответ. Пока... Пока... И через пяток шажков встречаю... Сан Саныча! Одного! Без Мэри...

УЛИКИ ИЛИ ВЕРСИИ?

...Итак, листочки Наперстянки в салатик (на Первое!) и стаканчик свежего отвара Болиголова (На второе! Оно же и окончательное!) Экологично! Никакой химии...

« Были на экскурсии, посидели, отдохнули, и в палату на «заслуженный» отдых...» Вот и весь сказ. Для сбора прямых доказательств надо, значит! внедриться на кухню! Но кто пустит? А готовое блюдо с отравой кто же на столике - каталочке развозит – на завтрак, – на ужин? Всё-таки жизнь в абсолютно замкнутом пространстве (не в камере КПЗ,

разумеется!) имеет свои преимущества перед раздольем африканской саванны или сибирской тайги...

Пройдешь немного по корпусу влево, покрутишься по коридорам, просто постоишь на какой-нибудь открытой любопытным взорам «точке» среди нужных и совсем ненужных прохожих – и уже увидишь «кого надо»... Достоялась я и «до раздачи»! Не в пошлом житейском смысле, когда знаешь, или не знаешь «за што!», но «по шейке» от кого положено получаешь: упрёк начальничка, косой взглядик наушницы, бездельника «по призванию» или «по обстоятельствам». Вот и я своё «поимела» уже через 15 минут бездельного «слоняния» по корпусу. Гляжу: повезли – развезли по этажам обеды специальные. Обед – развозит кухонная бригада, а самые главные салаттики, морсы всякие, напитки «свеженькие»... Не поверила сама себе: Мыра окаянная! – Вот так удача! Тогда рождается новый вопрос на «ейную» засыпку:

«Где же она, Мыра то есть, готовит их – Салаттики с «цветочной» начинкой? Вот и напросилась сама на свою погибель! Ежели она же их сама в полдник и развозит, кому положено... Персонально?! Значит сама и готовит эти же салаттики из свеженьких корешков болиголова, выкопанных не раньше сегодняшнего утра... И хранит «заготовку» только у себя! А нам, для Разоблачения, нужны свежие Образцы Ядовитых Салатцев! Хоть по шепотке! И хоть «полстакашка» отварчика. Но как дотянуться? Забраться мне самой? К кому? К Мыре в её номер? Если не застрелит, то зарежет! Или придушит... Кого бы подставить? А кто у неё убирает? Неужто сама у себя?! Вот осторожная стерва... А не совершить ли нам аварию... Точечную... В одном Отдельно взятом номере! Но не женское это дело – поджигать, замыкать. Ага! Вот и Мужчинка! Пришёл на вызов «дацзыбао». Один!

Здравствуйте, Сан Саныч. И где же ваша прекрасная Мэри? Ну, и слава Богу. Это лучше, можно и уединиться... Как отдыхается? Устали... Беденький... Ну пойдёмте, вон у Ботаники скамейки стоят, располагающие и к интиму, и к покою. Кому что посылаю. Присели. Смотреть со стороны: Мужчина и Женщина. На Лоне. И в безделии... Чем не завязка «курортного» романа! Начинаю излагать полную и детально аранжированную «хронологию» последних трёх дней... Слушает хорошо! Правильно: левой ручкой по плечу моему прохаживается... Раз нет возражений – наслаждайтесь. Ради дела, конечно. Дослушав, задумался... Извинился, якобы услышав жужжание вибратора хэнди, прислушивается и... набирает новый номер:

«Васёк! Это ты? Что-нибудь... Извини, я с прелестной дамой... Нет, не познакомлю! Самому нравится. Да... Боязливая очень... Нужен подход – думаю, в пару дней уговорю...

Да здесь, на месте. Да говорил тебе, беспамятный мой. Место – фантастика... Ночью – особенно... Ни зги... Даже машин почти не слышно... Ну, надумаешь – приезжай. Один, конечно. Ну, ежели одну только её. Устроим, я договорюсь с местной хозяйкой... Но она дама строгая. Жутко строгая! Затем, после «телефонного инструктажа!» излагаю Сан Санычу идею электродиверсии... Одобряю-с... Мужики, если они нормальные, а не «ботаники», в электрике и во взломах чего угодно – легче нас, баб, понимают суть необходимого... Психика у них «охотничья»... Или «плотницкая»? Но не всегда покладистая, иногда явно «топорная»!

ПОЛУФИНАЛ

Этой же ночью я почти не отходила от окна моего номера, в абсолютной темноте, конечно, да и шторы не откидывая: только в узенькую щёлочку, как в прицел снайперской винтовки, ждала неподвижно, не проявится ли новое движение, новая вывозка трупов.

Лишь примерно в полчетвёртого из слабо высвечиваемого дверного проёма выдвинулись две тени, в тех же капучинно-монашских одеяниях, и ведомая-несомая ими же каталка с закутанным телом на ней... Следом, разодетая словно монашка, осторожно вышла моя «садовница Мымра» – ну, конечно это она – и комплекция, и походка более осторожная, чем обычно. Но ни голоса, ни шелеста ног. Как в невесомости. Через пару минут монашка быстро юркнула обратно в дверь... Всё вновь в безмолвии и во мраке...

Мой звонок Сан Санычу: «Вы завтра в восемь, как обычно?» Это пароль... Отзыв: «Как всегда, а что может приключиться? До встречи за столом...»

Расстаётся с Сан Санычем как «сговорённые любовники» – «весело и дружно»... Около пяти утра слышу за дверью моего номера какое-то суетливое движение, свет коридорный «то потухнет, то погаснет»... Туда–сюда побегали женские каблучки и мужские «грохочущие сапоги». В полчаса суета исчезла – вновь тишь, да гостиничная гладь и благодать... Утром стала выяснять в «рецепшн», пошто у меня свет в полнакала горел... Разъяснили, умиротворяюще, что где-то что-то замкнуло и долго не размыкалось... Потом в одном из номеров пришлось исправлять проводку...

Исправили? ...Исправили... Никого не убило? Слава Богу, пока обошлось...

Я: «Наверное, короткое замыкание мокрой тряпкой сделали». И далее «травлю» с упоением реальную бабушкину байку, как мол «приходят

гости на день рождения к одинокой даме, дверь не заперта... Тишина... Входят и, о! Ужас! Лежит бедолага около батареи, в руке тряпка мокрая для наведения, значит, чистоты была на батарее, а нога, босонькая, прислонилась, не поверите, к включённому металлическому торшеру! Сердце «новорождённой» в отключке уже более двух часов... Холодеть уж начала!»... Смотрю, служилый народ белохалатный прислушивается, ахает... Кто-то и вякнул: «Говорили мы ей: «Не надо одной жить, мало ли что? Всё-таки для «помочи» с соседней койки прибежать сможет соседка, ежели что!»... Оглянулась, а мимо везут на каталке чьё-то тело... Под полным покровом. На виду у мед-бабонек крещусь, как бы в испуге, и собираюсь отчаливать восвояси. Но те ко мне с расспросами: «А если током убьёт, оживить, говорят, можно! Надо в свежесрытую землю закопать... Лучше её голую... Вот молния и отойдёт! Правда, што ли?»

Ну, тут я уже предметно спрашиваю, как экспертиза: «А это кто? Мужчина или женщина? Они по-разному могут разряжаться. «Да Хозяйка наша это, самая главная тут»... Тогда, как бы вздохнув, сочувственно объясняю, что на женщинах заряд молнии держится не крепко. Жира многовато. Тело сырое!» И вновь новая информация: «Значит, мырма воскреснет... Стерва, прости Господи! Опять вернётся поедом нас есть!» Кто-то сзади шикнул, но говорунья не унялась: «Бог, видать, наказал, за грехи её смертные...» Но товарки чуть не силком её втянули к себе, лишь бы от меня подальше, и зашикали, пока та не успокоилась. ...Вот и свидетель проявился! Тоже приварок... Но попрощалась ласково и мне ответствовали вроде без особой опаски, уже как своей соседке... Им виднее! Но и мне стало видно, что всё наше «дело» одномоментно закончилось... Как говаривает любимый пианист нашего шефа – боевая музыка должна звучать в темпе «Престо! Престо!! Престо!!!», и никак не медленнее...

FINITA LE TTRAGEDIA

Около шести утра в мою дверь настойчиво, но не очень громко, постучали... Явно мужские руки. Я ожидала приезда моего Серёжи. Всего лишь пять дней назад мы с ним приехали в Полушкино... И вот отъезд. Конец «командировке»... Задание Руководства выполнено досрочно, но вот успешно ли? И не без роковых ли последствий для всех «командировочных»? Всё-таки за спиной...трупы! Ну, обезвредили главную исполнительницу. Отлично.

И технически грамотно...И интеллектуально! (это я себя похвалила за ботанические «находки». «Имею право!»)...Но тайная война против банды «Дельта» только начинается...

В Полушкино наша команда определила лишь немногие направления преступлений...

По показаниям и немногим документам, «больных», чуть ли не с их согласия (подписи стоят на актах натуральные!) вводили в «искусственную кому» (по какой-то новой «западной методике»)... Гарантировали ускоренное выздоровление. Но этого пациентам и не суждено было дожидаться. Выведя из комы, псевдобольного направляли на... извлечение из него же жизненно важных органов с целью последующей трансплантации другим! А оставшееся Тело – ещё живое, но искалеченное, опять вводили в кому. Как гуманно!

Не убивали, а как бы усыпляли. На ... любой срок. Эту, буквально, убийственную процедуру совершают не в Полушкино, а в более специализированном центре, который нам ещё предстояло найти!

А пока что нам удалось вырвать из паучьих лап убийц около десятка обречённых! Но не всех. О судьбе скольких мы только догадываемся? Однако до центра «Дельты» мы пока не добрались, хотя «Центровые» наверняка проходили мимо меня... Даже здесь, в Полушкино...

Отъезжаем... Оглядываюсь, как бы на прощанье...

- Всё наглядеться не можете? – подшучивает Серёжа.
- Следи за дорогой, дорогой... Что это справа? Горело что-то?

Мы медленно проезжаем мимо свежееобгоревшего «реамобила»... Гарь и какой-то странный запах. Не бензин и не горелый металл... И не химия горячей обшивки... Сгорело нечто живое... Неужто только это и есть «следы – плоды» моих ночных видений?

Олег Никогосян

MELANCHOLISCH

С утра
рассветные лучи
шныряют по окну квартиры
Кофейник на плите урчит
вскипая
бурно и задиро

Разрезанный лимон прокис
оставленный на чайном блюде
Вещицы растеряли смысл
скукожившись
на полках куцо

Блокноты
ручки
эпатаж
днюют и вечерают блекло
Ничто уже не вводит в раж
мудрёностями
птичку в клетке

Так
чёрно-белое кино
немеет
титрами ночными
пустой кустарщиною
но
потусторонне и учтиво

Осенним эхом
терпких фраз
слова блуждают
те и эти
И
с ними вместе
в поздний час
привязанностей силуэты

Никчёмен быт
псевдоуют
среди
нарочитости подделок –
Давно
сумятицы грядут
в наш век
смертельно-оголтелый...

МНЕ СНИЛИСЬ СНЫ (рондо)

Мне снились сны январскими ночами
Снега мели с усердием повсюду
А мы – как будто снова повстречались
Отбросив ворохи печалей
Внезапно
 буднично
 прилюдно

Голубизною вечерели
В снегу застывшие качели
Среди улыбочивостей елей
Мне снились сны

Бледнели искорки в камине
С тягучестью настойки тмина
Метелью заносило дачу
Во сне припозднилась удача
...Зачем так длинно...
Мне снились сны

ИССУШЕННЫЙ САД

Никуда возвращаться не надо
Перепады давно здесь не в моде
Не валить же всё на непогоду
Средь
Заброшенных зарослей сада
Чернстволить
Деревья устали
Никнуть снова стволами упрямо
И корою точить свои раны
Озябая туманностью дали
В дремоте опустевшие гнёзда
Силуэтами молча маячут
Сиречь этот намёк что и значит
Но уже всё равно
Да и поздно

[127]

АПРЕЛЬСКИЕ НАЧАЛА

Теплынь
Скоро окна настужь
Из соседнего дома
Неуклюжие гаммы
Робкой ученицы

* * *

На Паризер плац
Расплескались
На фоне фонтанов
Разноцветные волны тюльпанов

* * *

Без пенья
Скучнеют соловьи
Нашедшие себе подруг

Ночи лунной –
Без
Утомительности слов

УЖЕ...

Мне б приласкать тебя словами
Мне б отогреть тебя губами
Мне б понять
 что случается с нами
Беспро-буднями
 днями
 ночами

Мне б к тебе прикоснуться взглядом
...Но тебе уже это не надо

СЛУЧАЙНЫЙ БРАНЧ

Детка
Теперь я ворчливый дед
Правда без всяких внучатых сю-сю
У тебя к примеру
И тренд и бренд
Когда своим готовишь обед..

Ладно – лучше вина принесу

Раз уж встретились снова
Сквозь сито лет
Махнём-ка рукой –
Приглашаю тебя
На бранч простой
В кафешке полупустой
К грибам закажем
Бифштекс с пюре
Бордо или каберне
(гранатового здесь нет)
К блинчикам

Дымящийся шоколад
Мне – кофе густой
На часик с хвостиком
Отключись на миг
Вспомним прожитые
15 лет
Потом разойдёмся
Лет так на сто
А может даже навек

Пока ты красишься
Чтоб уйти
Послушаю молча блюз
Разнятся мысли
Как и пути
Не сойдутся минус и плюс
По клавишам
Звуки слегка скользят
Подыгрывая нам уход
Жаль
Аккордами склеить ничто нельзя
В запоздалый 14-ый год

На улице ветрено –
Надвинь капюшон
Тебе закажу такси
Ну что ж
Пока
Я тоже пошёл

А дождь
Опять моросит

А ГДЕ-ТО...

Августовское марево расплавляет
Уставшее лето
Осыпается искрами
На остатки остывшей души
Богадельня притихла –

Никто никуда не спешит
В ночниках еле брезжут
Дрожащие лучики света
Собрались одинокости
В позабытом неведомом месте
Позаброшены всеми
В преддверье последней зимы
Так когда-нибудь тоже
Забывтыми станем и мы
Без пустых сожалений
Которые здесь неуместны

[131]

НА ДАЧЕ

к *Н.Н.*

Пройдись тропинкою до дома
По старой колее колёс
Вбери осеннюю истому
Разгладь следы
 морщинок
 слёз

Теперь
 когда всё стало ясным
Найди искомый тот тандем
Вдохни безумство яви страстной
С букетом белых хризантем

Разлука не бывает вечной –
Сядь на скамеечку в саду
Дождись с изяществом беспечным
Куда под вечер я приду

* * *

Мужчины тоже устают
Да как ни странно
Им может подсобить уют
Домашней ранью

Мгновенья скачут там и тут
Попеременно
Перелопачивая трут
В другую тленность

Веретена заботы ткут
А зыбь туманна
Слегка очнёшься – тут как тут
В сетях дурмана

Вновь капель звуки об стекло
Сплошным сопрано
И мысли снова завлекло
Стезей упрямой

ВЗБУДОРАЖЕНЫ ЛАСКОЙ МАЛЬДИВЫ...

Взбудоражены лаской Мальдивы
Куртуазность изящно слепа
Ночь легка перепадами па
Западающих в волны прилива

Мы с тобою слегка учудили
Новью красок судьбу чуть подкрасив
Не забыть бы тот образ прекрасный
Как любили что даже кадили

День склонялся лениво затакт
Замерцали вечерние тени
Бдили сонмы вчерашних видений
Где закат расплескался за так...

Ирина Амлински

СТАКАН

В стране под названием СССР, в маленьком (по теперешним киево-берлинским меркам) областном городке Белгороде, на улице Чехова, дом шесть (присутствие шестерки в моей жизни не случайность, а закономерность) жила с папой и мамой шестилетняя девочка. Звали ее Ира. Это – я. Сколько себя помню, всегда мечтала вырасти поскорей и перестать быть зависимой. Зависимой от всего: от времени, от мамы, от занятий, которых у меня, дошкольницы, было множество. Инициатором и ведущим этих занятий выступала мама. Идеи посещали её спонтанно и нередко. Если мама вдруг собралась пошить костюм – меня тут же учили шить, причём совершенствованию в красоте и ровности стежков, которые я делала, не было предела. Я шила до тех пор, пока мой ручной шов не стал напоминать машинную строчку. Если моя бабушка, связав и выслав моей маме кофту, не угадывала цветовую гамму – со мной учили цвета и цветосочетания по японской системе. В мои мозги их вложили около двухсот. Впоследствии это нашло отражение в моём гардеробе: кроме черного я практически ничего не ношу. Если в «Галантерее» выбрасывали нитки мулине – я училась вышивать. К десяти годам я могла сшить брюки, умела вышивать гладью и крестиком, оформлять постельное белье и скатерти прошвой, шить рубашки, мужские и ночные «для дам». Не освоила я в совершенстве лишь плетение кружев, как теперь понимаю, лишь оттого, что мама не любила кружевные салфеточки под вазочками – ей это казалось мещанским. Но владение крючком и спицами осталось. В результате я и сейчас могу связать сумку или подтянуть стрелку на колготках. Да, что-то я ушла в сторону от стакана, заявленного в названии.

Времени свободного у меня было мало. Я стирала папины рубашки, которые полиняли из-за синей, случайно, по задумчивости, попавшей

в тазик к белым, и была выпорота, как Ванька Жуков за селёдку, которую начал чистить не с головы, а с хвоста. Дурак этот Ванька! Как чистить и потрошить селёдку, кур, включая точность разделки, исходя из анатомического строения хохлатой, я знала с пелёнок. Всё умела и выполняла на «удовлетворительно» по оценочной шкале своей мамы. А её «удовлетворительно» дорогого стоило. До сих пор, если я что-то делаю, то качественнее и быстрее меня ни одна баба не сделает. Ввиду этого, не была брошена ни одним мужем – в быту мне равных не было, в еде и в жизни не прихотлива. «Ты должна всё уметь. В противном случае, тебя никто и никогда не возьмёт замуж», – говорила всегда мама. Я и старалась, как напугивала она.

Чёрт, опять не туда нажала. В скайповом окне писать непривычно – вместо абзаца получилась отправка. К тому же никак не могу держать стаканное направление, всё время мысль уходит в сторону. Наверное, потому, что прорвало, и всплывает и рвётся наружу пластами, вкупе со всеми ощущениями и мыслями детства, а не отдельными историями. Мысли мои почему-то всегда бегали по кругу и состояли только из вопросов и их рассмотрений, один порождал другой, другой – третий, и мой мозг, пытаясь получить хоть один ответ, опять начинал с исходной точки. Этой исходной точкой в моих воспоминаниях о детстве почему-то стал стакан. Вот снова и снова возвращаюсь в тот злосчастный день, когда я разбила его. Посуду я мыла, сколько себя помню, всегда и с любовью. Упрёшься головой в шкафчик, стоя на стульчике, слушаешь шум воды, а посуда сама, автоматически моется руками. Меня этот процесс успокаивал с детства. До сих пор им пользуюсь, несмотря на наличие посудомоечной машины. Не задался день с утра – бегу на кухню мыть посуду, а, если таковой не находится, достаю из посудомойки накопившуюся и перемываю вручную. Стоя на стульчике и моя тарелки, задумавшись над неразрешимой проблемой вынужденного ожидания своей взрослости, когда, как мне казалось, уже будут ответы на мучившие меня вопросы, я уронила стакан в раковину. И он, подлый, разбился. Если бы он был первым разбитым за эту неделю стаканом! Но он, к моему великому ужасу, шёл вторым номером после вчерашней тарелки, которую я, «безрукая тварь», не донесла после ужина к раковине. Ужас, который сковал меня, описанию не подлежит. Во всяком случае, я не владею словом, как владел им обожаемый мною Булгаков. В критических ситуациях почему-то решение приходило мгновенно, и поэтому «Что делать?» Чернышевского надо мной не повисло. Мой мозг, подытожив ситуацию, выдал: разбитый стакан ни в коем случае нельзя выбросить в мусорное ведро. Однажды я уже выбросила туда что-то, в очередной раз разбитое мною, и затем долго стояла в кухонном углу на

гречке. Отбывать такое наказание было для меня несложно: подумаешь, наказание – в углу стоять! Хуже, когда тебя бьют по лицу или в деталях описывают, какое ты ничтожество и как с тобой мучительно живётся. То, что стакан в мусорное ведро не пойдёт, было принято мною безоговорочно. Мусор, собиравшийся за день, папа каждое утро выносил во двор, к выгребным ямам. Может, там был какой-то домик для мусора – не помню, но мусоропровода в доме не было. Тщательно завернув расколотый стакан в газету, я вышла во двор.

Двор был для меня чем-то необычным и привычным одновременно. Привычным, потому что там всегда происходило одно и то же: в песочнице что-то строилось, на каких-то дощато-железных сооружениях висели и лазали мои сверстники, красавица нашего двора – не помню имени – качалась на единственных качелях, а вокруг стояли всегда несколько воздыхателей, и смотрели, как задирается её юбочка при взлёте качелей наверх. Красавица любила качаться стоя. Она всегда носила короткие юбки и платьица розовых тонов, которые заканчивались там, где начинались ноги. Может, она слишком быстро выростала из них, а может, мама сэкономила на материале, не знаю. С тех пор, наверное, я терпеть не могу розовый цвет, и в моем гардеробе напрочь отсутствуют юбки и платья. Даже длинные. Самая трудновыполнимая задача, висевшая надо мной в юности, заключалась в том, что нужно было обойти принятое обществом правило, гласившее, что девушка обязана выходить замуж в платье. К тому же – в белом. С детства я считала, что белый цвет символизирует официальность мероприятия, о том, что белый цвет – символ невинности и чистоты, я узнала из книг значительно позже, и согласиться с новым для меня определением было крайне сложно. По сей день меня удивляет, почему я не задала этот вопрос своей маме? Ведь азы анатомии, физиологии и сексуальных отношений мне были объяснены еще в раннем детстве. Мама не поступила в мединститут, отдав себя химии, но знания, полученные ею в медицинской области, были тщательно переложены в мою голову, за что я ей искренне благодарна. В конечном итоге, вопрос с белым платьем за меня решила жизнь: поскольку два замужества обошлись без свадьбы, я обошлась брючным костюмом. Первое платье, исключая школьную форму, под которой я всегда носила закатанные джинсы, я надела в сорок один год. Вынужденно. Но не жалею. Человек, ради которого я приняла женский облик, захотел увидеть меня в женском наряде, после чего перестал настаивать на женской одежде и стал называть меня «Ириш». Так, в минуты особенной нежности, называл меня только мой папа. Опять меня снесло мыслью со двора...

Двор был необычным и привычным, как я уже говорила. Необыч-

ность заключалась в ощущениях и мыслях, которые появлялись во время вынужденного прохода через двор. Было внутреннее, внешне никак не проявляющееся, удивление: как им не надоест делать каждый день одно и то же? Что может быть интересного в песочнице? Сколько можно болтаться на качелях и что они все при этом ощущают? Задавая себе мысленно эти вопросы, я прошла через двор и выбросила злосчастный стакан в мусорник. Сразу стало легче, хотя долго это состояние не продлилось. Вопросы посыпались на мою голову новые, ранее никогда не поднимаемые. Почему они катаются на качелях и лазают по конструкциям, а я мою посуду и решаю вопросы «быть или не быть?» Почему им весело и интересно в песочнице, а мне – нет? Поскольку ответы сами собой извне не приходили, я тут же решила получить ответ через ощущение. Для этого потребовалось действие, и я решительно направилась к качелям. «Слезай, – было сказано первой красавице, – теперь я буду кататься». Красавица никак не отреагировала и я, схватив один из железных прутьев, к которым были приварены качели, остановила её раскачивания. То ли выражение лица у меня было в тот момент какое-то особенное, то ли сыграло роль то, что я к шести годам была девочка рослая, то ли всё вместе, но красавица, что-то фыркнув, соскочила с качелей и пошла, уводя за собой воздыхателей. Качели были свободны. Я села. Начала раскачиваться, пытаясь получить удовольствие, которое явно читалось на лице качавшейся до меня. Ничего не получалось. Я панически боялась высоты, но мужественно раскачивалась всё сильнее и сильнее... Затем на полном ходу прыгнула, что считалось даже среди мальчишек шиком, и пошла домой. Во дворе я ни с кем не дружила, со мной тоже не дружили, и что нужно делать и говорить для того, чтобы эта дружба состоялась – мне было неизвестно. При общении со взрослыми проблемы не возникали. Правда, никто первым со мной и не заговаривал, но если приходили гости, начиная беседу о чём-то, я смело вступала в дискуссию, мысленно...

Надо пожаловаться в систему управления скайпом о малой величине окна... Да, так я мысленно сформулировала ответ, который, по моему мнению, был особенно удачным и выглядел по-взрослому. Как правило, знакомые продолжали тему уже не между собою, а со мной. Мне было не просто приятно, наступал мой звёздный час. Я напрягала все свои коротенькие мыслишки, собирала все свои знания, чтобы показать своей маме, что я, ведя разговор со взрослыми, не такая уж и «тварь дрожащая», а тоже право имею. Это отступление я отношу к прерванному мной вопросу о дружбе, к пониманию того, что со мной никто дружить не захочет. Я – иная, и ничего с этим явно выраженным, мягко говоря, дефектом, я поделаться не могу. Я шла домой через двор, в полной уверен-

ности, что никому до меня нет дела. Но не тут-то было... Оказывается двор жил еще одной гранью, мне не известной, – доносами.

Пол был тщательно подметён во всей квартире, а на кухне вымыт. Все задания, оставленные мне на день, были сделаны. Не подумай, что мне задавали столько дел, сколько Золушке. Совсем нет. Их было немного, но времени мне всегда не хватало. Оно всё уходило на мыслительный процесс. Я всё время думала. Уже будучи взрослой тётёй, опрашивая всех знакомых о детских воспоминаниях, я поняла, что их память коллекционирует больше впечатления, чем мысли. Мой мозг работал как-то по-другому. Впечатления меня не интересовали. Картинки внешнего мира проходили сквозь мою жизнь, не оставляя никаких следов. В моём мозгу решались только внутрисемейные проблемы. Мозг кипел. Он всё время напряжённо думал. Думал на таких оборотах, что я забывала есть, пить, делать какие-то вещи, которые мне необходимо было сделать, но которые я никак не могла начать, потому что мне мешали мысли. Когда я спохватывалась, день подходил, как правило, к концу и я, страшась расправы за невыполненные поручения, включала космическую скорость и успевала сделать всё до прихода мамы. Эта система работы у меня осталась по сей день, несмотря на то, что я не живу с мамой вместе более трех десятков лет. Она запустила какой-то механизм у меня в голове, и я не могу его отключить. Опять меня снесло на обочину мыслей. Может, я до сих пор боюсь этого стакана? Мне кажется, что, если расскажу о нём тебе, мне станет легче и прошлое отпустит меня... Но ведь я уже рассказывала о нём мужу, но не отпустило... Значит, он не любил меня? Или любил, но не смог показать мне свою любовь? Или я её не смогла принять? Или не увидела? Может, для него это выглядело надуманным? Может, он мне не верил? Видишь, сколько вопросов нужно решить только сейчас, только в эту минуту... А ведь у меня за плечами сорок восемь лет... Даже если я их начала задавать в трёхлетнем возрасте, всё равно срок огромный. А ответ я всё-таки нашла. Поэтому и села за эти воспоминания о стакане. Ответ был прост: я *не верила* ему. Поэтому мне не стало легче от рассказанной стаканной истории. Я не помню, может, он мне сказал что-то не так, может, не то, может, не с той интонацией... Но моя интуиция сказала: «Не верь!» И я не поверила. А преданна была ему, как пёс. За возможность заработать, которую он дал мне, за сына, за то, что вывез меня силком в Германию, и сын не попал в армию, за прекрасную дочь, которую я ему родила, за то, что позволил завести собаку... за то, что... за то... за всё. Когда его не стало, думала, что уйду на тот свет вслед за ним. С урной, зажатой между ног, смотрела фильмы, которые он любил, вместе с урной читала, делала всё вместе с ней.... Не захоронила потому, что умер зимой...

холодно... как он там будет в этом холодрыльнике... а я... что же я буду жить на кладбище... а дети.... Видишь, что делает один стакан, не вовремя разбитый в детстве... Он разбил мне жизнь. Я точно помню, что первая мысль, которая промелькнула после того, как я скрыла следы своего преступления, была о том, что я теперь «нечистая». Я не смогу быть счастливой, потому, что свершилось моё первое преступление... Но об ощущениях – позже. Сейчас о злосчастном стакане. На каком моменте я остановилась? Вспомнила. Да, я как торпеда носилась по квартире, убирая, моя, раскладывая вещи и всё время проверяя себя, все ли я сделала правильно... Ведь скоро придёт мама...

Наступил вечер, пришла с работы мама, и с порога началось... Всё как обычно. Спектакль под названием «Вечер» был написан и утверждён ею раз и навсегда, и разыгрывался на квартирной сцене безупречно. Мама была красива и талантлива, она должна была бы стать режиссёром, на худой конец, великой актрисой. Ей бы аплодировали стоя. Несмотря на ужас, охватывающий меня во время вечернего представления, я точно помню, что в какие-то моменты любовалась и даже восхищалась ею. «Театр начинается с вешалки», – сказал великий Станиславский. В нашей квартире вешалки не было, поэтому наш спектакль начинался с входной двери.

Дверь в нашей белгородской, а в последствии и киевской квартире имела много функций, помимо основной: она была чертой разделения внешнего и внутреннего миров. У всех знакомых мне семей были квартирные двери, но наша – была особенной. Она всегда выступала частью мизансцены и служила главным элементом при выяснении отношений: ею хлопали в нужное и важное, по представлению моих родителей, время, за неё выставляли друг друга и меня, со словами: «это больше не твой дом», «ничтожество не имеет права находиться в этом доме» и много еще различных функций выполняла наша дверь. Например, мы ею кололи грецкие орехи... В более раннем детстве я искала причину «страшности» нашей двери в чисто внешних отличиях, сравнивая нашу дверь с дверьми соседскими или дверьми знакомых. У них тоже, как ни странно, были двери, по большей части – некрасивые, но наша казалась мне самой зловещей, я смотрела на нее с придыханием, уважением и страхом. Ключ от двери, а его мне повесили на коричневом ботиночном шнурке на шею где-то в трёх или четырёхлетнем возрасте, чтобы я могла прийти домой после дача, (я ходила уже в семь месяцев), я не потеряла ни разу. За всю мою сорокавосемилетнюю жизнь. Поэтому я хорошо понимаю, что такое «ключ от квартиры». Странно, уважение к ключу булгаковское и моё схожи, но, как известно из различных источников, в его семье царил благополучие, но ведь и

моя семья со стороны тоже считалась благополучной... Зловещая дверь, начав скрежетать «опять несмазанным твоим папашей» замком, открылась и с порога в меня впились мамины ведьминские глаза. «Что, – сказала она страшным голосом, – думала, удастся меня обдурить?» Я, как могла, делала вид, что земля не уходит у меня из-под ног. Я поняла в секунду, что маме известно о разбитом стакане, но мой мозг отчаянно пытался путём вычисления найти источник информации, который донёс эту весть до ушей моей всезнающей мамы.

Опять окно закончилось, а я никак не дорасскажу о стакане, который преследует меня всю жизнь. Когда мои дети что-либо портили или разбивали, специально или случайно, и при этом пугались, я тут же говорила, что давно собиралась выкинуть эту вещь, и всё, что ни бьётся и ни ломается – всё к счастью, и что обои, на которых появлялись росписи купленными папой новыми фломастерами, я замажу беленьким и ничего не будет видно. «Ты развращаешь детей», – говорил мой муж, уводя меня в другую комнату. «Стакан», – говорила я ему, жалобно заглядывая в его глаза, и он, зная мою историю, прекращал меня воспитывать.

«Я не понимаю, – сказала я маме, – ты о чем?» – И храбро взглянула ей в глаза. Должна тебе сказать, что глаза у моей мамы необыкновенные. Во-первых, они красивые, во-вторых – огромные, а в-третьих, не помню, рассказывала тебе или нет, – её бабушка была ведьмой и носила девичью фамилию – Остроглядова. Моей бабушке, маминой маме, тоже передался этот взгляд и, если она недобро смотрела в спину уходящему, – редкий человек не спотыкался. Мама, до глубины души возмущённая моим ответом, схватила меня и поволокла (чуть было не написала, как крыса Шушара Буратино в подполье) на кухню. Я себя и чувствовала Буратино, подсознательно, по сценарию, ожидая появления моего папы Карло-Лёни, но не тут-то было. Мама подтащила меня к раковине, под которой обитало мусорное ведро. «Давай, показывай», – сказала она, тыча моей головой в направлении мусорного ведра. Я послушно стала перебирать мусор, показывая и перечисляя предметы, найденные там. Конечно, я выбирала ненужные предметы, и тогда ведро было вывернуто на пол. В разбросанном по полу мусоре мама взглядом выхватила маленький осколок, который не был вынесен на помойку. Предатель-осколок остался в раковине и был обнаружен мною только после того, как вся посуда была вымыта и раковина освободилась. Второй раз мне не хотелось проходить через двор, и я выбросила его в ведро. Он был маленький, не больше ногтя, и казался мне совсем незаметным, тем более, что я его глубоко зарыла в мусор. «Что это?», – зловеще прошипела мама. «Стекло», – сдавленным голосом ответила я, но ничего не сказала

больше. «Так ты ещё и издеваешься надо мной, сволочь, гадина... всю кровь из меня со своим отцом выпили, недоумки... смерти моей возжелали...» Вечер закончился постановкой меня в угол, на соль. Перед этим было таскание за волосы, заламывание рук и жалобы Богу на то, как я заела ей жизнь. Пришёл папа и поставил в угол. «Это не наказание! – кричала мама. – Она даже прощения не попросила!» «Ниночка, может, она случайно разбила, – утихомиривал её папа, – что у нас стаканов нет больше?» Мама дала себя успокоить не сразу, прощения я не попросила даже под давлением папы. Я не считала себя виноватой. Вечер удался.

Отстояв положенное время в углу, в котором мне было хорошо и спокойно, дойдя на ватных, затёкших ногах в комнату, я тут же совершила ещё одно преступление: взяла с трюмо жёлтого зайца и спрятала его к себе под одеяло. Нам с ним предстояла долгая беседа о моём горе, в конце которой, по моему обычному сценарию, заяц соглашался уйти со мной из дому и больше никогда не возвращаться. Очередное «преступление», как называла мои проступки мама, состояло в том, что мне было строжайше запрещено брать мягкие игрушки (из них в моей белгородской жизни был только жёлтый заяц и кукла, которую я ненавидела) в постель, так как это «приводило ко всяким сексуальным нарушениям в половом воспитании ребёнка». В то время мама увлекалась Фрейдом. Заяц, естественно, был определён ею как «мальчик», находящийся в постели «твоей дочери», – так поясняла она далёкому от фрейдистских выкладок папе, пытавшемуся сохранить моё право на детство. Но о жёлтом зайце – как-нибудь в другой раз.

Елена Зельгер

АРИАДНОЙ НА ВЕКА

Марине Цветаевой

О, Ариадна, нить дающая,
Одной надеждою жива.
О, женщина, у входа ждущая.
О, лабиринта кружева.

Пружинит нить, не рвётся звонкая.
У лабиринта – зев отверст.
Ты с черепаховой гребёнкою,
Ты с вышивкой под гладь и крест.

И нет креста – одно знамение.
Покуда звук – жива Душа,
Морской ли пеной вдохновенною,
Иль птицей огненной кружа.

Покуда звук, покуда плачется,
Поётся, движется пока,
Не назовут тебя растратчицей,
Но Ариадной на века.

ЛАБИРИНТОВЫЙ ЦВЕТ

Марине Цветаевой

Тьма и страх –
Лабиринтовый цвет.
Страх и эхо –
Лабиринтовый голос.

Мох –
 Лабиринтовый вздох.
Холод,
 голод.
Лёд на стенах,
 В ушах тишь.
Если стоишь –
 Стоишь не дышишь.

За движеньем
Не следует свет.
Всё не так в лабиринте,
Слышишь?

Пясть от судороги светло.
Ох! Не выронить,
Значит –
 выжить.

Там на улице,
Там светло.
Средоточие жизни –
в нити.

Жжёт ладонь
Горяча с любовью-
ю дарованная
Свобода,

Жизнь!
Ещё один поворот!
Прочь!
Из лабиринто-чертога!

ПЕНЫ ПЛЕН

Марине Цветаевой

Стирка – до дыр!
Руки в кровь стёрты.
Ночь – командир:
Марш-бросок аорты!
 Лей пены плен!
 Выплесни в стужу.
 Лучший обмен:
 Стужи – на Мужа!
– Так не бывает!
Побойся Бога!
– Буду жива я –
Найду дорогу!
 Вот и готов
 Чай (после стирки).
Сколько томов!
 Канули в ми́рском.
Перлы-слова
Вылиты с пеной!
Сколько молва
Грязного пела.
 Глянь, голубь – бел
 И, не измажешь.
 Если не смел –
 Полезай в сажу.
Жёг чёрный зрак –
Ан, не боится!
Голод, мор, мрак,
Всё голубицей!
 Стужа, жар, жуть!
 Всё водоёмом.
 И не свернуть –
 Жизнью ведома.
Лес, бурьян, гать!
Всё колокольцем.
Не расчесать
Тех кудрей кольца.
 Не удержать,
 Как в руках птицу...

[143]

Ди П 19 / 2015

Поэзия и проза

Жалко до слёз,
Хоть не сестрица...

ОСОБОЕ ПРОНИКНОВЕНЬЕ

Молчанье – твёрже обещанья.
Перед молчаньем – трепещи.
Молчанье – это не прощанье,
За многословие прости.

Молчанье – камень преткновенья.
Молчанье – ДА, и НЕТ, и ПУСТЬ.
Молчальное обыкновенье
Молчальника – не лёгкий путь.

Молчанье – паутиной вязкой.
В молчанье кроется гроза.
Молчанье – яд, дорогой тряской.
Молчанье – ад, – ведь всё сказал.

Молчанье – словно откровенье.
Когда молчат – в глаза смотри!
Особое проникновенье...
Молчи, молчи! – Не говори...

ПТИЧЬИ БОГИ

Торопливые дожди,
Непокорные дороги.
Над полями птичьи боги
Плачут – лето позади.

Я от быстрых дней учусь
Чтить осенние приметы,
Одурманенная летом,
Лью в ладони неба грусть.

Неизбежность – осень ждать...
И в преддверье новоселья
Мёд осеннего веселья пить,
И ветреную рать,

Птичьих ангелов, кормить.
Я люблю работу эту
И по бытия приметам
Осень гнать и осень длить.

Обозначу круг, в моё –
Не вторгайтесь государство.
Прочь полынное коварство!
Прочь дурманное шитьё!

[145]

МОТЫЛЁК

(миниатюра)

Моей бабушке Мусе

Конечно же, как и у всех детей, у меня было две бабушки. Одна, всегда рядом – мамина – Катя, нечто неотъемлемое моё, родное и понятное.

Другая, Муся – папина, всегда фея, неуловимо ускользающая, волшебная.

Муся это Мария – весёлое облако белых волос в светлом проёме окна. Вечно прихохатывающая и от этого смеха звенящая изнутри. У неё ласковая, почти невесомая, слишком бледная и слишком лёгкая рука. Она гладит меня по голове. Играет со мной?

Ерошит мне волосы и улыбается. Почти ничего не говорит и смотрит задумчиво. Глаза серые, печальные, тревожные. И вообще, она странная – отчего-то, всё сидит и никогда не встаёт, не встречает, не угощает и не провожает нас, не отходит от окна. Почему? Но она нравится мне. Милая бабушка-мотылёк. Папина мама. Разве у моего такого большого папы может быть мама? Ведь мамы есть только у детей? Эти вопросы занимают меня только во время посещения. Потом они улечиваются, как бумажно-мебельный, душно-старинно-музейный запах с которым я выхожу из квартиры, где в длиннющей комнате теснятся шкафы и буфеты. Их огромные звериные лапы охраняют это сумрачное царство. Деревянные исполины – они замерли, они не дышат, и лишь одно существо трепещет у окна: бабушка-мотылёк, пойманный в ловушку.

Она улетела!

Мне сказали, что бабушки Муси не стало, но я знала наверняка – она выбрала момент и молча выпорхнула из окна, нарочно забыв на стуле усталое заколдованное тело.

Елена Ямова

КИСТОЧКА

Сказка

Была суббота и, как обычно по выходным, на многих площадях некоего города появлялись блошинные рынки. Сегодняшний день не стал тому исключением. И к удивлению всех, как никогда за последние месяцы, погода выдалась благосклонной к прогулкам, позволив использовать этот день для приятного времяпрепровождения. Люди бездумно бродили по рынку, наслаждаясь весной. А она уже давно пробудила птиц, те оголтело горланили прошлогодние заученные серенады, беззастенчиво перебивая друг друга.

Ветерок теребил неокрепшие нежные веточки деревьев, солнце освещало зелень, и от этого листва становилась ещё ярче. Рынок жил своей обыденной жизнью. Везде стояли ряды столов, заваленные товаром. Тюки, сумки иногда были просто свалены на мощёную камнем площадь. Среди всего этого под молодой липой стояла картонная коробка, доверху набитая всяким хламом. Там смиренно лежали миски, надколотая ваза, подсохший тюбик краски, крышечки, стаканы, треснутая палитра, ложки и всякая другая утварь. А на самом верху, как апофеоз всей ненужности, лежала Кисточка, полностью стёртая и живописно замазанная, как казалось, всеми существующими и несуществующими переливающимися оттенками краски, многослойные линии которой придавали ей объёмность и уродующую кривизну.

Все обитатели коробки покорно лежали, тесно прижавшись друг к другу, в ожидании теплого прикосновения рук и лишь только обрывок старой газеты беспечно трепетал от легкого прикосновения ветерка.

Покупатели, рассматривая предметы, иногда восхищённо вздыхали, иногда просто изумлённо откладывали в сторону, пытаясь найти нечто этакое, способное их обрадовать.

К полдню Кисточка была уже на дне коробки, ощущая себя ненужной и беспомощной. Осознавая своё положение, она становилась всё печальнее, но внутренняя чистота и гордость не позволяли ей показать окружающим свою неуверенность. Потом рядом с ней оказался Тюбик с подсохшей темперой и треснутая Палитра. Они лежали тихо, каждый думая о своём.

Молчание прервала Палитра, которая протяжно, почти навзрыд, посоветовала о своей ненужности.

– Мне кажется я уже не та, что была, – слёзно пробормотала она.

– Да, наша творческая жизнь закончилась, добавил печально Тюбик, но у тебя есть будущее. Смотри, как хорошо ты прикрыла дырку в коробке, – продолжил он оптимистично.

– Да, только и остается в этой жизни закрывать брешу, – ответила пренебрежительно Палитра.

Только Кисточка лежала неподвижно и молчала. Она не любила говорить, она умела понимать всё без слов, и выражать всё движением. Кисточка тихо лежала и вспоминала свою жизнь. И каждое неуправляемое мгновение казалось ей неповторимым, фееричным. Это не было её воображением. Она помнила и чувствовала состояние художника, она была его продолжением. Она помогала ему во всем. Иногда, сжимая свой ворс, она старалась впитывать меньше тёмной краски, и от этого его картины излучали больше света. Иногда наоборот, распушившись, она танцевала по полотну, оставляя за собой шлейф фантазий. Иногда она сопротивлялась, тормозила, пульсировала, и от этого мазки становились более чёткими, яркими и всё, что они делали вместе, создавало впечатление подвижности и изменчивости света и гармонии, понятной только им одним...

Но вдруг коробка закачалась, и всё, что было в ней, оказалось на прохладных камнях площади. Кисточка вновь оказалась наверху.

Это Владелец решил избавиться от ненужного хлама. И первое, что ему попало в руки, была Кисточка. Она уже предчувствовала это. И поэтому последний полёт в мусорный бак был, как никогда, нежным и правильным. Совершив в воздухе прощальный пируэт, она исчезла в чреве мусорного бака, попрощавшись с миром незамеченным никем прозрачным мазком.

Никто теперь не вспомнит и не узнает, какой была эта Кисточка, но работы художника украшают многие музеи мира. И быть может, лишь только полотна помнят и хранят радость соприкосновения...

ТРУБА

Сказка

[148]

Д и П 19 / 2015

Жила-была Труба, высокая, круглотелая. Она была сложена из жёлтого кирпича. Родилась она на Осенней улице номер 4, где и жила по сей день. Находясь на круглосуточной вахте, она возвышалась над крышами домов, зорко обозревая окрестности. Труба была ориентиром, маяком, одним словом достопримечательностью, которую знали все в округе.

«Там за Трубой свернёте налево или направо», – говорили незнакомцам, указывая путь. И Труба гордилась этим.

Её иногда не замечали проходящие люди, ведь прохожие никогда не смотрят в небо, когда куда-то спешат. Но стоило им оказаться подальше, на автобусной остановке, скучая в ожидании автобуса, они всегда поднимали на неё глаза. А она раньше всех видела подъезжающий автобус, и на своём, непонятном людям, языке сообщала о его приближении. Но те не понимали её и лишь собаки всегда радостно повиливали хвостами. Заметив автобус, ожидающие суетились, и, конечно же, сразу забывали о Трубе. А она гордо стояла и ждала следующий, а потом следующий прибывающий автобус, зная всё недельное расписание наизусть.

Вот уже много лет Труба не работала. Но от этого её жизнь не переставала быть интересной. Она любила наблюдать за магазином, находящимся рядом, за людьми, заходящими в него. Она знала всех, живущих рядом, любила заглядывать в окна, помнила множество тайн и умела хранить их, сострадала, но, к сожалению, не могла ничем никому помочь.

Труба любила свою тень. В ясные безоблачные, солнечные дни, она, как стрелка по циферблату, бежала по черепичным крышам домов, по деревьям, кустам цветущих роз, иногда переплывала через лужи, а то и скользила плавно по заснеженным дорожкам, цепляясь за обледенелые ветви деревьев. А ночами тень исчезала, за исключением тех дней, когда полная высокая луна ярким светом освещала Трубу, и металлические ступеньки отбрасывали зловещую, зубастую тень, которой сама Труба частенько пугалась. Любила Труба и звёздное небо, с каждым годом становившееся всё ближе

Рядом с Трубой росла берёза, она подрастала и мечтала о том, что когда-нибудь станет выше Трубы. Труба радовалась её росту и защищала, как могла, от сильного ветра, и так же с нетерпением ждала, когда берёза станет выше.

Но однажды рядом стоящий магазин закрыли, и Труба загрустила, она вспоминала посетителей, многих из которых знала с самого рождения, теперь они больше не появлялись здесь. Но, к счастью, в это

время появились у Трубы новые и верные друзья – Ласточки, которые свили на ней гнездо.

Они рассказывали Трубе о дальних странах и городах. О высоких соборах и о поющих трубах в них. Это показалось нашей Трубе очень знакомым, и она вспомнила одну из прожитых ею Рождественских ночей, когда холодный ветер гулял в её теле, и она издавала чарующие звуки, сливавшиеся в унисон с торжественным звоном колокола стоящей рядом церквушки. В небе летали бабочки снега, они облепили трубу со всех сторон, укутав её в горностаевую шубу и увенчав голову пышной снежной короной.

Труба любила все времена года. Но последние годы ждала весны и прилёта Ласточек. В этом году весна была ранней, и к появлению птиц всё уже давным-давно позеленело. Лето было жарким, и ничего не предвещало больших перемен. Ласточки как всегда беседовали с Трубой, птенцы уже подросли и научились летать. Каждый день они готовились к долгому осеннему перелёту, кружа над крышей безжизненного магазина.

Но в начале августа ранним утром пришла беда, заброшенный магазин окружили металлическим сегчатым забором и через пару дней приступили к его сносу. Ласточки, как и Труба, печалились по этому поводу, ведь сколько гнезд можно было бы свить под сводами большой крыши.

Вчерашний суховей сменился прохладным утренним ветерком, потом пошли проливные дожди, прибив витающую в воздухе пыль от разрушаемой постройки.

Здание было большим, работы продолжались до конца лета. Когда Ласточки засобирались на Юг, от старого магазина остались только руины. Птицы простились с Трубой, сделали прощальный круг над развалинами и улетели. И Труба осталась стоять одна в окружении валяющихся кирпичей и арматуры. Она, как всегда, радовалась каждому встречному, каждой пробежавшей собаке, пролетающей птице. Люди, подходя к автобусной остановке, теперь обсуждали, что будет стоять на пустующем месте, и что будет с Трубой.

«Кому она мешает», – говорили одни. «Кому она нужна», – возражали другие.

И только теперь в первый раз Труба задумалась о себе. Что будет с ней завтра? Но сегодня был такой прекрасный день, что о грядущем не хотелось и думать.

Лёгкий осенний ветерок раскачивал ветви чуть пожелтевшей Берёзы.

– Смотри, – обратилась Труба к Берёзе, – наверное, на будущий год, ты вырастешь до меня!

– Ой! Как хотелось бы... Быстрее бы! – ответила радостно Берёза.

– Не спеши, всему своё время, – заметила мудрая Труба.

А ночью Ветерок, Береза и Труба на Осенней улице номер 4 устроили концерт. Ветер носился по полому телу Трубы, та мелодично высвистывала мелодию, Береза в танце шелестела листвой. Только Луна мрачно смотрела сверху.

К утру Ветерок потерял силу, все успокоились и уснули.

Утром Труба проснулась от непонятного и непривычного ей шума. Открыв глаза, она увидела перед собой Человека, держащего в руках отбойный молоток. Вокруг стояли машины с подъёмниками, суетились рабочие.

– Прощай Берёза! Сегодня исполнится твоя мечта, – тихо, еле слышно промолвила Труба. – Мы никогда не знаем, что нас ждет завтра...

А Берёза, как ни было ей тяжело, понимала, что её мечта сбывалась, и с каждым падающим вниз кусочком Трубы она становилась всё выше и выше. Вначале Берёза старалась опустить ветви вниз, чтоб не быть выше, потом что-то треснуло, и к вечеру над руинами возвышалась гора кирпичей, в темноте напоминавшая огарок большой сгоревшей свечи, и рядом стояла поникшая, с надломленной верхушкой, Берёза.

А весной прилетели Ласточки. Они сделали круг над пустырём, не обнаружив ни Трубы, ни Берёзы, и отдохнув на металлическом заборе, улетели неизвестно куда.

Татьяна Устинская

В РИТМЕ ОСЕНИ

Листаю книгу октября
под листопадное кружение,
не нахожу в нём вдохновенья
уже который год подряд.

А листья, в воздухе паря,
ложатся чинно на аллеи,
судьбе противиться не смея, –
ей отдавая свой наряд.

Увы, домой идти пора, –
ведь темень всё накроет скоро,
а город – золота убором,
в угоду дням календаря.

Мы всюду ищем свет тепла,
хоть не становимся моложе,
но нам приятно слышать всё же,
когда догонит похвала.

Сегодня праздник Хэллоуин –
колдуньи нацепили маски, –
не тешат нас чужие сказки,
когда в душе разлился сплин.

Проснувшись, подойдя к окну,
на солнце утреннем купаясь,

от скверных мыслей избавляясь,
пьём, как лекарство, тишину.

ПОЛНОЛУНИЕ

Кружится полная луна,
дорогу к дому освещает.
Меня она лишила сна
и мысль о счастье возбуждает.

И я всё жду тебя давно,
пусть небо светит лунным диском,
нахально дразнящим окно, –
Прошу тебя, придвинься близко.

Ведь мы замечены судьбой, –
напрасно в сердце зреет смута.
Ничто не вечно под луной, –
нам эта дорога минута.

МОЙ МАРТ

Зачем вся эта суета
И невозможность оглядеться?
Куда весенняя вода
Уносит боль и тяжесть сердца?
Я ведь уже немолода
И нет плеча, чтоб опереться.

Нас подгоняет месяц март, –
Успеть, схватить, – потом не будет.
Теперь не время для прелюдий,
И бесполезно словоблудье.
Внимание! Вперёд! На старт!

Но спутал планы гриппа вирус.
Остановись и отлежись!
На чью надеешься ты милость?
Кому торопишься служить?

Всё в одночасье изменилось, –
Такая мартовская жизнь!

НЕЛЁГКОЕ РЕШЕНИЕ

Я проношу свою мечту
сквозь тёмный зимний город.
Все «за» и «против» я учту, –
нелёгко путь под гору.

И до вершины я дойду, –
зима ж не будет вечной.
Огонь любви не дам задуть
сомненьям бесконечным.

Мне вера прибавляет сил, –
упорством и терпеньем.
Я верю, – Бог меня простил,
и дал благословенье.

Не остановится рука,
а вечные сомненья
не охладят страстей накал,
раз приняла решенье.

СОВЕТЫ ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ

«Не стоит себя без конца упрекать,
чужие проблемы усердно решать,
держат в голове все мирские заботы, –
побольше – комфорта.
поменьше – работы.
Себя не терзая напрасной тревогой,
«горячие угли» руками не трогай,
живи осторожно, смотри позитивно, –
ведь это несложно».
Но очень противно.

Галина Фирсова

БЕССОННИЦА

Месяц в гуще ветвей хоронится,
Звёзды пьются в окна бесстыже.
Ночь терзает опять бессонница
И лениво во времени движет.

Навалилась тяжёлой тушею,
Шепчет бред ядовитый на ушко,
Я гоню её прочь, не слушаю,
Зарываясь поглубже в подушку.

Жду, нахлынут видения томные,
Заслоняя тревоги, сомненья,
И я в память — реку бездонную
Погружусь, испытав облегченье.

Лица, споры, стихая, стираются.
Много рук я протянутых вижу...
Но одни вниз тянуть пытаются,
А другие поддержат, чтоб выжить.

В круговерти событий и мнений
Различать эти руки нам тяжко,
Только беды и вихри смятений
Служат лакмусовой бумажкой.

Как мне больно в одно мгновение
Осознать вдруг, что тот кто был рядом,
Оды дружбе пел с вдохновением,
Встал с другой стороны баррикады.

От обид и непонимания
Рвутся узы и рушатся семьи.
С кем едины душа, сознание,
В ряд один мы становимся с теми.

Проплывают знакомые лица
Помутневшей от грусти рекою,
Бьются мысли израненной птицей,
И лишают и сна, и покоя.

[155]

ОСЕННИЙ МИНОР

Небо затянуто серою пеной,
Грустная осень выходит на сцену.
Занавес влажным спустился туманом,
Ветер-пастух гонит стадо баранов.

Те, убегая, толкают друг друга,
Слёзы-дождейки роняя с испугом.
Тропка от лужиц зеркальных промокла,
В окнах слезятся поблекшие стёкла.

Плачут кусты в опустевшей аллейке,
Мокнет в саду сиротливо скамейка.
Зонтиков пёстрых раскрытые шляпки –
Будто грибы на асфальтовой грядке.

Первые листья кружатся печально,
Ветви во след им кивают прощально.
Лишь вороньё в них картаво судачит.
Лето уходит, вздыхая и плача.

ПОДАРОК

Красивый букет нежно-розовых лилий
В честь женского дня сын и внук подарили.
Цветы я поставлю в хрустальную вазу,
И сердцу тепло, и отрада для глаза.
Играют бутоны мерцающим светом
И радуют душу сыновним приветом.
Плывёт от них запах дурманящий, пряный,

И в прошлое память уводит упрямо.
Свой первый подарок – тряпичного мишку
Принёс мне из детского сада синишка.
Смешные поделки своими руками
С частичкой души нёс он в праздники маме.
Рисунки, гербарий, игрушки, цветочки
Я в сердца укромном храню уголочке.
И искренность эта с наивностью милой
Была для меня чудодейственной силой.
Готова была одолеть все преграды,
Чтоб радость в глазах детских стала наградой.
И в праздник, и в будни, в жару и морозы
Мне сын приносил то ромашки, то розы,
Шары хризантем и тюльпанов букеты...
И жизнь была этой любовью согрета.
Сегодня цветы дарит взрослый мужчина,
Сжимая ручонку двухлетнего сына.
И нежная радость на сердце ложится,
Украдкой смахнула слезинку с ресниц я.
Как сладостно знать, что нужна и любима,
И пусть все невзгоды проносятся мимо.
Букет нежных лилий к лицу прижимаю,
И сына тепло с ароматом вдыхаю.
Целебный бальзам мягким шлейфом струится
И счастье в глазах материнских искрится.

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Снег на ветки лёг несмело,
На дома накинул шаль,
И веселой змейкой белой
В подворотню забежал.

Тротуары дворник чистит
А снежок летит, кружась,
Легким облачком искристым
На ладони мне садясь.
Я ловлю его губами,
Будто первый поцелуй,
И от счастья замираю
Под потоком снежных струй.

От любви душа ликует.
Мчит снежинок хоровод.
С детской радостью смотрю я
На скользящий их полёт.

И, вдыхая хлад морозный,
Я могу так век стоять,
Наблюдать седые звёзды,
Что волос украсят прядь,

Ощущать прохладу капель,
Что осталась на губах,
И смотреть на чудо-скатерть,
Что бугрится на камнях.

На столбах по белой шапке,
В серебре деревья спят,
Черной кляксой скачет галка,
Оставляя ёлок ряд.

И смешной щенок тревожно
Озирается на всех,
Ставя лапы осторожно
И пофыркивая в снег.

«Что тебя пугает, Рыжий?
Всё вокруг так хорошо!
Может, снег впервые видишь?
Ты же мал совсем ещё».

Белый пух легко и нежно
Застилает мир добром,
И лихую безмятежность
Будит в сердце он моём.
Нежно плечи обнимает,
Дарит счастья теплоту,
На щеке слезинкой тает
И целует на лету.

Всё захлёстывает властно
Светлых чувств водоворот.

И сегодня жизнь прекрасна!
А ведь просто – снег идёт.

СКОРБЬ

Я брожу по тенистым улицам,
Площадям и кварталам Берлина,
Где в мансардах окошки щурятся,
Затеняясь узорной лепниной.

Под ногой булыжник горбатится,
Будто хочет, чтоб я вдруг споткнулась,
Чтоб застыла на миг, попятилась
И к истории в мыслях вернулась.

Кто оставил след в городе этом?
Эренбург? Пастернак? Цветаева?
Кто в толпе, угоняемой в гетто,
К этим окнам взывал отчаянно?

На латунной плите вдоль дороги
Имя, дата... Но что это значит?
Вот ещё одна... Как их здесь много!
Чьи же души под плитами плачут?

Дом застыл, как свидетель безмолвный,
Чёрным стал тогда не от старости,
Помнит, как из проёмов оконных
Вниз бросали людей без жалости.

Нет покоя душе замученной,
Не должно быть такое забыто!
Эти плиты слезами жгучими
И еврейскою кровью политы.

Сердце сжалось от скорби невольно,
Над плитой я, склонившись, застыла.
Сколько горя здесь скрыто и боли.
Пусть давно, но ведь всё это *было*.

Мы живём в век прогресса науки,
Годы бед нам уроками стали.

Я молюсь, чтобы дети и внуки
Страх войны никогда не узнали.

Всюду смех и весёлые звоны,
Боль утихла, годами прикрыта,
Но я слышу тяжёлые стоны,
спотыкаясь о скорбные плиты.

[159]

Стихи для детей

ВОРОБЕЙ

Среди стаи голубей
Скачет серый воробей.
Птичка шустрая проворно
Подбирает крошки, зёрна.

Громко голуби воркуют:
«Кто тут корм у нас ворует?»
Воробей на ветку сел:
«Чик-чирик! Кто смел, тот съел!»

СЛОНЁНОК

У слонёнка я спросил:
Где он хобот отрастил?
А слонёнок засмеялся:
«Мне от мамы он достался»

МЕДВЕЖОНОК

Медвежонок жил на свете,
Был смешной он, как все дети,
Любопытный, косялапый,
И сосал, как соску, лапу.

ВЕРБЛЮД

Интересно знать ребятам:
«Почему верблюд горбатый?»
Головой верблюд качает:

«Горб ничуть мне не мешает,
Он, как ранец, на спине,
И в пути всегда при мне».

КОТЁНОК

Рыжий маленький котёнок
Вдруг решил, что он тигрёнок.
Выгнул спину, зарычал.
Только голос вдруг пропал.
Он не понял, что случилось,
Только «МЯУ» получилось.

Вениамин Палагашвили

БЕССОННИЦА

Со своею бессонницей сжившись давно,
не томлюсь ожиданием сна:
персонажи любимого мною кино
оживут на экране окна.

Я увижу вблизи дорогие черты
тех, кто явились для встреч,
с ними, возникшими из темноты,
поведу беззвучную речь.

Мне расскажут они о житье и бытье
тех, которых я знал,
и, по душевной своей слепоте,
походя растерял.

Я спрошу о родных пустырях -
то ли сеяли, что взошло?
Или, как водится в наших краях,
больше в песок ушло?

Я расскажу им, как время терял
и растрчивал второпях,
как я мало нашёл из того, что искал,
потому что искал впотьмах.

Я открою, что прятал в своей немоте,
не доверившись никому,
не решаясь признаться в дневной суете
даже себе самому.

Но несносен порой визави за стеклом,
так, что слушать его невмочь.
Он, похожий точь в точь на меня лицом,
вновь появится в эту ночь.

ГОЛУБИ С ТЕЗИКОВКИ

Завтра будет воскресенье -
долгожданная пора.
Я не сплю от предвкушенья,
дотерпеть бы до утра!

Птичий рынок, Тезиковка,
голубиные торги.
Здесь профаном быть неловко –
соберутся знатоки

птичьих правил поведенья,
данных вольным летунам,
без различий и деленья
по породам и цветам:

не положено, чтоб голубь
отказался от птенца,
чтобы мать — голубка в злобе
улетала от отца.

Поднимаясь выше, выше
до невидимой черты,
не добычи голубь ищет –
он желает с высоты

поглядеть из поднебесья
на земную благодать,
повидать на белом свете
то, что людям не видать.

А вернувшись в голубятню,
он на птичьем языке,
мне понятном, всё расскажет,
что увидел вдалеке.

Может быть, от тех рассказов
через сорок с лишним лет
я решился, пусть не сразу,
выбрать между «да» и «нет».

И теперь меня далёко
занесло от прежних мест;
не летит ко мне с востока
белый голубь — благовест.

[163]

ГРАНАТ

Плод граната — символ жизни
на Востоке.

Напрасен труд листать трактаты -
желающим познать
природы чудо, плод граната
достаточно разъять.

В нём стеснены рубины зёрен
в извилистых рядах,
в нём дух живёт единокровья,
как в древних племенах.

В живом пространстве, разделённом
подобием границ,
весь мир! В нём, тесно населённом,
нет посторонних лиц.

Есть плоть и кровь в его устройстве
и формы красота,
и с жизнью сладостное сходство
по замыслу Творца.

О ТОЙ ПОБЕДЕ

О той победе на крови
сегодня множатся трактаты —

так беспристрастно, непредвзято
кастрат толкует о любви.

Солдат обучен убивать,
платить бедой в ответ на беды,
но не ему предугадать,
кому достанется победа.

Кто б мог тогда вообразить,
что доведётся тем солдатам
о победителях судить
по отдалённым результатам,

когда, припрятав ордена,
предпримут вновь поход на Запад,
чтоб побеждённая когда-то
их приютила сторона.

Сравнялись слава и позор
солдат советских и немецких.
Приказ — солдата довод веский,
и исполнение — не в укор!

И тот, кто от побед устал,
не станет ими похваляться,
когда он должен опасаться
потомков тех, кого спасал,

и славить подвиги былые,
и все павших поминать,
коль уцелевшие живые
бегут на Запад доживать.

Леонид Немировский

СТИХИ, СОЧНЁННЫЕ В ТУАЛете

В жанре лёгкого юмора

*В благодарность Л.А. Бирману,
подвигнувшего меня на этот жанр.*

В мечтаньях, в позе аксакала
Я восседал, – душа алкала
Изящных мыслей озаренья
И, умилясь, стихотворенье
Новорождённое питала.
И над бумагой трепетала
Слезой омытая рука...
Все это длилось – но пока
Я не очнулся от забвенья
И не роня вдохновенья,
Нажал рычаг.
И в тот же миг –
(О, провиденья злобный лик!) –
Как будто вовсе не бывало,
Всё унеслось, и всё пропало
В одно коварное мгновенье:
И божество, и вдохновенье,
И слёзы... и мое творенье!

Пудлицыстка. Мелуары. Эссе



Леонид Бердичевский

АНАТОЛИЙ
КАПЛАН

*Заметки об иллюстрациях
к новеллам Шолом-Алейхема
«Тевье-молочник».*



Анатолий Каплан

[167]

Ди П 19 / 2015

Многие века евреи живут в странах рассеяния. Это обстоятельство привело к тому, что постепенно они стали частью тех стран, в которых живут, внося свой значительный и неповторимый вклад в быт, культуру, науку и искусство других народов, к сожалению, утратив собственную самобытность, национальную культуру, и часто даже свой язык. И лишь в единичных случаях, когда генетический код евреев настойчиво давал о себе знать, проявлялись те черты, которые даны при рождении или месте из которого появился тот или иной человек.

Речь идёт, в основном, о выходцах из черты оседлости. т.е. маленьких поселений или местечек.

Им посчастливилось вплести свою культуру в большие города, напоминая о происхождении, быте, религии, труде, профессиях предков.

Бесспорно, одним из них можно назвать Анатолия Львовича Каплана, который всю свою сознательную жизнь прожил в Ленинграде, однако, душой, дыханием, творческим дарованием остался верен народу, детству и юности, проведённым среди своих предков.

Анатолий Львович Каплан (собственно, Танхум бен Лейви-Ицик Каплун) родился 28 декабря 1902 года в небольшом городке Рогачёв, близ Гомеля, в семье мясника. Городок в то время ещё числился большим местечком, насчитывая 9103 жителя, из них евреев было около 6000. Это, в основном, были ремесленники, – сапожники, портные, жестянщики, извозчики, которые жили в беспорядочно разбросанных лачугах на крошечный заработок, добываемый тяжёлым трудом.

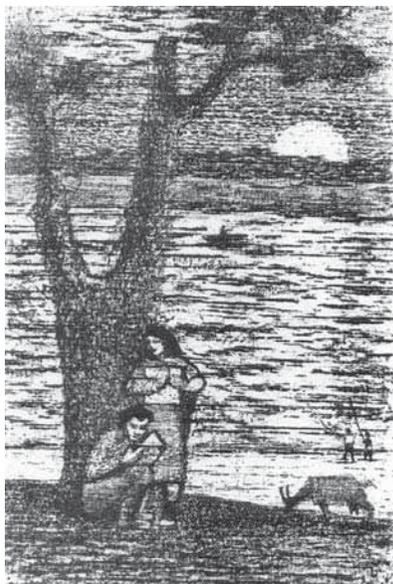
Правда, была здесь железнодорожная станция, соединяющая с круп-



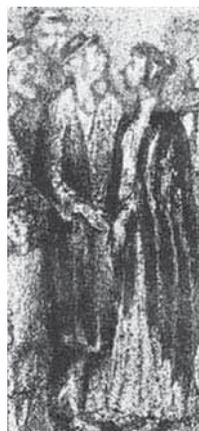
ными городами Белоруссии и Украины.

Детей в семье Каплунов было много. Танхум, что означало «утешитель», с раннего детства впитывал окружающий его мир и на всю жизнь запомнил встреченных типов, что несомненно, оказало влияние на всю его творческую жизнь. Ему никогда не приходилось выдумывать образы персонажей. Он впитал их внешность, манеру общения, их юмор, ритм жизни, природу, их окружающую.

Не станем в этих заметках останавливаться на отдельных моментах формирования его творческой личности, он внёс всё увиденное и услышанное в серии своих литографий. Всё это нетрудно увидеть, ибо система его образного мышления и изобразительного языка восходит именно к традициям народного творчества. Это и есть лейтмотив



его творчества. Особенно он проявился после встречи художника с творчеством Шолом-Алейхема. До этого была серия «Касриловка», отдельные портреты земляков и



некоторые иллюстрации. Но они были своеобразной «пробой пера» Мастера . Уже учась в ленинградской академии художеств, он «влюбился» в технику литографии. Каплан рассказывал: «Мне посчастливилось учиться у Г.С.Верейского. Почти через день приносил он нам прекрасные образцы русских и французских литографий... объяснял, как достичь совершенства в этой технике». До конца жизни учителя они сохранили дружеские отношения. Советы учителя Каплан помнил и применял всегда. Остался портрет Каплана, выполненный Верейским.

Вполне естественно, что знакомство с произведениями Шолом-Алейхема оказалось для Каплана творчески-счастливым. Оно всколыхнуло детство художника, собственно, напомнило ему его биографию, его эмоциональный и духовный опыт. Художник оказался не просто иллюстратором произведений писателя, «фиксатором» тех или иных сюжетов книг, а создателем целых станковых циклов, тематически связанных с сюжетами, располагая их на фоне мест, где проходили события с участием героев.





Несколько раз Каплан обращался к творчеству Шолом-Алейхема, и всякий раз находил новые и новые грани для их интерпретации. Пришёл художник к героям писателя, будучи уже признанным мастером, имея за плечами большой опыт в работе над литографиями, выработав свой творческий почерк, свободно узнаваемый зрителями. Создаётся впечатление, что все предыдущие его работы были своеобразным предисловием к иллюстрациям произведений Шолом-Алейхема. Это был совершенно иной путь, чем у десятков его собратьев по иллюстрированию. Он превращает чисто-графическую тоновую манеру литографии в своего рода живописную. Порой кажется,





что чёрно-белые листы приобретают цветовую гамму, настолько разноплановость и перспектива в изображении подчёркивает этот приём мастера.

Итак, обратимся к конкретным работам художника. Он начал с иллюстраций на тему романа «Степеню» и к повести «Заколдованный портной», создав большие сюиты станковых гравюр, которые сразу же поставили художника чуть ли не в первые ряды мастеров литографии. Более того, они вышли, правда небольшими тиражами размером оригинала, в больших папках, отпечатанными с

[171]



авторских камней в графических мастерских художественного фонда г. Ленинграда и сразу же были раскуплены коллекционерами, музеями и коллегами-художниками.

Но вернёмся к интересующим нас циклам иллюстраций на темы новелл Шолом-Алейхема «Тевье-молочник». Художник выполнил их в количестве более двухсот листов. Этот титанический труд продолжался несколько лет. Художник полностью отказался от других заказов и

частных предложений, сосредоточившись на этой, своей основной работе. В прочтении Шолом-Алейхема Каплан словно бы отразил современный взгляд на это произведение, подчёркивая явный контраст между положительными и отрицательными героями. Здесь и густота штриха, и заливки, и «забрызгивания», процарапывание» иглами, шаберами, и даже кистью с белилами, которые в руках художника откровенно творили «чудеса», по-новому филигранно варьируя технику литографии. Соблюдая образную мысль произведения, Каплан конкретно предлагает свою трактовку восприятия героев, событий и экстерьеров того или иного листа. Он подчёркивает в «Тевье» идею национального эпоса, философское осмысление судеб еврейского народа в данной ситуации и данной эпохе. Каждый персонаж сугубо индивидуален и сразу же запоминается на отдельных листах, в атмосфере событий и природы происходящего. Взятые крупно, как бы в упор, «в лоб», они приобретают внушительность в правдоподобии своими масштабами и выразительностью, напоминая фрески. Нет, не фресковой статичностью, а откровенно живым дыханием каждого образа. Формат этих заметок не позволяет останавливаться конкретно на них, однако мы даём некоторые работы на листах и обложке альманаха. Художник вводит писателя в число действующих лиц цикла (см. на обложке).

Итак, циклом работ на темы «Тевье-молочника» Каплан окончательно утвердил понятие иллюстрации, как самостоятельного художественного целого. Сейчас невозможно себе представить произведение с иными иллюстрациями,



в иной трактовке, в иной смысловой связи текста и его интерпретации. Теперь это единый творческий организм. Не зря регулярно, многие годы, в Германии издавались произведения и Шолом-Алейхема, и «Еврейских народных песен», и «Песни песней», а также «Фишки-портного» Мойхер-Сфорима только с иллюстрациями Каплана. Хочется добавить, что его работы экспонировались на многих выставках в странах Европы и Америки и получили множество престижных высоких наград на венецианском Биеннале, в Лейпциге, Брно и других выставках.

В последние годы своей жизни Каплан плодотворно увлёкся керамикой также на еврейскую тему и выполнил много работ (блюда, тарелки и тематические пласти), которые пользуются большим спросом и трудно находимы даже на аукционах и в музеях.

Умер Анатолий Львович Каплан в Ленинграде в 1980 году, но по-прежнему книги с его иллюстрациями переиздают и циклы литографских листов являются предметом коллекционирования музеев и частных лиц.

В предисловии к выставке Каплана в Лондоне Илья Эренбург писал: «На стене моего рабочего кабинета висят литографии Каплана. – они доставляют мне огромное эстетическое удовольствие. Я постоянно разглядываю эти листы, ощущая радость от нахлынувшего творческого подъёма».

Хотелось бы пожелать читателям нашего Альманаха испытать такие же чувства, увидев работы замечательного художника – Анатолия Львовича Каплана.

Мина Полянская

НЕОТВРАТИМОСТЬ КОКТЕБЕЛЬСКОЙ ВСТРЕЧИ

(Марина Цветаева и Сергей Эфрон)

*«Ибо чара – старше опыта,
Ибо сказка – старше были».*

Марина Цветаева. «Пушкин и Пугачёв».

*«Эта печать коктейбельского полднего солнца –
на лбу каждого, кто когда-нибудь подставил ему лоб».*

Марина Цветаева. «Живое о живом».

Максимилиан Александрович Волошин в 1903 году купил участок земли у коктейбельского залива, на изгибе морского берега, который был тогда незаселённым, пустынным, без зелени – кроме редких кустов терновника, чертополоха и полыни, ничего здесь не росло. Он по своим чертежам построил «Дом поэта» (строил долго, десять лет) с монолитной под добротной черепичной крышей башней, выдвинутой к морю. Вокруг башенного полукруга расположились четыре узких, длинных полуциркульных окна с нарисованными Волошиным в верхних «полукругах» солнечными символами-кругами со стрелами-лучами, глядевшими внимательно и неподвижно в беспредельную синеву моря.

Дом Волошина и поныне стоит у изгиба-лукоморья, и, когда солнце врывается в башенные окна, то из стёкол как будто бы высекаются искры, и пылинки кружатся-плутают вокруг волошинских солнечных символов.

Поэт-странник-художник-философ уверовал в то, что его быт и бытие предопределены в Киммерии, как он называл этот уголок восточ-

ного берега Крыма, где повсюду в стёртых камнях и размытых дождями холмах бродят тени Одиссея, Орфея и Гермеса. «Одиссей возвратился, пространством и временем полный»¹, – так мог бы сказать Мандельштам и о Волошине тоже. «Истинной родиной духа для меня был Коктебель и Киммерия – земля, насыщенная эллинизмом и развалинами Генуэзских и Венецианских башен,² – записал Волошин в одной из своих многочисленных автобиографий.

Чтобы соответствовать созданному его воображением античному образу, Волошин шагал по голой, потрескавшейся от сухости земле, прогретой, по слову Цветаевой, НАСКВОЗЬ, с посохом, босой, в венке из полыни и полотняном балахоне.

Казалось, что природа создала из камня в коктебельском уголке Крыма собственное изваяние Волошина. В очерке-портрете «Живое о живом», написанном в Париже в память об умершем в 1932 году друге в возрасте пятидесяти пяти лет, Марина Цветаева отточенной каждой фразой представила необычный уголок Крыма, считавшийся современниками магическим, инициированным даже: «Взлобье горы. Пишу и вижу: справа, ограничивая огромный коктебельский залив, скорее разлив, чем залив, – каменный профиль, уходящий в море. Максин профиль. Так его и звали. Чужие дачники, впрочем, попробовали было приписать этот профиль Пушкину, но ничего не вышло, из-за явного наличия широченной бороды, которой профиль и уходил в море. Кроме того, у Пушкина головка была маленькая, эта же голова явно принадлежала огромному телу, скрытому под всем Чёрным морем. Голова спящего великана или божества. Вечного купальщика, как залезшего, так и не вылезшего, а вылезшего бы – пустившего бы волну, смывшую бы всё побережье. Пусть лучше такой лежит. Так профиль за Максом и остался»³.

Поэт подтвердил факт невероятного собственного сходства с каменным изваянием:

*И на скале, замкнувшей зыбь залива,
Судьбой и ветрами изваян профиль мой⁴.*

Волошин умер летом, в середине дня, а точнее, в двенадцать часов дня, что, по мнению Цветаевой, придаёт его судьбе трагическую завершённость, так как ушёл он из этой жизни в свой «полуденный» час, когда солнце в зените, в свой час Коктебеля, ибо земля Коктебеля – полдненная земля. Согласно завещанию, поэт похоронен на вершине приморского холма Кучук-Янышар, ограничивающей Коктебельский залив слева – напротив «своего» каменного изваяния, завершив, замкнув Коктебель самим собой. Цветаева в 1934 году написала:

*Ветхозаветная тишина.
Сифой польни крестик.
Похоронили поэта на
Самом высоком месте.⁵*

[176]

Д и П 19 / 2015

Могила Волошина сохранилась – низкая, плоская, «плоче, чем на столе» прямоугольной формы плита без креста, без знаков и символов, без цветов, без зелени, «без единой травки». Впрочем, в стихотворении «Над вороньим утёсом» Цветаева описала не памятник на могиле, а само неприязнительное, суровое даже – место захоронения Волошина и сокрушалась, что не может быть похоронена рядом:

*Пусть ни единой травки, –
Площе, чем на столе, –
Макс, мне будет так мягко
Спать на твоей скале.⁶*

Волошин, по точному определению Эриха Фёдоровича Голлербаха, был «человеком большого стиля». Он обладал неповторимым даром – такова была его культурная миссия – «сводить людей и судьбы» (Цветаева) и превратил свой дом в духовный центр творческого содружества. Всё реже наезжал поэт в Москву и Париж, всё чаще и дольше – иногда по восемь месяцев в году – оставался в Коктебеле, и круг друзей становился теснее, так что казалось: литературный Олимп – не в столицах, а здесь, на выжженной солнцем земле.

Иной раз до сотни человек съезжалось. Цветаева, Гумилёв, Мандельштам, Ходасевич, Брюсов, Горький, Толстой, Чуковский, Эренбург – одним словом, весь «Серебряный век» наезжал. А, кроме того, приезжали теософы, антропософы, философы, интеллектуалы и любители всякой таинственности.

Как свидетельствовала Цветаева, у Волошина была собственная тайна: «У него была тайна, о которой он не говорил. Это знали все, этой тайны не узнал никто. <...>. Объяснять эту тайну принадлежностью к антропософии или занятиями магией – не глубоко. Я много штейнерианцев и несколько магов знала, и всегда впечатление: человек – и то, что он знает; здесь же было единство. Макс сам был эта тайна, как сам Рудольф Штейнер – своя собственная тайна (тайна собственной силы), не оставшаяся у Штейнера ни в писаниях, ни в учениках, у М. В. – ни в стихах, ни в друзьях, – самотайна, унесённая каждым в землю»⁷.

Цветаева подозревала, что Волошин был «посвящённым» некоего тайного братства:

«Это был скрытый мистик, то есть истый мистик, тайный ученик

тайного учения о тайном. Мистик – мало скрытый – зарытый. <...>. Из этого заключаю, что он был посвящённый. *Эта* сущность действительно зарыта вместе с ним. И, может быть, когда-нибудь на коктебельской горе, где он лежит, ещё окажется – неизвестно кем положенная мантия розенкрейцера»⁸.

Я в который раз всматриваюсь в цветаевский текст о Волошине, и мне кажется, что я читаю текст о мистическом МЕСТЕ – а текст даже и усыпан мистическими словами-кристаллами-минералами коктебельского побережья, излучающими первобытный свет. Вот далеко неполный перечень «многозначных» слов и словосочетаний из текста Марины: магический, мифический, мистический, маго-мифо-мистический, Час Великого Пана, Demon de Midi. И далее, снова – магия, а затем: «мифика и мистика самой земли, самого земного состава» и т.д. Марина хотела создать свой миф о коктебельской земной поверхности, самого *земного состава* – и создала его!

Цветаева впервые приехала к Волошину летом 1911 года в Коктебель из Гурзуфа на телеге с шеститомником Калиостро и многотомным романом «Консуэло», главный герой которого – член древнего тайного общества, подвергнулся реинкарнации. Она тогда читала Якова Бёме, романы «Огненный ангел» Брюсова, «Записки врача (Жозеф Бальзамо)» Дюма о великих алхимиках и гипнотизерах.

Марина Цветаева не нашла своего «Калиостро» – в отличие от её сестры Анастасии Цветаевой, которая в 1920 – 30-е годы состояла членом общества розенкрейцеров, в тридцать седьмом была арестована по делу розенкрейцеров-орионийцев и провела в заключении десять лет.⁹ Марина *никогда никому* не принадлежала – ни политическим организациям, ни литературным, ни мистическим, ни философским течениям, но всё же впитала в себя мистически-окультиный дух своего окружения. Она в любых обстоятельствах носила серебряные кольца, а у неё их было девять и десятое обручальное, с культовыми знаками. И ещё: офицерские часы-браслет, кованая цепь с лорнетом, старинная брошь со львами и два браслета. Перечень впечатляющий, в особенности, если учесть, что Марина могла всем этим украсить себя одновременно.

«И всецело отдаюсь своим интимнейшим переживаниям, – вспоминал Андрей Белый, – чтению эзотерической литературы, мечтам об «ордене».¹⁰ Он страстно искал розенкрейцеров, но, не сумев их обнаружить, нашёл альтернативу – немецкого антропософа Рудольфа Штейнера (Штейнера Цветаева постоянно упоминает, он безусловная принадлежность времени, с ним знакомы её коктебельские друзья) с его Антропософским обществом в швейцарской деревне Дорнах, что недалеко от Базеля. Создано было и русское Антропософское общество

в Москве в 1913 году, в день положения в Дорнахе краеугольного камня будущего храма, названного в честь Гёте Гётеанумом. Среди основателей русского общества были художницы Маргарита Сабашникова-Волошина (первая жена Волошина) и Ася Тургенева (первая жена Андрея Белого). А также – Андрей Белый, Борис Леман, Михаил Чехов, Борис Грегоров, Алексей Петровский – между домом Волошина и Гётеанумом есть некий мостик – одни и те же имена то и дело мелькают то в Дорнахе, то в Коктебеле предвоенных десятых годов, а поиски параллельных (других) миров – знак беспокойного времени.

Вспомним предреволюционную Францию восемнадцатого века, века просвещения, уважения к человеческой личности и его разума, читающего Вольтера и Руссо, века, чуждого, казалось бы, метафизики. Но именно тогда граф Сен-Жермен под покровом необычности и тайны в присутствии восхищенной публики вызывал с помощью катоптрических эффектов тени из загробного мира.

В 1914 году, в самом начале войны, Волошин *успел* приехать в Дорнах. «Я приехал буквально с последним поездом: всю дорогу вслед за мной прекращались сообщения, точно двери за спиной запирались¹¹» – эта запись Волошина в дневнике – яркая деталь начала войны. Он и стихи посвятил страшному путешествию по Европе:

*И кто-то для моих шагов
Провёл невидимые тропы
По стогам буйных городов
Объятый пламенем Европы.*

*Уже в петлях скрипела дверь
И в стены бил прибой с разбега,
И я, как запоздалый зверь,
Вошёл последним внутрь Ковчега¹².*

Волошин вместе с Андреем Белым строил Гётеанум, когда в Дорнахе собралась огромная толпа людей, лихорадочно жаждущих вырезать, тесать, стучать молотком, но вскоре отправился во Францию, Испанию и в 1916 году через Англию и Скандинавию (по другому не вернуться было в Россию) приехал в Коктебель.

Первая жена Максимилиана Волошина Маргарита Сабашникова-Волошина тоже строила Гётеанум, а затем тоже вернулась в Россию через Англию и Скандинавию, а в 1922 году не смогла вернуться в Дорнах с советским паспортом: Швейцария прервала дипломатические отношения с Россией. И осталась Маргарита Васильевна служить учению Штейнера в Штутгарте, где написала страстную, живописную книгу «Зелёная змея» с воспоминаниями и о коктебельских поэтах-изгнанных

ках (удивившую немецкое общество настолько, что книгу в Германии переиздавали несколько раз), там и умерла в 1973 году в девяностолетнем возрасте в доме престарелых. Первая жена Андрея Белого, Ася Тургенева, надежно спряталась в Дорнахе, удачно названном Волошиным Ноевым ковчегом, умерла в 1966 году, пережив на тридцать два года Белого, смертельно заболевшего уже после смерти Волошина именно в Коктебеле. Марина Цветаева в Париже посвятила памяти Максимилиана Волошина и Андрея Белого замечательные эссе-воспоминания – «Живое о живом» и «Пленный дух».

Перед самым первым приездом в Коктебель (перед роковой встречей с Сергеем Эфроном), Цветаева рассталась со своим первым возлюбленным. То был Владимир Оттонович Нилендер, переводчик «Гимнов Орфея».

В контексте коктельской атмосферы имя «Эфрон» могло показаться Цветаевой судьбоносным из-за созвучия со словом «Орфей».

Екатерина Дайс в статье «Марина и Орфей»¹³ утверждает, что чуть ли не главной причиной рокового знакомства, являлось *его имя*. Цветаева как будто бы ассоциировала (по созвучию) имя – Сергей Эфрон с Орфеем, имя которого возможно читать справа налево, то есть наоборот, поскольку Орфей, согласно мифу, роковым образом оглянулся на Эвридику, вопреки уговору, когда выводил её из царства мрачного Аида, тем самым окончательно погубив её.

Орфеус – почти зеркальное отражение С. Эфрон: *С - ефро – Орфе - у - с*. К тому же, имя первого возлюбленного матери Марины – Сергей Э. Гипотеза эта (которая подана автором как неоспоримый факт) показалось мне интересной и вполне заслуживающей право на существование, хотя подтверждения её я не нашла у исследователей творчества Цветаевой. Не обнаружила я ни одного прямого или косвенного высказывания самой Цветаевой, фиксирующего такой немаловажный факт начала знакомства, при том, что она любила говорить и писать в прозе и стихах о неотвратимости первой встречи. Что же касается сходства инициалов Эфрона (С.Э.) с именем возлюбленного матери, то этот факт Цветаева неоднократно подчеркивала. Между тем, одно косвенное доказательство этой интересной, эксцентричной идеи находится в Национальной галерее Рима: мраморная стела с изображением Гермеса, Эвридики и Орфея с высеченными наверху их именами, а имя шествующего впереди обернувшегося Орфея в самом деле записано слева направо: *Suefro*. То есть вполне созвучно: *S Efro (n)* – разумеется, в цветаевском знаковом, символичном мире, где для поэта «всё – символы, *не*-символов – нет».

Встрече Марины Цветаевой с Сергеем Эфроном предшествовали сказочные события, ибо драма Орфея и Эвридики «состоялась» на территории нынешнего Коктебеля и, по странному совпадению, летом 1911 года Волошин показал Цветаевой «реальный» вход в царство Аида: «На вёслах турки-контрабандисты. Лодка острая и быстрая: рыба-пила. Коктебель за много миль. Едем час. Справа (Максино определение, – счастлива, что сохранила) реймские и шартрские соборы скал, чтобы увидеть вершины которых, необходимо свести затылок с уровнем моря, то есть опрокинуть лодку – что бы и случилось, если бы не противовес Макса: он на носу, я на корме. Десятисаженный грот: в глубокую грудь скалы.

– А это, Марина, вход в Аид. Сюда Орфей входил за Эвридикой. – Входим и мы. Света нет, как не было и тогда, только искры морской воды, забрасываемой нашими вёслами наседающие, наседающие и всё-таки расступающиеся – как расступились и тогда – базальтовые стены входа. Конца гроту, то есть выхода входу, не помню; прорезали ли мы скалу насквозь, то есть, оказался ли вход воротами, или, повернув на каком-нибудь морском озерце свою рыбу-пилу, вернулись по своим, уже сглаженным следам, – не знаю. Исчезло. Помню только: вход в Аид»¹⁴.

«Забыла я или не забыла переводчика гимнов Орфея – сама не знаю. Но Макса, введшего меня в Аид на деле, введшего с собой и без меня – мне никогда не забыть. И каждый раз, будь то в собственных стихах или на «Орфее» Глюка, или просто слово «Орфей» – десятисаженная щель в скале, серебро морской воды на скалах...»¹⁵

Между тем, первому, реально существовавшему поэту (ставшему затем мифическим героем) Орфею поклонялись любимые Цветаевой немецкие романтики. Согласно мифу, золотая кифара Орфея была помещена богами на небо – в созвездие Лиры. «Притчу» об Орфее, легендарном фракийском певце, Цветаева использовала в стихах, прозе и письмах, с ним сопоставляла любимых поэтов: Гёльдерлина называла «германским Орфеем», Рильке, пославшего ей экземпляр «Сонетов Орфею», она также считала бессмертным Орфеем. Орфею, спасшему своей лирой аргонавтов от сирен, Цветаева посвятила в 1921 году стихотворение «Орфей»:

*Так плыли: голова и лира,
Вниз, в отступающую даль.
И лира уверяла: – мира!
А губы повторяли: – жаль!»¹⁶*

Со временем, по мере крушения иллюзий, спасительные (спасательные) «орфейские» взгляды Цветаевой менялись (не отменялись!), превращаясь в другие мифы-миры. В марте 1923 года Цветаева посвятила Пастернаку (с которым роковым образом не сумела встретиться в Берлине, разминулись по моим расчётам на десять дней), стихотворение «Эвридика – Орфею», где пришла к неутешительному выводу о превышении полномочий Орфея, преступившего черту дозволенного, отправившись в царство мёртвых.

*Для тех, отженивших последние ключья
Покрова (ни уст, ни ланит!...),
О, не превышение ли полномочий
Орфей, нисходящий в Аид¹⁷.*

Летом 1911 года в Коктебеле (после того, как Волошин показал Цветаевой вход в царство Аида) Марина познакомилась со своим будущим мужем Сергеем Эфроном. В романтически-таинственной атмосфере Коктебеля, где сама природа создавала в угоду литературным вкусам времени профили поэтов, Сергей Эфрон, представленный Цветаевой как молодой литератор, тёмноволосый юноша с большими зеленоватыми глазами, совершенно соответствовал её творческому воображению. Когда Марина впервые увидела Сергея в белой рубашке на скамейке у моря, он был, по её признанию, так неправдоподобно красив, что, казалось, ей стыдно ходить по земле.

А история семьи Эфрона была эффектной подсветкой того образа, который Марина себе создала. Еврейское происхождение его отца вписывалось в образ экзотического «чужестранца». Мать Сергея красавица Елизавета Дурново, принадлежавшая к старинному дворянскому роду, была членом подпольной организации «Земля и воля», её неоднократно арестовывали, и многие годы семья Эфронов находилась в изгнании. Трое детей Елизаветы и Якова умерли в детстве, младший сын Константин застрелился, и в тот же день мать, не в силах перенести горе, ушла вслед за ним. За два года до знакомства Марины и Сергея умер его отец Яков Эфрон.

В Коктебеле Сергей подарил Марине сердоликовую гонуэзскую бусину (сердолик её любимый камень) – она поместила её в серебряное кольцо (серебро – любимый металл, оно серебрится, подобно пене морской, и сама Марина – «бренная пена морская»). Сергей – воплощение мечты её покойной матери – сын «красавицы и героини» и воплощение её собственного идеала. Воображение, которое Марина называла своей второй памятью, возможно, тогда вызвало образы молодых

героев Отечественной войны, и в 1913 году она посвятила Сергею стихотворение «Генералам двенадцатого года»:

*Ах, на гравюре полустёртой,
В один великолепный миг,
Я видела, Тучков-четвёртый,
Ваши нежный лик.*

*И вашу хрупкую фигуру,
И золотые ордена...
И я, поцеловав гравюру,
Не знала сна...*

*О, как, мне кажется, могли вы
Рукою, полною перстней,
И кудри дев ласкать – и гривы
Своих коней.*

*В одной невероятной скачке
Вы прожили свой краткий век...
И ваши кудри, ваши бачки
Засытал снег¹⁸.*

Поцелуй гравюры в стихотворении, посвящённом мужу, становится символом брака Цветаевой и Эфрона – художественного вымысла, воплощённого в реальность. Кажется, Цветаева заранее сочинила эффектный сценарий, в котором оказалась главным действующим лицом – «зрительно - биографической эмблемой» (Пастернак) романтической легенды, став, таким образом, жертвой самообмана, поскольку неизбежно исчезал «зазор» между идеальным и реальным, трагически нарушались границы между жизнью и искусством.

Таков удел многих романтиков, а показательным в этом смысле является «случай» Генриха фон Клейста, превратившего «финал» своей жизни в заключительный акт драмы, постановка которой возможна лишь один раз. Кажется, что романтик избрал место своей гибели, строго следуя канону исповедуемого им художественного принципа – это был один из самых живописных уголков в окрестности Берлина, казалось бы, повторяющий знаменитые пейзажи Клода Лоррена. В уединении меланхолического парка с великолепным видом на озеро Ванзее поэт в возрасте тридцати четырёх лет по соглашению с любимой женщиной застрелил её, а затем – себя. На месте самоубийства у озера оба и похоронены.

Характерная деталь: Цветаева и Эфрон до последних дней своей со-

вместной супружеской жизни, как правило, говорили друг другу «вы». Впоследствии в одном из писем Цветаева признавалась, что Сергея оставить невозможно, причём, трагически невозможно. Это признание – свидетельство нерушимости коктейльской встречи-легенды. Ибо легенда (а также сказка и миф) создаёт почву мировосприятия Марины, ибо легенда неразрушима.

В «Пушкине и Пугачеве», написанном в 1937 году, Цветаева вывела «формулу» вечности легенды:

*Ибо чара – старше опыта,
Ибо сказка – старше были¹⁹.*

Предварительное знание об этом сохранило их союз. Впоследствии Цветаева придёт к печальному выводу, что встреча с прекраснейшим человеком Сергеем Эфроном должна была перерасти в дружбу, а привела к раннему браку. «А ранний брак (как у меня) вообще катастрофа, удар на всю жизнь»²⁰, писала она А. Тесковой. Но подобные признания придут потом.

С самого начала коктейльского знакомства Цветаева верила, что Эфрон будет соответствовать требованиям её воображения, – он будет одновременно ранимым и бесстрашным, нежным и решительным, беспомощным и заботливым. Однако судьба семьи складывалась так, что Марине приходилось самой воспитывать детей. На протяжении всей жизни у Эфрона волею судьбы не окажется свободного времени для семьи, в том числе и для её материального обеспечения. Когда началась гражданская война, Эфрон, закончив Первую Петергофскую школу прапорщиков, стал офицером Добровольческой белой армии и – пропал без вести. Цветаева осталась в Москве одна с пятилетней Алей и шестимесячной Ириной.

В разгар московского свирепого голода Марина узнала, что как будто бы в Кунцево открылся приют, который снабжает продовольствием американская благотворительная организация. Доверчивая Марина отдала (14 ноября 1919 года она сделала этот непоправимый шаг) в приют обеих своих девочек – старшую семилетнюю Алю (Ариадну) и младшую Ирину, которой было два с половиной года. На самом деле в жутком этом приюте дети, как правило, умирали именно от голода (и от болезней, само собой). Марина в паническом состоянии сумела буквально вытащить из приюта заболевшую малярией и воспалением лёгких старшую дочь, а младшую не успела. Ирма Кудрова в книге «Путь комёт»²¹ сообщила, что девочку должна была забрать сестра Сергея Эфрона Вера Эфрон, но опоздала, и девочка умерла.

«Друзья мои!

У меня большое горе: умерла в приюте Ирина – 3-го февраля²², четыре дня назад, и в этом виновата я. Я так была занята Алиной болезнью (малярия, – возвращающиеся приступы) – и так боялась ехать в приют (боялась того, что случилось), что понадеялась на судьбу.... И теперь это совершилось, и ничего не исправишь»²³.

Марина осталась с дочерью Алей. Дочь Марины, Ариадна Сергеевна Эфрон – автор замечательных воспоминаний о ней,²⁴ писательница и переводчица французской поэзии XIX и XX веков. Лучший портрет Марины Цветаевой был создан ею самой и посвящён дочери в голодные московские годы. Марина в стихотворении предположила, что станет для дочери «воспоминаньем, затерянным так далеко-далеко»:

*Когда-нибудь, прелестное создание,
Я стану для тебя воспоминаньем,*

*Там в памяти твоей голубоокой,
Затерянным так далеко-далёко.*

*Забудешь ты мой профиль горбоносый
И лоб в апофеозе папирозы,*

*И вечный смех мой, коим всем морочу,
И сотню – на руке моей рабочей –*

*Серебряных перстней, – чердак-каюту,
Моих бумаг божественную смуту...*

*Как в странный год, возвышены Бедою,
Ты – маленькой была, я – молодою²⁵.*

Но забвения не произошло, наоборот – мать станет для дочери воспоминаньем настойчивым и неотступным. Возвращение поэзии Марины делается её высоким долгом, и после шестнадцати лет тюрем и поселений, остальную свою жизнь Ариадна посвятит изучению и публикации божественной смуты Марининых бумаг.

Об отчаянии Марины Цветаевой, потерявшей Сергея Эфрона, свидетельствует стихотворение, посвящённое ему в 1920 году: С. Э.

*Писала я на аспидной доске,
И на листочках вееров поблёклых,
И на речном, и на морском песке,
Коньками по льду и кольцом на стёклах, –*

*И на стволах, которым сотни зим,
И, наконец – чтоб было всем известно! –
Что ты любим! любим! любим! – любим! –
Расписывалась радугой небесной.*

*Как я хотела, чтобы каждый цвёл
В веках со мной! под пальцами моими!
И как потом, склонивши лоб на стол,
Крест-накрест перечеркивала – имя...*

*Но ты, в руке продажного писца
Зажатое! ты, что мне сердце жалишь!
Непроданное мной! внутри кольца!
Ты - уцелеешь на скрижалях²⁶.*

[185]

Ди П 19 / 2015

В июне 1921 года Цветаева узнала от Ильи Эренбурга, что Эфрон жив и находится в Чехии. Первого июля вечером Марина получила от Сергея письмо, при виде которого она «закаменела». Сергей жив! Он писал ей: «Мой милый друг, Мариночка, сегодня получил письмо от Ильи Григорьевича, что вы живы и здоровы. Прочитав письмо, я пробрился весь день по городу, обезумев от радости...»²⁷. Сергею удалось в Крыму сесть на корабль и добраться до галлиполийского лагеря под Константинополем, где нашли приют многие русские беженцы.

Кажется, появлялась возможность после четырёх лет разлуки встретиться с мужем в Берлине и соединиться с ним, жить единой семьёй. Отъезд приближался. Всего за неделю (в связи с началом НЭПа процедура выезда из России упростилась) Цветаева оформила для себя и дочери разрешение на выезд за границу. Багаж состоял из сундучка с рукописями, одного чемодана и портплекда, последнего подарка отца Марины. Одежды и обуви у них почти не осталось – всё было сношено.

В одной из мариновых тетрадей сохранился список вещей, которые необходимо было забрать с собой в Берлин, завораживающий список, начиная от карандашницы из папье-маше с портретом Тучкова IV в мундире и плаще на алой подкладке, купленной в Москве на толкучке (Марина никогда с ней не расставалась) и кончая валенками (валенки тоже привезли в Берлин!). Впрочем, вот список:

«Список (драгоценностей за границу):

*Карандашница с портретом Тучкова IV
Чабровская чернильница с барабаничком
Тарелка со львом*

*Серёжин подстаканник
Алин портрет
Швейная коробка
Янтарное ожерелье*

*(Алиной рукой):
Мои валенки
Маринины сапоги
Красный кофейник
Синюю кружку новую
Примус, иголки для примуса
Бархатного льва»²⁸*

[186]

Д и П 19 / 2015

В этом списке казалось бы бесполезных, а на самом деле необходимых по высокому счёту памяти (и памяти исторической тоже) драгоценностей – бархатный лев, тарелка со львом («этот лев – Макс, весь Макс, более Макс, чем Макс»), Серёжин подстаканник (!) – вся Марина. («Всё это будет телом вашей оставленной в огромном мире бедной, бедной души»²⁹). Корни этого сказочного списка – не только в аристократическом воспитании Марины в атмосфере семьи и жизни на высокий лад («Воздух дома не буржуазный, не интеллигентский – рыцарский. Жизнь на высокий лад»³⁰), о чём, разумеется, следует говорить в исследованиях о формировании поэтической личности Цветаевой.

Однако – генуэзская сердоликовая бусинка, подаренная Марине Серёжей, вход в царство Аида – десятисаженная щель в скале, куда Орфей входил за Эвридикой, серебро морской воды на скалах, напоминающих готические соборы – «реймские и шартрские соборы скал» – неотвратно ведут к волшебному списку драгоценностей «сирот и поэтов».

Век-волкодав, век-убийца безжалостно разметал по свету современников гостеприимного Волошина, страстных любителей Коктебеля, осиротевших бездомных поэтов. Цветаева двумя строками с точностью запредельной передала своё ощущение вокзальной временности и транзитности:

Пришла и знала одно: вокзал, // Раскладываться не стоит.³¹

В цветаевском «Пленном духе» Андрей Белый говорит Цветаевой: «Вы понимаете, что это значит: профессорские дети? Это ведь целый круг, целое Credo». Но затем он поднимает тему – до сиротства, и далее – выше и выше – к сиротству поэта, потерявшего отчий дом, призванного оплакать его: «Но оставим профессорских детей, оставим только одних детей. Мы с вами, как оказалось, дети (вызывающе): – все равно чьи! И наши отцы – умерли. Мы с вами – сироты, и – вы ведь тоже пишете стихи? Сироты и поэты. Вот!»³²

В последний раз Цветаева посетила волошинский дом после октябрьского переворота в ноябре семнадцатого года. Посёлок был занесён снегом, и сквозь снежную метель она увидела непривычно серое, хмурое море и силуэты гор, казавшиеся призрачными, словно это были тени Аида, а впоследствии в эмигрантских странствиях – везде и повсюду – искала знакомые черты, или хотя бы отдалённое сходство с Коктебелем. А между тем Коктебель в Гражданскую превратится в арену войны большевиков и белогвардейцев, и Волошину суждено будет пережить голод и террор.

*В тех и в других война вдохнула/ Гнев, жадность, мрачный хмель разгула.*³³

Волошин, превыше всего ценивший человеческую жизнь (таково было его кредо), укрывал в своём доме раненых обеих сторон, независимо от того, к какому лагерю они принадлежали. После революции Волошин остался в Коктебеле, жил бедно, насколько мне известно (в основном из текстов Цветаевой), очень бедно, вынужден был отдать свой дом под бесплатный дом отдыха для писателей и тем самым сохранил его.

В тридцать девятом Цветаева из Парижа с сыном Георгием - Муром, (он погибнет на фронте в сорок четвёртом), вернулась в Москву вслед за Сергеем. Сергей Эфрон, ангажированный в 1932 году сталинским Иностранным отделом НКВД, по возвращении в Россию был в тридцать девятом арестован и в сорок первом расстрелян (Марина, разумеется, о расстреле Серёжи не узнает).

В Москве, в сороковом предвоенном году, Марина всё ещё продолжала мечтать о Коктебеле, как о последнем приюте-пристанище, и эту тоску зафиксировала автор одной из лучших книг о Цветаевой Мария Иосифовна Белкина: «Она говорила, что единственное место её – был Коктебель, дом Макса, там она была своя, а потом везде и всюду, всегда – не своя! И в той страшной Москве двадцатых годов, из которой она уехала – не своя, и в эмиграции – не своя, и здесь теперь – не своя... Если бы попасть в Коктебель хотя бы ненадолго, на день, на час... но Макса нет – значит, и Коктебеля нет!»³⁴

Однако дом Макса есть. Он по-прежнему стоит у залива, или разлива, как говорила Цветаева, по-прежнему притягивает к себе всех мыслящих – верующих и неверующих, агностиков и оккультных, и тайну этой тяги нам не разгадать, как не дано нам разгадать тайну бытия, но связь между людьми в одной общей истории даёт нам шанс понять смысл нашей жизни, и хочется верить Чаадаеву, полагавшему, что родственные души находят друг друга – независимо от времени и пространства.

Коктебельский стусок мощной творческой энергии – это и есть

заявленная Цветаевой в самом начале очерка-портрета о Волошине – *печатать коктебельского полднего солнца на лбу каждого, кто когда-нибудь подставил ему лоб*, тот самый Genius loci, о котором любил говорить Фёдор Тютчев, полагавший, что любой человек, которому и не дано Слово, но восхитившийся местом – гений, пусть даже на мгновенье.

Что же касается крымских изгнанников, домочадцев русской литературы, желанных гостей Волошина, то они, так же, как и Марина Ивановна Цветаева, не смогут больше увидеть Коктебель, лишь избранные счастливицы, правда, не через два десятилетия, как Одиссей (так долго он возвращался домой), а лет через сорок- пятьдесят приедут в Коктебель, и, может быть, в полуденный, волошинский, коктебельский час – *в полдень ваш священный вхожу с поникшей головой* – подойдут к дому Волошина с тем, чтобы постоять возле него – долго и раздумчиво.

¹ О. Мандельштам. Золотистого мёда струя из бутылки теkla // О. Мандельштам. Шум времени. (сост. В.А. Чалмаев). М.: Олма-Пресс, 2003, С. 243.

² М. Волошин. Собр. соч. в 7-ми т. М.: Эллис Лак, 2008, Т.: 7, С.223.

³ М. Цветаева. Живое о живом // Цветаева М. Собр. Соч. в 7-ми т. М., 1994. Т. 4. С. 194.

⁴ М. Волошин. Коктебель. // М. Волошин. Избранные стихотворения. М.: Сов. Россия, 1988, С. 180.

⁵ М. Цветаева. Ветхозаветная тишина (из цикла ICI HAUT) // М. Цветаева. Стихотворения и поэмы. Казань: Казанское книжное издательство, 1990, С. 403.

⁶ М. Цветаева. Над вороньим утёсом // М. Цветаева. Осыпались листья над вашей могилой... Казань: Казанское книжное издательство, 1990, С. 405.

⁷ М. Цветаева. Живое о живом // М. Цветаева. Указ соч. Т. 4. С. 191.

⁸ М. Цветаева. Живое о живом // М. Цветаева. Указ соч. Т. 4. С. 191.

⁹ В архиве А. Л. Никитина, автора книги «Мистики, розенкрейцеры, тамплиеры в Советской России», хранится запись его беседы с Анастасией Цветаевой (12.2.93), в которой она восторженно рассказывала о тайном обществе и в особенности о его руководителе – широко одарённом человеке, оказавшем влияние на современников, Б. М. Зубакине. Зубакина расстреляли в 1938 году после третьего ареста. Ему (и А. Цветаевой, его секретарю) вменялось участие в контрреволюционной, антисоветской, фашистской деятельности

¹⁰ Андрей Белый. Почему я стал символистом. // Андрей Белый. Символизм как понимание. М.: 1994).

¹¹ М. Волошин. Собр. соч. в 7-ми т. М.: Эллис Лак, 2008. Т.: 7, С. 165.

¹² М. Волошин. Под знаком льва. // М. Волошин. Избранные стихотворения. М.: Сов. Россия, 1988, С.132.

¹³ Екатерина Дайс. Марина и Орфей. Нева», 2006, №8.

¹⁴ М. Цветаева. Живое о живом. // М. Цветаева. Указ. соч. Т. 4. С.195-196.

¹⁵ М. Цветаева. Живое о живом. // М. Цветаева. Указ. Соч. Т. 4 С. 196.

- ¹⁶ М. Цветаева. Орфей. // М. Цветаева. Стихотворения, поэмы. Казань: Казанское книжное издательство, 1990, С.227.
- ¹⁷ М. Цветаева. Эвридика Орфею. // М. Цветаева. Стихотворения, поэмы. Казань: Казанское книжное издательство, 1990, С. 298.
- ¹⁸ М. Цветаева. Генералам двенадцатого года. // М. Цветаева. Стихотворения, поэмы. Казань: Казанское книжное издательство, 1990, С. 29, 30.
- ¹⁹ М. Цветаева. Пушкин и Пугачев. // Цветаева М. Поэзия. Проза. Драматургия. М.: Слово/Slovo, 2008. С. 384.
- ²⁰ М. Цветаева. Письма к Тесковой. Прага: Академия, 1969, С. 112.
- ²¹ И. Кудрова. Путь Комёт: Жизнь Марины Цветаевой. СПб. : Вита Нова, 2002.
- ²² Марина Цветаева указывает дату по старому стилю.
- ²³ Цит. по изданию : А. Саакянц, Марина Цветаева. Страницы жизни и творчества (1910 - 1922). М.: Сов. пис., 1986, С. 218 – 219.
- ²⁴ Впервые воспоминания А. Эфрон о матери при активном содействии исследовательницы творчества Цветаевой И. Кудровой были опубликованы в 1973 г.: А. Эфрон. Страницы воспоминаний // Звезда. 1973. № 3. С. 154–180.
- ²⁵ М. Цветаева. Когда-нибудь, прелестное созданье... // М. Цветаева. Соч. в 2 т. М.: Худ. лит., 1984, С. 126.
- ²⁶ М. Цветаева. Писала я на аспидной доске // М. Цветаева. Стихотворения, поэмы. Казань: Казанское книжное издательство, 1990, С. 166.
- ²⁷ Цит. по изданию: А. Саакянц, Марина Цветаева. Страницы жизни и творчества (1910 – 1922). М. : Сов. пис., 1986, С.302.
- ²⁸ А. Эфрон. Страницы воспоминаний. // Воспоминания о Марине Цветаевой (сост. Л.А. Мнухин, Л. М. Турчинский.). М.: Сов. пис. 1992. С. 190.
- ²⁹ М. Цветаева. Собр. соч. в 7-ми т. М. 1994, Т. 5. С. 229.
- ³⁰ М. Цветаева. Собр. соч. в 7-ми т. М.: Эллис Лак, 1994., Т. 4, С. 622.
- ³¹ М. Цветаева. Поезд. М. Цветаева. // М. Цветаева. Стихотворения, поэмы. Казань: Татарское книжное издательство, 1990, С. 333.
- ³² Цит. по изд.: Мина Полянская. Foxtrot белого рыцаря. Андрей Белый в Берлине. СПб: Деметра, 2009, С. 160.
- ³³ М. Волошин. Гражданская война // М. Волошин. Избранные стихотворения. М. : Сов. Россия, С. 213.
- ³⁴ Мария Белкина. Крещение судеб. М.: Эллис Лак, 2008, С. 337.

Генриетта Ляховицкая

В РТУТНОЙ КАПЛЕ МОЕЙ ПАМЯТИ

Автобиография

экспромтом, без черновиков, напечатана на машинке с 10 по 15 сентября 1994 г. в Санкт-Петербурге для конкурса автобиографий шестидесятников «Гляжу в себя, как в зеркало эпохи»

«Я говорю об этом со знанием дела, ибо имею честь – великую и грустную честь – к этому поколению принадлежать».

Иосиф Бродский

Зеркало – твёрдое, холодное, плоское. Равнодушно повторяет всё с разворотом на сто восемьдесят градусов. Если отражение не точное, значит, зеркало кривое. Есть ещё общепринятая формула: «как в капле воды». Но водяная капля прозрачна и недолговечна. Вы когда-нибудь видели капли ртути от разбитого градусника? Я играла в детстве такими каплями, не зная, что это вредно – иметь дело с тяжёлым, подвижным, блестящим металлом. Самые крупные из капель были слегка приплюснуты и похожи на крошечные мягкие зеркала, каждое из которых жило своей отдельной жизнью, по-своему отражая комнату, небо в оправе окна и мою восхищённую рожицу.

Моя память кажется мне такой каплей – одной из миллионов памятей шестидесятников Земли. Эпоха наполнила её неисчислимыми мгновениями ощущений и впечатлений. Они стусились до состояния, подобного ртути. Если положить эту каплю в ладонь, можно удивиться весомости сгущённого времени. Я вглядываюсь в эту ртутную каплю...

Год рождения. «Первый раз получил я свободу по указу от тридцать восьмого» – так пел Высоцкий. Он – мой ровесник. Когда московский Театр на Таганке привёз в Ленинград спектакль «10 дней, которые потрясли мир», какой-то молодой актёр бродил, наигрывая на гитаре, по вестибюлю Дома культуры «1-й пятилетки», куда я пыталась прорваться, не имея билета. У двери стоял другой актёр в форме революционного солдата со штыком, накалывая на него билеты. Он сказал мне: «Стой, жди!» и указал на строгих билетёрш, которые его контролировали. Гитарист поглядывал на меня или на мой пронзительно-красный костюм с каким-то сочувствием. Наконец, строгие тётки отвернулись, велев закрыть вход. Солдат протянул руку за моей спиной и, закрывая дверь, втокнул меня в вестибюль. Гитарист довольно усмехнулся и извлёк из гитары замысловатый аккорд, который можно было перевести с музыкального так: «Прорвалась-таки, настырная!» Спустя некоторое время я увидела портрет барда В. Высоцкого и удивилась, почему мне знакомо это лицо. Вдруг озарило – это же тот самый, с Таганки. Лично мы не знакомы, но появились на свет по одному и тому же «указу».

Как-то даже неловко рассказывать о нашем времени после его песен, после его гениальных слов о душе, «*стёртой утратами да тратами*», которую «*залатаю золотыми я заплатами, чтобы чаще Господь замечал*», но моя память – самостоятельная капля, в которую впечатлено и его отражение. И я рискну.

Место рождения и национальность. Эти анкетные данные связаны между собой особым образом. Моя мама родилась ещё «в том Петербурге» в 1908 году. В царской России существовала *черта оседлости*, лишь внутри которой разрешалось жить людям, исповедовавшим иудейство. Ограничение в правах распространялось именно на религию, а не на национальность. Если иудей крестился, то мог жить, где угодно. Иудеям жить вне черты, особенно в столице, конечно же, не полагалось. Однако, если кто-то из них был богатым купцом или владел необходимой городу профессией, то получал *вид на жительство* даже в столичном Санкт-Петербурге. Отец мамы был мастером-печатником, поэтому безбедно жил на Покровке с красивой женой в многокомнатной отдельной квартире, имел пятерых детей и прислугу. Дети учились в гимназии и были русскими по духу, по языку, по культуре. После революции они из иудеев превратились в евреев.

Мама познакомилась с моим отцом в Университете, в здании 12-ти Коллегий на Васильевском острове. Они учились на юридическом отделении. Отец, тоже еврей, считался «самой светлой головой» на курсе.

(Когда я по телевизору услышала, как главный либерал Жириновский объяснял свою национальность: «Мама русская, а отец юрист», то рассмеялась и сразу же заявила: «А у меня оба родителя юристы!») Итак, я – русская... еврейка, или, если угодно, «юристка», но в наше время называлась *«инвалидом пятой группы»*, так как злокачественный для евреев в СССР пункт о национальности числился в анкетах пятым.

Родилась я в Ленинграде в известном роддоме – в «Снегирёвке». Жили мы на углу улицы Жуковского и Лиговки, то есть Лиговского проспекта, против Греческой церкви, на месте которой теперь БКЗ – Большой Концертный зал «Октябрьский».

Детство. Первое воспоминание, как выяснилось, было связано с первым днём Великой Отечественной войны. Затем – отрывочные, с большими пропусками, пока не слилось всё в сплошную череду событий, не истаявших в памяти до сих пор. Рассказывать можно долго, детство для меня – самое длительное время жизни. Кажется, что оно продолжается и сейчас. Ведь и у дерева даже самая-самая свежая почка связана с корнем детства.

В эвакуации на Урале, в месте, где железная дорога связывает Европу и Азию, мама, мой брат и я жестоко голодали. Та дистрофия даёт о себе знать до сих пор, и чувство постоянного неутолимого голода я так и не смогла забыть. Однажды, когда я клянчила хотя бы корочку хлеба, мама страшно посмотрела на меня и вполне серьёзно спросила: «Хочешь, я отрублю для тебя свой палец?» Я убежала на улицу. Там шел снег. Нет, это надо бы назвать как-то иначе. Я была такая крошечная и невесомая, что не снежинки падали на моё поднятое к небу лицо, а большие махровые *«снежины»* медленно парили, постепенно залепляя мне глаза, нос, рот. Я стала их есть. Помню их пресноту. Гораздо вкуснее была сырая картошка с кожурой. Сын нашей хозяйки воровал иногда с их собственного огорода пару картошек. Мы обтирали их и сразу ели, как яблоки. На зубах хрустела земля.

Чёрная тарелка репродуктора сообщала голосом Левитана о тяжёлых боях, о поражениях, затем о наступлениях, о победах. Мама с трепетом и слезами ждала треугольных писем от отца, но бывали тягостные перерывы, связанные с гибелью военных почтовиков. Когда разрешили посылки с фронта, уже из-за границы, нам стало чуть легче – мама выменивала на рынке вещи на продукты. Особенно ценились филдеперсовы чулки. Тогда впервые увидела я у нас дома *целую буханку хлеба*. Запах хлеба – мой самый любимый навсегда. Недавно в интервью по телевидению Ельцин рассказывал немного о своём уральском детстве, и мне показалось, что я поняла, почему он – харизматиче-

ский лидер. Мы дышали с ним одним воздухом в детстве, мы понимаем его. Возможно, наше детство его выбрало...

Зная, что мама моя бедствует на карточках служащей с двумя детьми, ей предложили место кассира в столовой. Женщина, сдававшая ей своё место, стала показывать, сколько каких талонов надо вырезать из карточек посетителя, получающего обед: крупы столько-то граммов, жиров столько-то, ещё чего-то столько-то. Под конец она добавила: «Вот так мы за день на обед себе и настригаем». «То есть как это, настригаете?!» – возмутилась моя безупречно честная мама. И ушла. А мы тогда страшно голодали. Я до сих пор не могу решить для себя, правильно ли поступила мама. Лучше ли остаться абсолютно честной или, отрезая иногда талоны на пару лишних граммов, накормить умирающих от голода детей? А мы умирали. Когда брат заболел и стало ясно, что сил подняться у него нет, мама взяла папин аттестат и пошла в военкомат. Она сказала, что её муж, офицер, воюет, а его дети умирают с голоду. Аттестатом называли документ жены офицера. По нему выплачивали деньги, на которые ничего нельзя было купить. Она заплакала и ушла, оставив документ. На следующий день к нам домой пришел солдат, принёс аттестат и мешочек отрубей. Мама из них напекла лепёшек. Брат выздоровел. Мы выжили. Папа воевал, начиная с финской войны, и всю Великую Отечественную. Направили его и на войну с Японией, но она прекратилась раньше, чем он пересёк Урал.

В 1945-м мы вернулись Ленинград, Теплушки – транспорт моего детства и юности – достойны отдельной повести. Скученность, очереди за кипятком на станциях, резкий запах хлорки общественных туалетов, постоянное опасение отстать от поезда, время отправления которого никому неизвестно... Пожалуй, что и не повести, а целого многотомного романа заслуживают железные дороги России, самым мучительным образом связанные с историей нашей безмерной страны во все времена её существования, включая нынешние.

Но вот, наконец, мы в Ленинграде. Брат мамы, главврач психиатрической больницы на Пряжке, поселил маму с двумя детьми на пару дней в своём рабочем кабинете. Наше жилище на Жуковской было недоступно из-за толстого слоя осыпавшейся при бомбёжках штукатурки вперемешку с битым стеклом. Мама с подругой выносили всё это в детской жестяной ванночке с двумя ручками, десятки раз возвращаясь на высокий четвёртый этаж. В больнице я с любопытством смотрела на больных, очень ко мне тянувшихся. Спрашивала у дяди: «Чем вы лечите своих *психиатров*?», считая, что так называют пациентов этой больницы. Впервые в жизни я ела там макароны, которые совершенно меня покорили. «Можно мне ещё этих *махорин*?» – спрашивала я, пу-

тая название толстых полых макаронин с махорочными самокрутками. Впервые купали меня в настоящей ванне.

Вернулся отец. У него был, как мне тогда казалось, большущий нос и слишком колючая щетина, поэтому я побаивалась, когда он целовал меня. В голенище его начищенного офицерского сапога зияли два сквозных пулевых отверстия, но ранен отец не был.

На следующий после приезда день, *1-го сентября 1945 г.*, он отвёл меня в школу. Сбылась его мечта – самому отвести дочку в первый класс. Брат на радостях учиться не пошёл. Школа была почти напротив дома и, когда обрадованные встречей родные забыли меня забрать, я попыталась сама найти нашу квартиру. Но все двери и лестницы были похожи друг на друга. Поднявшись несколько раз на четвёртые этажи разных подъездов, я обессилела и вернулась к школе. Наконец, обо мне вспомнил 12-летний брат и прибежал за мной. Больше в эту школу ходить учиться мне не довелось. Много лет спустя именно в эту школу, где я отучилась один день, привела я 1-го сентября 1976 г. моего сына в первый класс.

Отца – военного юриста, назначили в Таврический военный округ, и мы уехали в Крым. При пересадке поздним вечером в Москве было организовано массовое ограбление. Во время сумасшедшей толчеи при посадке полностью отключили освещение на перроне и из-под вагонов крали чемоданы. У нас украли самый большой чемодан, в котором было всё мало-мальски ценное, в том числе замечательно красивый портфель, привезённый отцом для меня из-за рубежа.

В Симферополе мы снимали комнату с кухней и верандой в частном доме на окраине, которая называлась Красная Горка. Жизнь там была какой-то необычайно «густой». Масса событий, потрясавших меня, свершалась ежедневно. Я наблюдала, как окотилась кошка, а соседский кот пожрал котят, как Сатурн своих детей. Кошка за это погналась за ним и откусила кончик хвоста. Они жутко орали. Заболела корова хозяйки. Её забили. Оказалось, что в сердце вонзилась огромная ржавая игла. Я видела своими глазами это сердце с торчащей толстой иглой. Зажарили кровь с луком – это было невообразимо вкусно. Неумелый племянник хозяйки однажды хотел заколоть кабанчика, но лишь поранил его. Тот, дико визжа, носился по двору, истекая кровью.

Сад нашего дома граничил ещё с двумя садами. В шесть утра я бегала в сад с банкой за молоком от соседской коровы. Однажды, уже взяв в руки полную банку, я увидела в другом саду мужчину, как-то странно, боком сидевшего на краю бочки с водой под яблоней. Я стала подходить, присматриваясь. От шеи его отвесно шла верёвка к большой ветви. Я помчалась домой, стараясь не расплескать молоко. Оставив банку

на веранде, сообщила: «Там повешенный!» В те времена в городе орудовали многочисленные банды. Отец вскочил с постели и с пистолетом в руке побежал в сад, крича, чтобы я не вязалась за ним. В это время дико завывла соседка, обнаружив мужа, которого искала всю ночь. Она после ходила за мной, чтобы отдать «на счастье» верёвку, так как я первая его увидела. Но я от неё убегала и верёвки этой не хотела. Может быть, зря?

Иногда с подружкой мы пробирались в церковь «Адвентистов седьмого дня». Она сияла роскошью. Немцы её не трогали во время оккупации Крыма. Всё остальное вокруг было убогим и нищим. Убогим был и мелкий от жары Салгир – речушка, поившая людей, животных и росшие рядами высокие пирамидальные тополя. Бедной была и начальная школа, где я училась первые четыре года. Там были разномастные столы, даже кухонные, а дети ходили в отрепьях, босиком или в лаптях. Только у меня и ещё у одной девочки была форма. У неё – настоящая, а у меня – сшитая из покрашенного материала, выданного папе на портянки.

В первом классе были десяти- и даже двенадцатилетние дети. Многие курили махорку, пили и сквернословили. Но я была авторитетна среди них, несмотря на мой смехотворно маленький рост и мои семь лет. Завоевала я этот авторитет мгновенно и весьма странным образом. Уже в первые дни после уроков мальчишки гнались за девочками, те с визгом убегали. Я бегала вместе со всеми, но однажды подвернула ногу и остановилась, подумав, что не убьют же они меня. Тяжело дыша, удивлённые такой смелостью мальчишки окружили меня и тут же задрали юбку. Наступила тишина. Самый старший присвистнул и возгласил: «Тю-ю-у, она в трусах!», после чего они как-то почтительно отступили и помчались за другими девочками. Оказалось, только очень высокопоставленные дамы могли быть так экипированы. Кроме того, я была довольно хорошо начитана, отлично училась, а главное, могла сама сочинять разные сказки. Короче, меня выбрали старостой и иногда носили на руках (в буквальном, а не переносном смысле).

Прекрасная первая наша учительница, Софья Силантьевна, умерла в каникулы после первого класса. Со второго нас учила Людмила Афанасьевна со злыми глазами. Она говорила «молодежь» с ударением на первом слоге, а я её поправляла. Она кричала на меня, почему это я так говорю. Но у меня был неотразимый аргумент: «Моя мама говорит «молодежь», значит, так и надо говорить». С этих пор началась моя «интеллигентность» для окружающих – смелость, независимость, собственные убеждения, способность к творчеству, приобщённость к культуре, ну и, разумеется, труссы...

Спустя годы я узнала, будто Людмила Афанасьевна сошла с ума. Мне кажется, что уже тогда, в школе, она была не в себе. И ещё не раз мне

доводилось сталкиваться с учительницами, обладавшими явно неустойчивой психикой, что всегда тяжело отражалось на учениках. В нашей стране, сколько себя помню, всегда были озабочены, чтобы все, кто имеет контакты с большим числом граждан – педагоги школ и вузов, работники учреждений культуры, средств массовой информации, представители властных структур – непрерывно и строго проверялись на верность идеологии. Однако никогда не заботились об элементарной душевной нормальности этих людей, уж хотя бы о предоставлении справки из психдиспансера, какая требуется для получения водительских прав. Когда обсуждался недавно проект новой Конституции, я послала своё предложение о том, чтобы лица, претендующие на власть, обследовались на психическую полноценность, и как при этом можно избежать злоупотреблений. Но мы, видимо, ещё не скоро доживём до такого необходимого закона.

Возвращаюсь к своему детству. В начальной школе девочек и мальчиков обучали вместе. Но в пятый класс пришлось пойти в чопорную бывшую гимназию для девочек, а мои хулиганистые мальчишки-одноклассники попали в мужскую школу. Мне было скучно с девчонками. На уроках я читала книжки, скрывая их под откидной крышкой парты, а девчонки ябедничали об этом учителям. Русский язык вела у нас Лидия Фёдоровна Маяровская. Лишь много позже я поняла, что она, очевидно, была до этого доцентом или профессором, возможно, ученицей академика Марра, и её сослали к нам после разгромной работы Сталина «Марксизм и вопросы языкознания». Не знаю, кто там прав и виноват, но какие бесподобные уроки-исследования давала нам эта подвижница! Самых ленивых и безграмотных пятиклашек сумела она превратить в знатоков тончайших языковых нюансов. И она говорила нам, что «не согласна с мнением товарища Сталина». Подумайте только, ведь это были 51-й и 52-й годы! На её уроках я получила первую прививку против сталинизма. И почему-то мы, дети, понимали, что об этом никому нельзя рассказывать, даже родным, чтобы не навредить любимой учительнице, хотя сама она об этом нас не просила. Это был акт высокой веры подлинного интеллигента во врождённое благородство детской души.

Не могу не вспомнить ещё одного педагога, особо важного для меня. Звали его Александр Моисеевич Рионский. Он вёл балетную студию в городском Доме пионеров. Среди его учениц есть довольно известные балерины. Как только я услышала о существовании студии, сразу же потребовала меня туда отвести. Я давным-давно знала, что буду балериной. Но увы, отбор туда был уже закончен, не первый месяц шли занятия. Мама повернулась, чтобы уйти, но я устроила совершенно не свойственный мне громкий рёв и уходить не пожелала.

На шум вышел элегантный, вкусно пахнувший мужчина, умевший красиво двигаться. Он склонился ко мне и ощупал мышцы рук и ног (а они у меня были железными, так как я всегда непрерывно бегала, скакала, лазила по деревьям и заборам, а также по спортивным снарядам и танкам воинских частей). Затем, мягко подтолкнув меня к двери балетного класса, поставил последней в ряду девочек у длинного балетного станка, сказал: «Делай то же, что девочка перед тобой» и, казалось, забыл обо мне. Через две недели он перевёл меня на пять человек вперёд... Через несколько месяцев я вошла в ведущий состав. Мы исполняли фрагменты из разных балетов, но чаще всего из «Лебединого озера», и как единственные тогда представители балета в Симферополе, пользовались успехом. А.М. ввёл нас в мало кому доступный мир живого искусства. Он даже возил нас в Москву.

С той поры неразрывно сплелись для меня столичные впечатления и балетная пластика под музыку Чайковского. Как же щемило моё сердце, когда в памятный для всех день недавнего путча по телевизору из Москвы можно было слышать лишь музыку «Лебединого». Как тяжело, как невыносимо!

Но, к делу. Незабываемое наслаждение от общения с мудрым человеком искусства, от творческого движения, от запаха кулис, от аплодисментов – всё рухнуло через три с половиной года, когда стал душить меня ночами мучительный кашель. Ослабленный дистрофией организм не выдержал больших нагрузок, врачи запретили даже думать о балете. Это была первая настоящая трагедия, возможно, самая большая в моей жизни. Я рыдала неудержимо, безутешно, и до сих пор не могу без слёз слышать балетную музыку тех фрагментов, которые исполняла когда-то сама. Я должна была стать прекрасной балериной. Это мне было изначально предназначено! Я умела станцевать всё, что угодно... Судьба моя споткнулась. Детство кончилось.

Отрочество. Оно началось с постижения безмерности просторов России. Отца назначили на Южный Сахалин. День за днём отступивали колёса пассажирского вагона тысячи километров. Я лежала на верхней полке и неотрывно смотрела в окно. Потрясение от величия Земли сравнимо было лишь с впечатлением от Черного моря, когда я впервые его увидела сразу после войны. В том необыкновенном море, ещё не изуродованном наростами волноломов, чистом, пронизанном солнечными лучами, я сама научилась плавать. Плотная его вода легко держала моё невесомое тельце, и я заплывала непозволительно далеко, или брала в руки тяжёлый камень и шла по дну в глубину, любуясь игрой света вокруг медуз и напуганными крабами. В водах этого моря

с удивлением видела я тысячи плывущих матросов, двигавших перед собой гигантский портрет Сталина. Это был праздничный заплыв после морского парада в Севастополе, куда возил меня отец. За пять лет я сроднилась с морем и Крымом, была с ними «на ты». Там в 48-м году появилась у меня сестра. Сейчас Крым отчуждён, и родное моё «моречко» кажется недостижимо далёким.

А поезд трудолюбиво вёз нас на Дальний Восток, огибал несравненный Байкал, с грохотом занывирал в туннели, многократно провожал закаты и встречал рассветы. В Южно-Сахалинск мы добрались с материка самолётом. Почти сразу началась метель. Тяжёлый снег оборвал провода. В гостинице погас свет, замолчало радио, даже воды не стало, не понятно почему. Оттуда перебрались мы в привычную для офицерских семей проклятую коммуналку.

Внутренняя моя жизнь как-то затаилась, затихла после расставания с балетом. Сахалин обернулся ко мне великолепной и, одновременно, страшной экзотикой. Лёгкие деревянные японские домики сгорали, как спички, от неуклюжего обращения с огнём пьяновато-разгульного материкового люда. В очередную метель, завалившую улицы снегом выше человеческого роста, погибла девочка Лида, моя соседка по парте. Её закоченевший нагой трупик со стуком выпряхнули из брезента к ногам матери, к которой мы, несколько одноклассников Лиды, зашли в этот момент. А на улице ликовало на синем небе неправдоподобно сияющее солнце и сверкал снег, и люди несли ярко-красных варёных океанских крабов в полметра диаметром. На барахолке последние выселяемые с острова японцы продавали редкие по красоте изящные обиходные вещи. За спиной корейнок болтались прихваченные куском ткани молчаливые грудные младенцы, их босые ножки торчали по сторонам материнских спин. Иногда я встречала состоятельных молодых желтокожих девушек. Их лица можно сравнить только с утренней зарёй, как бы ни тривиально это звучало.

На плохоньких лыжах мы носились по бесконечным спускам сопок. Летом наш класс ходил в поход по заброшенным японским перевалам. Мы пробирались горами к побережью. Среди мачтовых высоченных сосен прозрачные речки несли куски угля. На пустых полках магазинчиков лесхозов были только соль, спички и водка. Пили там беспробудно. То же увидели мы и в шахтёрском городке, куда добрались вечером, усталые после тяжёлого горного перехода под ливнем. На ночёвку нас послали в зал клуба. Но пришлось долго ждать у моста, перейти который мешала страшная драка. Пьяные расхристанные мужчины, густо матерясь и по-звериному оскаливаясь, стегали друг друга до крови ремнями с металлическими пряжками – привычным оружием навсегда разоружённого народа.

Уснули мы, скорчившись на стульях заднего ряда клубного зала. Проснулись поздно от крика женщины-судьи: «Всем очистить зал! Всем выйти. Суд удаляется на заседание». Нас не было видно, и мы остались. Я прислушалась к диалогу судьи и секретарши суда. Затем разбирались другие дела – всё больше драки, убийства в пьяном виде. Трагический комизм этого нелепого судопроизводства ошеломил меня. Вроде бы не судьбы людские решались, а шла какая-то надоевшая игра с заранее известным исходом каждого дела. Лишь холодные серые океанские волны, бесконечные плети водорослей морской капусты и множество выброшенной на берег рыбы отвлекли меня от мыслей об ужасающей убогости жизни людей в сравнении с мощью природы.

Директором школы совместного обучения была очередная невменяемая особа – «баба Таня», как звали её за глаза. Она жила при школе, ходила в рваном чёрном халате уборщицы, из-под которого виднелись мужские кальсоны. Но к приходам комиссий она преображалась: надевала платье с кружевным воротничком и льстиво улыбалась. Я написала стихотворение «Размышление у школьного подъезда» (нетрудно догадаться, что написано оно точно по Некрасову): «Вот он, школьный подъезд... По торжественным дням, одержима холопским недугом, баба Таня с каким-то испугом подбегает к заветным дверям, где комиссия вновь заседает. В новом платье она, так мила, весела, и халат свой дырявый сняла...» Длиннющее произведение кончалось патетическим призывом: «О ты, школьный народ, так проснёшься ль, исполненный сил...» и т.д. Его стали переписывать. Списки попали к директорше, она дозналась об авторстве, вызвала меня, кричала, что не даст мне закончить седьмой класс, провалив на переводных экзаменах. Я кричала тоже: «А где в этом стихотворении неправда?» К началу экзаменов баба Таня заболела, и я с отличием закончила вторую ступень школы, сдав множество экзаменов, в их числе Конституцию. Своим скандальным авторством я завоевала уважение и защиту парня старше меня, дерзкого, смело рассказывавшего даже анекдоты про Сталина. Мне казалось, что он никого и ничего не боится. Похоже, что он был связан со взрослой бандой.

Надо сказать, что на Сахалине слишком чувствовалось близкое дыхание «Архипелага» ГУЛАГ. Поэтому жители острова совершенно иначе, чем в Европейской части Союза, относились к таким событиям, каким была смерть Сталина. Наш восьмой класс не хотел плакать об этом человеке. Мы, склонившись к партам, прятали лица в локтевых сгибах, иногда поглядывая друг на друга и на учителей с подозрительно сухими, но натёртыми докрасна глазами. Я наотрез отказалась от чести стоять в почётном карауле отличников у гипсового бюста вождя, мотивировав

это тем, что боюсь всё испортить из-за своего насморка – неприлично же вытирать нос, стоя в карауле. А ведь совсем недавно я с горящими глазами шла в горком комсомола для приема в члены ВЛКСМ. Человек шесть или семь со скучающими лицами сидели за покрытым красной тканью столом, глядя мимо меня. Кто-то задал мне стандартный вопрос по Уставу. Все единообразно подняли руки: «Вы приняты. Следующий». Идя домой, я подбадривала себя, воображая, как буду совершать трудовые и другие (неизвестно какие) подвиги, но возвышенный настрой исчез безвозвратно.

Вскоре отца перевели в Ворошилов Уссурийский (нынешний Уссурийск). Опять я – *новенькая* в классе в середине учебного года, с настороженным любопытством старожилы к хронической отличнице из чужой школы. К тому же, я успела на Сахалине неожиданно для самой себя занять первое место на региональных соревнованиях по спортивной гимнастике, поэтому вскоре после переезда пришли за мной прямо на урок директор нашей школы и руководство спортивной школы города. Я стала послушно заниматься спортивной гимнастикой, что не составляло для меня особого труда, но не давало такого наслаждения, как танец.

Но больше всего времени я отдавала книгам. Со стыдом признаюсь, что мой безупречный в первых классах литературный вкус, в соответствии с которым я предпочитала народные сказки в академических изданиях, где прочитывала все варианты, даже набранные петитом, этот мой вкус, начиная с шестого класса, мне изменил. Я зачитывалась какими-то душещипательными повестушками с «правильными» героями. Часто закрывала я книжку с увлажненными от умиления глазами. Отрезвление пришло неожиданно: я гуляла летом в сопках и на склоне одной из них наткнулась на каскад небольших бетонных садков. В них было лягушачье государство. Тысячи головастиков возле гроздьев икры, сотни уже оформившихся детёнышей, ещё не сбросившие хвосты младенчества, молодые нахальные лягушата, матёрые взрослые, многие из которых имели какое-либо уродство, – всё это жило в мелких ёмкостях с прозрачной водой и было удобно для наблюдения. Я трижды приходила к этому заповеднику и сидела там часами. Я думала о том, что если среди нескольких тысяч лягушек нет двух одинаковых, если их судьбы разнятся так сильно, что же говорить о миллионах людей, об их взаимоотношениях, об истории государств...

Умилительные персонажи легковесных книжонок оказались мне после этого однообразными, как целлулоидные пупсы. Ко мне вернулся литературный вкус. Я стала читать и перечитывать свои любимые «Путешествия Гулливера» – толстенький томик, подаренный мне отцом

к 11-летию. По сию пору я регулярно обращаюсь к нему, считая путешествия в Лапугу, Лаггнет, в страну Гуингмов шедевром социальной фантастики и сатиры. Одно описание бессмертных струльдбругов чего стоит! Четверть тысячелетия этого великого творения не состарили его. Если бы я составляла школьную программу, то включила бы его в список обязательных для изучения произведений.

Грянуло сокращение армии. Отцу предложили перевод в Магадан, что означало работу в ГУЛАГе. Он предпочёл увольнение за 18 месяцев до достижения полной выслуги лет. Поэтому всю жизнь (а он дожил до 85 лет) имел маленькую военную пенсию (на первых порах – 87 рублей) и постоянно работал до 82-х лет. Трое детей, две одинокие бедные сестры, нищенская зарплата юрисконсульта госпредприятия, комната на четверых в коммуналке – типичная жизнь советского интеллигента, прошедшего две войны, награждённого орденами и медалями, упрямо не желающего воспользоваться хоть какими-то привилегиями, даже когда такая возможность появлялась. Одно время он работал старшим юрисконсультом Управления пищевой промышленности Ленсовнархоза, но даже тогда не мог достать гречневой крупы для больной жены. И это вопреки тому, что рассказывал он же, правда много лет спустя, о пышных бисквитах, выпекавшихся в блокадном Ленинграде для партийных властей. Что это? Святая вера в коммунистические идеалы, подобная религиозной? Несгибаемая мораль истинного гражданина? Приверженность к комфорту безмятежного сна человека с чистой совестью? Лёжа на смертном одре, диктовал мне отец письмо к Ельцину с предложениями по новому уголовному кодексу... Идеалист! Он оставался в партии, несмотря на то, что мой брат, рождённый в Ленинграде, не имел права вернуться сюда из другого города после смерти своей жены, тоже ленинградки. Его не прописывали к престарелым родителям. Отец обращался в обком партии, но тщетно. Сказали, что не положено. Вот если бы брат был не университетский кандидат наук, а вышел бы из тюрьмы, отсидев срок за преступление, тогда прописали бы. Какое страшное бесправие, какое изощрённое издевательство! Похоже, что не случайно ВКП(б) переименовали в КПСС. А я-то возмущалась тогда, как могли не чувствовать всю противоестественность превращения коммунистов в эсэсовцев – обозначение СС после войны воспринималось однозначно. Но я убежала вперёд.

В 1954 г. наша семья вернулась в Ленинград. Проблема жилья для офицеров-отставников была вечной, и таковой остаётся. Мы снимали комнату в пригородном Ольгино. Старая хозяйка на мои вопросы «Вы, наверно, Ленина видели? И откуда у вас такие вещи ценные, у бедных-то?» ответила: «Ни о каком Ленине мы в революцию не слыхали,

знали только Троцкого, а бедными были больные и пьяницы. Кто работал, как в нашей семье, припеваючи жили, и приказчики в магазинах нам низко кланялись, хоть и были мы люди простые, держали пару коров и возили молоко в Питер на продажу по домам». Добротный двухэтажный дом её крепко запал мне в душу. Я хотела быть такой же «простой», чтобы иметь хотя бы небольшую комнатку, отдельную от всех.

Брата, выпускника Герценовского педагогического института (в Университет его не приняли как еврея, не помогла и серебряная медаль за школу), распределили в Якутию. Хозяйка с ужасом спросила нашу маму, за что его туда ссылают, а мама с горечью ответила: «За то, что с отличием институт закончил».

Я училась в красивой Ольгинской школе, где был замечательный завуч – математик Санкин Михаил Владимирович. Он играл на скрипке и чем-то походил на Эйнштейна. Закончила я эту школу в 1955 году с золотой медалью, но в вуз идти не хотела, так как не знала, кем хочу быть. Задумала поступить на завод «Светлана», чтобы работать на конвейере, но все жестоко высмеяли меня, обвинив в желании прославиться, мол, с медалью – на завод, чтобы в газетах об этом написали...

Юность. Университет и многие институты были для меня закрыты. Мешал все тот же пятый пункт. В ЛИТМО (институт точной механики и оптики) со мной не стали даже разговаривать, а когда я пришла на радиотехнический факультет в Политехнический (ЛПИ), мужчина из приёмной комиссии раздражённо сказал мне: «Вы что, с таким паспортом на такой факультет! Вам можно только туда, где недобор – на энергомашиностроительный или инженерно-экономический».

После сурового собеседования, пострашнее любого экзамена, отсеявшего десятки медалистов, меня зачислили на энергомашиностроительный факультет в группу судовых дизелистов. В первый же год я пожаловалась отцу, что совершенно не хочу здесь учиться, но он сказал, что денег у него мало, чтобы содержать меня, пока я буду прыгать из вуза в вуз: «Вот закончишь этот институт, будешь зарабатывать и учиться на вечернем или заочном отделении в другом вузе».

Каждое лето ездили студенты «на картошку», «на сенокос», «в колхоз». Для многих это было ужасом, и действительно, это было преступно и бессмысленно, но мне нравился физический труд на свежем воздухе. Наибольшее впечатление оставила поездка на «Целину» – в родных теплушках, затем в грузовике, который под конец волокли трактором по грязевой полосе, именовавшейся дорогой. В Красноярском крае на реке Чулым попали мы в экзотическое по этническому составу село. Там жили и староверы, и выселенные во время войны татары, и нем-

цы с Поволжья, и цыгане, которых согнали туда по вышедшему Указу об оседлости. Мы собирали урожай великолепной картошки, лопатили зерно и провеивали его на ручной машине – клейтоне. Пели на мотив известной песни: «Позабыт, позаброшен в Бирилюсский район, я тоскую по учёбе и кручу здесь клейтон».

Мы, три девушки (остальные дизелисты – парни), жили у немки. Она рассказывала мне, как их гнали от Волги пешком, не давая еды. Дети умирали у них на руках и их оставляли просто лежать у дороги. Предки их переселились в Россию чуть ли не при Екатерине, но все они с началом войны были объявлены врагами. Слышала я и другие горестные истории.

Однажды, когда мы втроем шли по единственной улице, старая цыганка вела своих женщин позади нас и громко объясняла: «Вот эта, в серёдке, интеллигентная». Мои подружки обиделись, почему это она только обо мне так говорит. А я не знаю до сих пор, как это определяют люди? Эта цыганка вскоре завязала со мной знакомство и интереснейшие вещи мне рассказывала. Ей было, что вспомнить. В молодости, красоткой пела она в Петербургских цыганских хорах. Жила на Охте. Я всматривалась в почерневшую, иссохшую старуху, вынужденную беспросветно и почти бесплатно тяжело трудиться на старости лет, и мне было жаль и её, и молодую красивую немытую цыганку, с которой я в паре крутила клейтон, и сероглазую Вареньку, явную славяночку, которую «воспитали, как цыганку», и нашу хозяйку-немку, и землемершу, беременную в её 16 лет от гигантского татарина, из-за которого дрались местные молодки, и вместе били стекла в избе той из них, у которой он заночевал. Мы от него слышали только два слова: «Давай, работай!» Сам он работал за десятых. Его мне тоже было жаль. Нам было по 19 лет. В том селе о нас, девушках, судачили: «Надо же, вроде бы и грамотные, и из себя ничего, а все трое – старые девы, жалость какая».

Когда я вспоминаю тамошний клуб с наклонным полом («Покажите мне дом, где бы пол не покат...», как пел Высоцкий), где молодёжь в ватниках играла «в ремешки» (снова ремни с пряжками), или так называемые детские ясли, где бесштаные сопливые младенцы копошились на чёрном от грязи полу без всякого присмотра, я неистово хочу, чтобы это увидели те, кто говорит, что народ «при социализме» жил хорошо.

Одну из практик мы проходили на Пензенском дизелестроительном заводе. Добирались туда на автобусе, который огибал территорию Пензенского велосипедного завода. Однажды мы увидели, как из-за высокого забора мощный кран опускает на специальный транспорт огромную боевую ракету. Кто-то из наших парней воскликнул: «Вот это велосипед!» Никто из нас не мог и мечтать о велосипеде, о машине я

уже не говорю. Ракетами и танками мы все были неплохо обеспечены, помните анекдот: «Какую марку машины вы предпочитаете для зарубежных вояжей?» «Т-34» – был ответ.

Мои «крестьянские занятия» продолжались всю жизнь, до последних лет. К ним прибавился также кошмар овощных баз, где непрерывно сгнивал натужно собранный «всем миром» урожай, а под открытым небом ржавело купленное за валюту зарубежное оборудование, которому так и не суждено было заменить наши руки. Только не подумайте, что я всё всегда видела в мрачном свете. Да, мне было жаль людей, жаль пропадающий урожай и технику, но почти до 50-ти лет не умела я пожалеть саму себя. Я была полна юного энтузиазма, оптимистична, жизнерадостна. По-видимому, я долго была глупо наивна, инфантильна и слишком погружена в романтические мечтания личного характера. И это всё параллельно с довольно ясным пониманием губительности существующей системы, а позднее – с осознанием чудовищной роли партии.

Мне казалось, что всё можно исправить, если все станут честно работать – какая-то нелепая смесь лозунгов официальной пропаганды и извечной российской маниловщины. С другой стороны, я понимала опасность любого сопротивления существующей системе. Но всё же не только страх удержал меня от вступления в какой-то подпольный кружок, куда зазывал меня однажды случайный знакомый, когда я училась на 4-м курсе. Расспросив его, поняла, что это будет просто критика того, что есть, но какой либо позитивной программы у кружка не предвидится. Тогда впервые я начала задумываться над вечным вопросом, что же делать? Никакого выхода я не видела, так как полное отсутствие правдивой информации не позволяло уяснить пороки системы в целом, всё дробилось лишь на непосредственно наблюдаемые фрагменты. Казалось, что эти отдельные недостатки можно устранить, оставив основы неизблемыми.

И если я, в конце концов, пришла к необходимости целостного, системного подхода, то обязана этим всё же своему Политеху, где блистательный доцент Зельдин преподавал общую теплотехнику. Нам, энергетикам, он давал обобщенный, философский подход к энтропийным процессам, рассказывал о неизбежности тепловой смерти Вселенной, если считать её замкнутой системой. Он будил в нас способность думать самостоятельно, предлагая давать собственные формулировки второго закона термодинамики. Именно он, а не философы-начётчики, бубнившие нам идеологически искажённые основы марксизма-ленинизма, вызвал во мне глубокий интерес к философии. Позже вёл у нас курс силовых судовых установок великолепный инженер и педагог Филумен Лаврентьевич Ливенцев. У него научилась я тому, как отвлечён-

ные, весьма общие физические законы, используются для решения вполне конкретных задач.

Тогда же астрофизик Козырев пытался достучаться со своей теорией времени до кастово замкнутой академической науки. Было обещано его выступление в ЛПИ. Три часа ждали мы в переполненном актовом зале главного здания, но лекцию отменили. Могу напомнить, что официальная догматическая идеология тогдашнего, почти средневекового, феодализма, коварно именовавшегося социализмом, строжайшим образом запрещала мыслить нестандартно. В кратком философском словаре 1954 г. издания генетики вообще не существует, а кибернетика определена как реакционная лженаука – оружие империалистов. Но запретные плоды влекли молодые умы, и один из нынешних серьёзнейших учёных – специалист в области искусственного интеллекта – Эрнст Куссуль – это бывший политехник из нашей группы.

Любое отступление от нормативного искусства тоже не допускалось. Мне как члену студенческого совета, некоторое время занимавшейся в изостудии, поручили оформить выставку работ студийцев к факультетскому вечеру. С упоением готовили мы длинную узкую комнату рядом с актовым залом, развешивали работы, любуясь ими – по-новому значительными в выставочном оформлении, волновались, впустив первых посетителей. Почти сразу явилась комиссия парткома:

- Кто разрешил?!
- Мне поручено студенческим советом.
- Закрыть немедленно!
- Я не знаю, где замок.

Мгновенно отыскался другой замок, и одна из первых (если не первая) выставка ленинградских художников-нонконформистов была закрыта примерно через 15 минут после открытия.

Известный режиссер Театра комедии, художник Акимов, вскоре забрал к себе в Театральный институт некоторых молодых политехников, участников той мгновенной выставки. Свои постановки выверял он на нас, студентах, раздавая нам контрамарки на генеральные репетиции. Я помню, как сидела почти рядом с ним, когда он за специальным столиком в центре зрительного зала помечал в своих записях, как и в каком месте мы реагируем на пьесу. У меня осталось чувство сопричастности к рождению его постановок, таких, как незабываемый спектакль «Опаснее врага». Город был тесно связан для меня с явлениями в искусстве. И в моих безвестных стихах упоминался «театр Комедии, как в скорлупе, спрятанный в Елисейском...»

Уже тогда в плоть и кровь молодых интеллигентов вошла потребность слушать живую музыку в филармонии, стоять в очередях, чтобы

попасть на новые спектакли наших театров и на гастрольные – театров из Москвы или Прибалтики, посещать все новые художественные выставки. Причём эти посещения не выливались в пассивное созерцание. Помню, как защищала я беломраморные скульптуры венгра Жигмунда Кишфалунди Штробла в споре с обвинявшими его в салонности. Искусство касалось нас непосредственно, будто мы сами были его творцами. Собственно, так оно и было – сотворчество зрителей, слушателей питало и вдохновляло искусство творцов.

Как ждали мы встреч с поэтами! Мало кому удавалось попасть, к примеру, на выступление Вознесенского. Тексты его стихов, когда он читал их сам, были гораздо смелее напечатанных вариантов. Мы с радостью убеждались в этом, сверяясь с томиками его стихов. Однажды долго мокли под дождём, не имея билетов на вечер Евтушенко. Он подъехал, мы кинулись к нему: «Женя, нас не пускают!» Он ответил: «У меня ничего нет, ни одной контрамарки, эти сволочи райкомовские всё забрали. Но посмотрим...» Небольшая группка осталась мокнуть и... открылась заветная дверь. Какой-то человек махнул нам: «Женя велел всех пустить, только тихо». Мы пробрались в зал, уселись, счастливые, на ступеньках, поскольку мест не было. Многие стояли. Не дыша, слушали «Бабий Яр», «Качку»: «Все инструкции разбиты, / стёкла шхуны тоже вдрызг, / лица мертвенны, испиты, / под кормой крысиный визг...»

Илья Глазунов выставлял свои ранние рисунки, героями которых были мы – обитатели общежитий и коммуналок. Мы ведь жили «у наших пап, у наших мам, у закадычнейших друзей и просто у чужих людей», как я писала своим приятелям в поздравлении с «новосельем» в чужой квартире...

Не знаю, какую цену давали власти непокорным, чтобы обратить их популярность себе на пользу. Но пролегал в творчестве некоторых из них трагический рубеж, и они забывали себя прежних и нас – их верных сотворцов. На концерте в свое пятидесятилетие так и не прочёл Евтушенко «Качку», хоть и просили мы его об этом в записках, да и просто выкриками из зала.

Мне рассказывал отец, лично слышавший Маяковского, что когда тот прочёл записку (читал сразу вслух): «Скажи-ка, гадина, сколько тебе за это дадено?», то мгновенно отреагировал: «Дайте мне эту рожу, я её растворожу!». Смерть его казалась моим родителям необъяснимой. Я думаю, что не только «любовная лодка разбилась о быт», но и неистовая вера гиганта-ребенка в коммунистические идеалы разбилась об иезуитскую подлость реальности. Он не потерпел обмана и «лёг виском на дуло», не захотев стать прикормленным живым классиком. Даже о мёртвых он говорил так: «Любите их в том времени, когда они рабо-

тали. Но пусть они огромным своим медным задом не застилают дорогу молодым поэтам, которые идут сегодня». Не случайно жаловался Высоцкий: «Меня похлопывают по плечу мои друзья – известные поэты, не стоит рифмовать «кричу-хочу». Не публиковали его при жизни как поэта, и только после смерти расхвастались, какими близкими его друзьями были.

А наши знаменитые эстрадные звёзды, сами с трудом пробившиеся, своими даже ещё не «медными задками» перекрывают все подходы к телевидению и радио новым лицам и голосам, если только речь идёт не об их родственниках. И я с отвращением выключаю однообразные песни, в которых одни и те же слова выкрикивают по двадцать раз. На каких дебилов рассчитано такое повторение?

Летом 1959 г. я гостила в Москве, разрываясь между множеством событий, свидетелем которых хотела быть. Самым значительным из них стала для меня первая в Союзе американская выставка. Отстояв бесконечную очередь, попала в запретный, незнакомый мир, почти с удивлением обнаруживая, что американцы такие же люди, как мы. Странные игрушки, электронные чудо-кухни, умопомрачительные негритянки-манекенщицы на показе мод, сногшибательные автомобили – ничто так не притягивало простых советских посетителей, как студенты-американцы, обслуживавшие выставочные стенды. Их обступали плотным кольцом и жадно выпрашивали. Мне помнится светловолосый парень у автомобиля «Форд». Он быстро отвечал на вопросы, иногда изумлённо поглядывая на толпу вокруг и вытирая пот со лба. Сколько он платит за обучение? Сколько зарабатывает на выставке? Почему чёрный хлеб в Америке? Вместо цен он называл количество часов работы, потребное для покупки, к примеру, того же «Форда», но нам это было непонятно. А кто вы по национальности? «Мои бабушки – французенка и полька, мои дедушки – англичанин и русский, а сам я – американец». Нравится вам Москва? «Да, но не нравится слишком длинный и трудный рабочий день на этой выставке», – и он отправился отдыхать, предоставив толпе задумчиво рассасываться, почёсывая в затылках: причём здесь часы работы среднего американца? Сиди, получай свои 100 «рэ» в месяц, и никаких «Фордов». Выше головы не прыгнешь, а чёрный хлеб сколько там стоит всё-таки?..

Окончание следует.

Алесь Таранович

НОРВЕЖСКАЯ ЭПОПЕЯ

«Есть одиночество в толпе, и есть одиночество лесное, есть одиночество, сопутствующее горю и одиночество морское, зачастую близкое к состоянию безмолвного душевного подъема»

(К. Паустовский)

Сентябрь. Северная Германия.

Ветер листает книгу дождя. Кое-где местами горит лазурный пламень небес. Раздвигая даль горизонта, стремительно несётся сыромятная лента шоссе. По сторонам мелькает калейдоскоп ухоженных полей и красивых деревень.

Хадебю.

Ещё недавно, если бы кто-то сказал мне, что столица викингов находилась в Германии, я бы рассмеялся в ответ. А сегодня нет. Потому что это правда. Действительно, одна из первых столиц викингов находилась возле сегодняшнего немецкого Фленсбурга, там, где пролегает кратчайший путь из Северного в Балтийское море. И в данный момент я нахожусь там.

Здесь убито и зарыто лето, пауки старательно собирают его осколки. Тени туч по-волчьи рыщут вокруг. На земле лежат отрубленные руки деревьев.

Время здесь ушло в небесное хранилище, остались лишь пригоршни моря. Меланхолическая грусть Балтики разлилась вокруг, унылые язиби и пески окрашены сангиной. Ветер – бессловесный пианист, хозяин здешних мест.

Песчаный берег прилежно тянет на себя одеяло волн, повсюду картаво горляющие чайки. Под ногами стлань прошлогоднего камыша, занесённого песком. У тружеников-шмелей истрепалась за лето кольчуга. На дюнах носится испуганный шорох тишины, улетающей в вольную волю моря.

История прошла по этому городу армадой танков. Хадебю – это была Ниневия викингов. Громадный и процветающий город исчез под ударами захватчиков, просуществовав всего 200 лет.

Какие мысли приходят в голову, когда стоишь на месте города, которого больше нет?

Кто были эти люди, растившие в этом месте колосья счастья? Воины, рыбаки, купцы, ремесленники? Огромные рыжебородые мужчины, льноволосяе женщины с глазами цвета балтийской волны? Сегодня уже невозможно представить, что в здешней гавани выстраивались вереницы судов, груженных рыбой, солью, янтарем, шукурами и зерном, китовым жиром и точильным камнем.

Всё перемололи косые жернова истории. Прошлое стучится в двери отреставрированных поморских хижин, но ему никто не откроет.

Хочется запить эту есенинскую грусть глотком вина...

Вот и луна уже прилегла на краешке холма, и ворон собирается проглотить её олово...

Норвегия.

Порт. Паром. Кристианзанд. Южная Норвегия.

Тина с запахом аптеки висит на портовых сваях. Небосклон обнял море. Выставка скульптурных облаков примостилась у горизонта.

Ну, здравствуй, Норвегия! Душа течет по голубым дорогам ожидания.

Из трюма корабля выкатывается бесконечная вереница машин. В разноязычной толпе преобладает немецкая речь. Ни о каком таможенном контроле речь даже не идет.

Вперед, на встречу с тайнами и таинствами прозы Норвегии! Тронулись!

Справа и слева выстроились горы. Горы эти невысокие, но в живописности им не откажешь.

В сотканном из ситца небе птица-осень машет крыльями берёз. Она уже взяла в руки краски и смешала их на палитре гор. Глаз художника схватывает это хроматическое пиршество: сочетание вишнёво-красного, приглушённо-фиолетового и оранжево-кадмиевого с бирюзой и ультрамарином. Первое – за счёт типичных скандинавских домиков, последние – за счёт многочисленных озёр и заливов...

Итак, Норвегия стала реальностью. «Crying in The Rain» – отныне музыка трёх рослых викингов из «А-НА» будет неотступно следовать за нами две недели...

Норвегия, как страна, долго не открывалась мне по своей подлинной, эпической сути. объездив Швецию и Финляндию, сделал вывод – да, скандинавские страны имеют красивую природу и не ахти какую культуру (на фоне, к примеру, Италии, Франции и Германии). Мнение о Норвегии было и того хуже.

Помню, с детства, я знал лишь то, что одна часть Норвегии, это поля, засеянные ячменём и картошкой, другая часть – мрачные и голые скалы у моря, где всегда идёт дождь. Люди, потомки Викингов, суровы и негостеприимны. Сказки о троллях тоже не радовали. Если честно, то картины Мунка так же не вызывали большого восторга. Да еще в «Тружениках моря» Виктора Гюго попало такое описание Лизенфиорда, что хоть ты вешайся. В общем, из всех европейских стран в Норвегию тянуло меньше всего...

Началось всё после того, как знакомые рыбаки шокировали рассказами о фантастических уловах диковинных рыб, больше и тяжелее человека, о китах и дельфинах, выворачивающихся возле баркасов, о плаваниях во фиордах, окруженных скалами чудовищной высоты и умопомрачительной красоты. И надо же такому случиться – подарили мне каталог с описанием рыб Норвегии!

А тут еще и время интернета подоспело. Я влюбился в этих рыб...

* * *

В расселинах скал показался серый, зоркий глаз фиорда, будто залитый холодным студёным оловом, дома, разбросанные на склонах фиорда и надпись – «Snick».

Прибыли. Мы остановились и вышли из машины.

Воздух был такой свежести и сочности, что его можно было наливать в бутылки.

Все дома в посёлке имеют одну особенность – нигде нет ни заборов, ни огородов, только фруктовые деревья. Это дома рыбаков. Туман, местами ключьями висящий над горами, писал акварель «по сырому». По небу плыли паруса облаков, жалкие остатки солнца погибали в заливе, но от берёз, горевших, как свечи, на фоне чёрного леса, поднимался к небу тихий жёлтый свет...

Нас радушно встретил хозяин дома Харальд: высоченный, тяжёлый, рыжелицый. Зоркие грифельно-серые глаза, тонкий профиль крепко вытесанного бревенчатого лица, сильные руки с набухшими венами, мощ-

ный торс, разрывающий рубашку. Видимо, бывший рыбак. Громогласный и в шёпоте. Расцветающий в застенчивой обаятельной улыбке.

Секунды замешательства, взаимной приглядки столь не похожих людей, не изменяющих вечной романтике путешествий... обрывки немецких и английских фраз...

В его доме мы будем жить целых две недели.

Четырнадцать дней мы будем без радио, газет, телевидения, телефонов, компьютеров. Мы будем есть и пить, упиваться Норвегией, её родниковой водой, морем, лесами, горами, фиордами, скалами...

[211]

* * *

Идём по посёлку, приткнувшемуся у края уютной бухты посередине ощерившегося скалами фиорда. При первом же взгляде на здешнюю природу становится понятным, что тут, как и в Египте, ничто не задаёт временные рамки, прошлое и настоящее здесь – одно целое и время не подчиняется законам мироздания.

Так было здесь и пятьсот, и тысячу, и десять тысяч лет назад.

В самом же рыбацком посёлке была сконцентрирована вся харизма норвежской деревни: полное безлюдье, тишина, уют, дома только двух цветов – белые и красные. На окнах нет ставень и занавесок, как нет и номеров на домах. У каждого хозяина по несколько домов, по несколько лодок.

Мы будем жить в деревянном, старинном доме, в котором живут души красивых светловолосых, с прозрачными глазами, женщин, запечатлённых на старых фотографиях.

День первый.

Проснулся от неестественной тишины. Поначалу даже не поверил. В темноте, на ощупь, подошёл к окну: ночь всё ещё терлась о плечи гор. Её дёготь был разлит повсюду, но рассвет уже был на подходе, он притворился дымкой в сером плаще. Глаза фонарей плясали между рыбацких баркасов...

Господи! Еще сутки назад я слушал тяжёлое дыхание мегаполиса, города, где повсюду были расставлены кактусы, выставившие наружу колочки цинизма, от которых, казалось, нигде не было спасения. Теперь этот мир бессмысленных и трагических случайностей остался позади... Побег из города, населённого человеко-муравьями. И вот ненасытная жадность к новизне и открытиям материализовала для меня сказку!

Полусон, полуявь, полумрак... Быстрый завтрак на скорую руку, сапоги, плащ, спиннинг, фотоаппарат и вперёд, навстречу мечте...

Озабоченные птицы пили брусничное вино зари. Жалкие остатки звёзд слезами стекали по небу. Заря уже запела золотой флейтой утра, повсюду зазвенели струны розового всполоха, но в расселинах скал увядшая ночная тьма всё ещё отпадала лепестками... Лента дороги уходила в лабиринт леса и скал, где-то там спала химера запутанных дорог...

Куда вели эти дороги, я не знал, но точно понял, что они сулят много неожиданного, дающего пищу размышлению. Фосфорный елея неба дышал загадками столетий. На горном серпантине чёрные отроги сдвинули челюсти.

Солнце начало щедро дарить окрестностям свои морковные лучи, от которых заструились алмазы ночной росы. Кое-где уже загорелся лазурный пламень небес...

Дорога шла берегом фиорда, а вдоль него брела брусника. С одной стороны её теснили отвесные скалы, широкие и тяжёлые, как наковальни. Под скалами светился жидкий изумруд.

С другой – была гавань вся утыканная лодками и катерами. На золотистой отмели сверкали чёрные кили рыбацких баркасов. Лёгкая прибрежная волна доверчиво ласкала зыбкую тишину. Нигде ни души, только тяжёлый полёт морских орлов...

Каменноглазая вечность глядит в упор. И только в небе стеклорезом прошлестел одинокий самолётчик. Вокруг него были видны следы полёта полупрозрачных ангелов...

Интуитивно я пошёл в горы, туда, где солнце длинными щупальцами заряжало аккумулятор дневной дуги. Услышав отдалённый говор реки, тосковавшей вдали, пошёл на звук. Лесная чаща была как огромный собор, наполненный химерами воображения.

Повсюду пьяный настой трав Севера. Неродная, таинственная осень...

Нащупал на поясе рукоять кинжала... Но лес был пуст и молчалив, оставалось только видеть тишину и слушать её глазами.

Повсюду попадались грибы: лисички, рыжики, белые, опята (и это в двухстах метрах от деревни!) Я не брал их, а только запоминал места.

Лес был не похож на наш, средневропейский. Его прохладный малахит был инкрустирован янтарной грустью. Кругом были разбросаны большие и маленькие глыбы и скалы, покрытые ковром из мха и чешуйчатым бессмертником-иммортелем. Они лежали и жмурились от дремоты.

На дне лощины, откуда тянуло влажным и пахучим холодом, звонко журчал ручей. Я попробовал на вкус норвежскую воду, она была замечательно вкусна... В глубине леса блеснул изумрудный глаз озера. Я пошёл туда напрямую, сквозь чащу, невзирая на цепкие пальцы шиповника,

хватаящего за рукав. Вот и оно в обрамлении прекрасного багета из камыша. Оно ослепило меня своей лёгкой зелёной улыбкой. Я пригубил его воду как вино и заглянул в его глаза. Это были глаза Норвегии...

Звук грохочущей реки всё ближе, вот и сама она извивается среди скал и валунов, уступ, за уступом преодолевая склон огромной горы покрытой лесом цвета мёда и меди. И чудо – прямо под маленьким водопадом из мха торчат красные головки подосиновиков... Скорее за фотоаппарат!

Еще больший сюрприз ожидал меня на вершине самой горы.

Встречаясь с морем, я не могу избавиться от чувства таинства. Оно вызывает волнение и требует новых слов. Обычные слова мне кажутся неприменимыми к морю. Они жухнут и тускнеют в соприкосновении с ним...

Кроме изумительной перспективы на открывшееся внизу море и фиорды, я обнаружил там древний склеп, выложенный из огромных камней. От увиденного захватило дух! Словно материализация музыки Грига и снов Бога. С трудом преодолевая волнение, проник вовнутрь склепа подышать ароматом воздуха викингов.

Вокруг простирались другие горы, туго связанные ленточками троп. Пятьсот метров в высоту и пятьсот метров вглубь фиорда... Монолитные глыбы сжимают в объятиях сапфировые воды.

Что испытывает человек, родившийся на равнине? Экзистенциальный, благоговеиный трепет... Раздолье полёту фантазии сентиментального романтика. Отлетает захмелевшая душа... Чувствую, как ноги проваливаются в прошлое...

Отсюда я спускаюсь узкой, крутой, явно древней тропой, к лежащему у подножия горы большому заливу с галечным пляжем, расположенным на границе фиорда и моря. Нелегка была эта дорога среди скал, но вот я, наконец, ступил на ровную землю.

Это был луг. Словно не износившаяся за лето скатерть трав ярко зелена.

Бреду по лугу и явственно слышу какой-то подземный гул. Что это? Может быть, поступь отрядов светловолосых воинов, захороненных здесь после набегов на континентальную Европу. Ведь морем на вёслах отсюда не более двух дней ходу туда...

Вот и галечный пляж. Он завален морской капустой, видно здесь славно поработал шторм.

И небывалая, неземная тишина, только тихий шёпот волны, с сожалением уползающей обратно... Я стал ломать тишину непослушными пальцами...

Гора жаловалась мне на тяжкое бремя своей красоты. Я поднял голову и над горой увидел парящего полупрозрачного ангела тишины...

И тут почувствовал, как песок времени стал зябко сползать из-под ног в бездну... Началось какое-то четвертое измерение... Залив заполнили длинные струги викингов. Из приземистых хижин, сложенных из толстых неотесанных брёвен, вышли толпы могучих светловолосых и рыжебородых воинов.

Отсюда, из-под Ставангера, крайней южной точки Норвегии, они отправлялись в свои, наводящие ужас в Европе набеги. В северных районах Англии до сих пор не любят светловолосых иностранцев. Эти люди жили простой жизнью, лишённой модуляций и оттенков: охота, рыбная ловля, война, набеги. Здесь века и народы спешили сделать свое дело...

Викинг.

Мало кто из древних воинов так будоражит нашу фантазию, как викинги.

В течение почти пятисот лет они доминировали в Северной Европе. Слово «викинг» было не этническим термином и не означало принадлежность к какому-нибудь народу. Викинги были и у норвежцев, и у шведов, и у датчан, и у балтийских славян.

Пойти в викинги означало то же, что пойти в янычары, казаки, гайдуки и т.д.

Они всегда побеждали своих противников, даже таких сильных, как англосаксы и франки. В чём секрет их побед? Отчасти в исключительных физических данных и воинском мастерстве. Но не только. Викинги впервые в истории ввели в состав своих отрядов своего рода «киборгов», людей-роботов. Их называли «берсерки» – «бешеные медведи». Это были бойцы, с помощью психотропных средств, настоев разных трав и корней, грибов типа мухоморов, доводящие себя перед боем до экзальтации и неменяемого состояния, позволяющего с огромной силой и яростью крушить врагов. После боя, как правило, эти люди впадали в прострацию и глубокую депрессию и удалялись в пещеры.

Налёты на чужие земли они воспринимали как общенациональное предприятие. Верили, что их Боги дадут им новые земли. Их корабли, словно крылатые драконы, летали по морям. География завоеваний потрясает: Дублин, Ессекс, Париж, Севилья, Лиссабон, Северная Африка, Гренландия, Исландия и даже восточное побережье Америки. Благодаря знаменитому пути «Из варяг в греки» они добирались до Константинополя, Багдада и даже Китая! Эти бесстрашные мореплаватели покрывали громадные расстояния на Запад, на Север и на Юг. «Мы в море родились – умрём на море!»

Это стало возможным благодаря удивительной конструкции их судов. Столетиями эти мореходы совершенствовали искусство судостроения. Они изобрели пять типов кораблей, каждый по назначению.

Главными, безусловно, являлись «дракары», длинные, быстроходные, развивающие до шестнадцати узлов в час, боевые суда, вмещающие до восьмидесяти человек. Далее следовали «кнары», широкие и высокие торговые корабли, вмещающие до сорока тонн груза, ведь викинги были еще и купцами. Отдельно шли рыбацкие и паромные корабли. На таких рыбацких, сделанных по технологии викингов, норвежцы выходили в море вплоть до первой мировой войны.

Во всех крупных поселениях викингов были свои судоверфи. Строили без чертежей. Секреты передавались из поколения в поколение. Корабль строился много месяцев.

В основании лежал дубовый стрингер из цельного ствола дерева. Очень гибкий, он мог выгибаться по краям на один метр – это было важно при сильном шторме.

Стрингер обшивался досками по клинкерной технологии – внахлёстку на заклёпках-гвоздях. Она обеспечивала кораблям большую гибкость по продольной оси. Жёсткую конструкцию волны бы разбили. Впоследствии эту технологию переняла вся Европа. Такой корабль шёл по поверхности, почти не погружаясь.

Шпангоуты делали из цельных кривых ветвей. Но самое удивительное, что доски для обшивки корабля не выпиливались, а вырубались топором! Этим не нарушалась волокнистая структура дерева – такие доски обладали необыкновенной прочностью. Они затем конопатились просмоленной шерстью. Также из шерсти, а не изо льна делались паруса! Такие паруса пропускали через себя воду и не намокали. Мачты были съёмные, чтобы не рисковать во время шторма. Их могли убрать за две минуты!

В открытом море эти отважные мореплаватели руководствовались звёздами и деревянными солнечными компасами. Если солнца не было, пользовались толстой полупрозрачной пластиной из исландского шпата...

В совершенстве владели астрономическими знаниями. В любой стране точно вычисляли время приливов и отливов. Составляли доскональные карты морских путей. Вычисляли расстояния по взмаху весла.

С собой в дорогу брали только зерно, китовый жир, мясо тюленей и сушеную рыбу. Делали её из трески, и только в зимнее время. Объяснялось это тем, что в это время к берегам Норвегии подходили несметные косяки огромной, по пятнадцать-двадцать килограмм трески, называ-

емой по-норвежски «скрэй» – «странник». Из изумительно вкусного, белоснежного мяса скрэя и делалась сушёная рыба двух видов – «клинфиск» (с солью) и «стокфиск» (без соли). Без преувеличения можно сказать, что для длительной транспортировки в походных условиях это был продукт номер один. Вялили мясо скрэя, развешивая тушки рыбы попарно на огромных шалашах из жердей.

И сегодня этот продукт популярен в североевропейских странах, и как ни странно, в Португалии, Испании и Италии, где треска не водится...

* * *

В чувство меня привёл звон целого роя мошкары, охваченного дрожью, над головой...

Облака неслись по небу, словно река времени.

Настроив своё сердцебиение в унисон с сердцебиением тишины, я потерял счёт времени. Сбылась давняя мечта – выйти малиновой ранью на берег моря и помолчать в унисон с природой среди густого бальзамического запаха выброшенных на берег водорослей...

День прошел незаметно...

Домой шёл уже в сумерках, которые синими пластами ложились на воду, серели на прогалинах, из падей вырастала тьма, а болото, вокруг которого горели костры рябин, курилось белым туманом.

С железным посвистом прямо над головой прошелестела птица... Закат был окрашен хной и изнывал от тяжести туч. Ночь вышла из моря и неспешно двинулась вдоль скал поступью королевы.

Млечный путь, как наваждение, струился в небе.

Далеко в лесу кричали коростели. Я сбился с пути, шёл наугад, и мне всё время казалось, что опять за поворотом дороги откроется ещё один залив викингов...

Вечером, проваливаясь в сон и разбирая луковицу памяти прожитого дня, я опять увидел полупрозрачного ангела тишины... Я вспомнил, что ангелы отзываются на радость, потому что это то, из чего они сделаны...

Прейкештулен.

Почти километровой высоты, словно под линейку вычерченные, вертикальные скалы обрываются в воду... Стена троллей... Её называют «Кафедра проповедника» за плоскую, как стол, площадку двадцать на тридцать метров наверху.

Зрелище с воды просто потрясает, кажется, что ты попал в обитель Бога... Это один из самых красивых скальных утесов в мире.

Его ещё называют главным небоскребом Норвегии. Кажется, что над этой суровой красотой поработал чей-то гигантский резец. Стоя на нём, понимаешь, что это дыра в небо, где невероятно сильно работает земное притяжение и ловишь себя на мысли, что всё время хочется вцепиться руками за выступы скалы...

Къёрагболтен.

Также как и Прейкештулен, слово знакомое только фанатикам Норвегии. Эти два места входят в тройку основных достопримечательностей страны.

Каменная горошина, размером два на три метра, зажатая в ращелине скал на высоте одного километра над водой. Даже просто при взгляде на фото, кажется, что это фейк, что такого быть не может...

Чтобы сделать фотографию оттуда, нужно терпеливо стоять в очереди.

Находиться на ней – зрелище не для слабонервных. Тем более, когда узнаёшь, что не один уже бэйс-джампер разбился, прыгая оттуда.

Восемнадцать секунд свободного полета к смерти...

Рыбалка

«Зловещий визг серебряной рыбалки».

(И. Бунин)

Проснулся, как обычно, засветло. Так рано, что казалось: мгновение раньше – и застал бы ночь врасплох, подглядел бы её ночные тайны.

Первый взгляд фиорду. Он спит в этот час и чуть сереет в рамках сизых, тоже сонных гор. Они поутру серые, днём сиреневые, на закате багряные.

Ночь и мелкий дождик тихо прислонились к окну. Но вдалеке над горами рассвет уже пронзил ночь холодной бритвой. Залив под нами застыл, оглушенный ночной тишиной. Пора. Разбудил остальных.

Быстрый завтрак, облачение в мощные комбинезоны. Берём сапоги, ведра, снасти... всё с собой, пошли...

Первый выход в море, напряжение как перед боем.

Наплывал ядреный воздух залива, шуршание дождя по крышам напоминало звуки Шопена.

Идём дорогой, по которой шли десятки поколений рыбаков. Кто знает, может быть, мы первые русскоязычные из них, хотя на севере Норвегии за две с половиной тысячи километров отсюда, у Мурманска, русских сегодня немало.

Невод зари, чуть подкрашенный веронезом, зачерпнул небо.

Быстрая погрузка в баркас, взревел мотор и мы, как на крыльях, понесли по гладкой и дымной воде навстречу солнцу. Проходим между двумя огромными скалами, сходящимися на расстояние пятидесяти метров, как Сцилла и Харибда.

[218]

Их лесистые вершины окрашены светло-малиновым пламенем. Дивное, незабываемое зрелище!

Баркас продолжает рассекать стекло морской целины. Эхолот показывает быстрое увеличение глубины. 30, 40, 50 метров! Но по норвежским меркам это еще не много. Обычно ловля крупной рыбы происходит на 100 метрах. Как бы там ни было, надо пробовать. Само главное – вначале поймать мелкую рыбу для наживки.

Четыре мощных спиннинга по 5 крючков каждый уходят под лодку. Пять минут, десять, поклёвок нет, меняем место. И тут же радостный крик: «Есть!» Затем еще и еще. Попали на стаю макрели. Заброс, 3-5 оборотов катушки, удар, подсечка и серебристая рыба торпедой ходит под лодкой. А иногда 2, 3, 4, и даже 5 сразу!

Ящик быстро наполняется трепещущей добычей. Это радует. Свежая макрель (скуприя по-русски) жареная в яйце, изумительно вкусна и, на мой взгляд, превосходит лосося. Впрочем, и копченая она не хуже. На море полный штиль. Вёсла уснули на стеклянной глади моря. Куда не кинешь взгляд, всюду жидкий глянец двух зеркал – воды и неба, только маленькие острова, сложенные из сиреневого гранита, нехотя выползают из воды.

Ящик полон трепещущего серебра, и скоро дневная норма в пятьдесят килограмм выполнена. Пришло время охоты за крупной рыбой. Макрель филетируется, с неё снимаются тонкие полоски филе, идущие на наживку. На конец толстой лески ставится блесна с тройником, выше неё пять поводков с большими, очень острыми крючками, наживленными макрелью. Снасть уходит на глубину сто метров, блесна касается дна, следуют равномерные взмахи удилища в ожидании поклевки...

Штиль, однако, закончился, пошла мелкая волна, лодку закачало. Я взглянул на небо – солнце погигало среди мрачных туч. По небу понеслись пятнистые олени облаков.

С кормы раздался крик: «Удар! Есть!»

Володя тащит первую большую рыбу. Подмотка идёт долго, глубина большая, леска тащится тяжело.

– Багор нужен?

– Нет. Так обойдусь!

Из прозрачной воды медленно наплывает белое, пока еще неясное пятно.

Рыба почти не сопротивляется, это обычно при ловле на глубине. Резкий перепад атмосфер часто просто парализует её. Володя подхватывает под жабры и вбрасывает в лодку трёхкилограммовую рыбку с огромными зубами. По-немецки её называют «Steinbeiser» – «Грызущий камни». Как вам имечко?

– С почином тебя, поздравляем!

Через пару минут такую же рыбку вытаскивает и Виктор.

У меня тоже удар по леске, сопротивления нет. Снасть идет тяжело, возможно зацеп, здесь это обычное дело, ведь дно моря покрывают огромные кусты морской капусты. Неожиданно подтаскиваю к лодке большую треску. Вот здорово!

Сканирую её взгляд. Она удивлённо и равнодушно созерцает наш экипаж. Глубоко заглотила наживку, в ход идут плоскогубцы...

Море уже здорово штормит, а клёв только усиливается, рыба словно одурела, бросается на наши приманки. Ветер уже рвёт седые полосы воды, обрушились сильные струи дождя, невдалеке у скал уже слышен грозный рокот моря, вспаханного ветром, который воет гобоем. Он сводит тучи лбами. Небо пугало роскошью своих зловещих красок: серое, черное, багровое, ультрамарин с оттенком берлинской лазури.

Унеслись прочь обломки иллюзий, – идет шторм. Но на это никто не обращает внимания. Володя с трудом втаскивает в лодку огромную треску...

Риск – это адреналиновый кайф. Это то, чего не хватает современному мужчине, и он ищет его в море. Пробую уговорить их окончить ловлю, – бесполезно. Они не хотят замечать, что нас на большой скорости несёт на прибрежные скалы, где море грохочет со звуком артиллерийской канонады. Буря становится тренажёром нашего терпения. В тревоге она заламывает руки и швыряет в лодку отчаяние волн. В скалах они грохочут кимвалами. Море кажется ожившим троллем, который решил непременно расправиться с нашим судёнышком. Оно кипит как в кастрюле.

Страшным ледяным глазом сверкает маяк... Крутом тяжёлой, полновесной ргутью ходят валы. Истерик-ветер беснуется по кипящей пучине. Баркас проваливается в овраги, покрытые метелью из влажной пыли и полные пены...

Но страшно было другое. Эхолот ежесекундно показывал глубины и параллельно рисовал карту дна. Сто метров, через две секунды – двадцать, еще через секунду – два... Нонсенс!

Прибор явно вышел из строя. Но карта дна всё время показывала какие-то высоченные столбы и тут мелькнула догадка: под нами подводный горный хребет, местами выходящий на поверхность! Подтверж-

дением этому были маленькие скалистые островки три на пять метров, из мрачного гранита, разбросанные вокруг, и странный железный столб, стоящий посредине моря. Означало это только одно – он показывал вершину подводной скалы, выходящей почти к самой поверхности!

Из бездны поднялась гора, и ангел-губитель взялся рукой за нашу корму... Какой это жанр? Драма или симфония восторга? Что задумал небесный режиссёр?

Это был смертельный риск, ведь нас бросало, как щепку... умереть здесь, в объятиях волны... ради чего!?

Только эти доводы убедили остальных сворачивать снасти.

Взревел мотор и, взлетая на волнах, проваливаясь в водяные ямы, наш катер пошел на базу. С трудом мы вырвались из бушующего моря в фиорд, завернули за скалу... и были поражены увиденным. Ветер, несущийся мимо, сломал крылья и упал на воду. Здесь была тишь да гладь. ...

Но радости было мало. Мы вымокли до нитки, вокруг было столько сырости, что хотелось выжать, как губку в кулаке, и катер, и луг, и лес, и одежду, и мысли...

Ветер всё ещё листал книгу дождя, когда наш баркас, облаянный чайками, устало ткнулся в пристань. Со всех сторон глухоманью надвигались сумерки... чайки ловили клювом первые звезды...

Телом был выстрадан день, мы лежали ржавым металлоломом на складе вторсырья...

Реальность возвращалась с каждым глотком коньяка, куда-то отлетала захмелевшая душа. Вновь захотелось перечитать Джека Лондона...

На весь оставшийся отдых было поставлено тоскливое тавро осени... Лёжа в постели, я взглянул в застеклённое чьим-то взглядом окно. Отсканированные подсознанием там плавали пойманные сегодня рыбы...

Ночь.

Прозрачная норвежская ночь цвета мокрого асфальта. Не спится уже второй час. Я один в зеленоватом полумраке комнаты.

Все стулья у камина завешаны рыбацкими куртками и штанами. Комната освещена светом старой латунной лампы под зелёным абажуром. Растрескавшийся дубовый стол завален блёснами, крючками и катушками. Старые книги на полках шелестят множеством маленьких жизней. Одна из книг мне хорошо знакома, это «Кристин – дочь Лавранса». Старый дом над фиордом издает какие-то звуки, скрипы и стоны...

Плотным слоем под потолком притаились спрессованные сны прошлых его жителей, могучих рыбаков и крестьянок. Я знаю, что эти сны

можно разрезать, распилить на пласты, выбрать самые интересные. Знаю также и то, что когда мы уедем, сюда спустятся эти обитатели дома.

Мелькнула мысль: «Какая ночь за окном! А не пойти ли исследовать её на ощупь?»

Нехотя поднялся и вышел в застегнутое на все пуговицы пространство. Одетая в чёрный бархат, ночь была великая, как и прошлое этой страны.

Одна из потерянных нами латунных блёсен примостилась на небе.

Тьма обступила глухоманью со всех сторон, только далеко внизу в воде плясали желатиновые глаза фонарей. Да струящийся свет из звездного ковша незримо омывал землю. Не торопясь, кто-то наигрывал на чёрных клавишах ночи...

Сквозь её толщу я опять увидел полупрозрачного ангела тишины.

Решил побродить по берегу фиорда, поблуждать в метафорах спящей Норвегии.

Прозрачная норвежская ночь, цвета мокрого асфальта, прочно слилась с настороженной тишиной.

Я развел костёр, слушал треск сучьев и думал о том, что жизнь прекрасна, если не бояться и принимать её с открытой душой... Главное, входить в природу, как входит каждый, даже самый слабый звук в общее звучание музыки. И тогда уже нельзя будет отделить свежесть утра от цвета любимых глаз...

И в этом огне над громадным застывшим фиордом была заключена такая полнота жизни, что не хотелось ничего иного, как только лежать часами, смотреть на костёр и не думать ни о чём... Ни о чём, кроме как о целостности жизни и её духовном поиске.

Одиночество – это неизбежная печаль и счастье художника, саморефлексия, когда приходит пора безмолвного подъёма и ты становишься противником всякому разговору. Тогда невозможно физически растрчивать слова с людьми, враждебными к красоте за то, что она существует независимо от их воли...

Молча смотрю, как лики молодой луны лессируют воду ночной бухты. Мечтой серебрились воды... Я понял, что Норвегия забрала меня в плен...

Финал.

Ставангер. Порт. Паром. Дождь.

Октябрь сыпет медными монетами и мёрзнет на берегу. Мягкий чернильный вечер, опускающий шторы на оранжевое умирание дня.

Опять вереница машин, только на этот раз в обратную сторону.

Полная блокада эмоций. Туманное золото фонарей колыхнется в портовой воде.

Корабли разрезают голодные трюмы, подъёмные краны кивают длинными, умными клювами.

В дождливой вуали виден силуэт рыбацкого сейнера, который зачерпывает море серебряным неводом.

Ловлю себя на мысли, что ревную Норвегию к её рыбакам. Мы оставляем женщину-осень по имени Норвегия.

Сиренические голоса «А-НА». «Stay On These Road» – музыка, похожая на влажность радуги.

Дождь проходит сквозь нас. В загрубевших ладонях тает запах моря, рыбы, вереска.

Порванные снасти, потерянные блёсны, полтонны замороженного рыбного филе в машине...

Прощай деревня Сник, прощай Харальд, теперь долгими зимними вечерами ты будешь смотреть, как и твои предки, в окна, где снежные сумерки будут падать в воду залива, а птицы и вьюги петь в унисон...

Прощай дом на горе, теперь в твоих старых подвалах голодные крысы будут атаковать привидения...

Память сложила на потайное дно ворох цифр, деталей, запахов и фотографий.

Я уже знаю, что буду приезжать сюда вновь и вновь. Тысячу лет я буду просыпаться, ставить кофе под «Stay On These Road» и уходить в море навстречу солнцу.

Целые дни буду просиживать на берегу пустынного галечного пляжа под скалой, где воздух пьянее вина. Буду молчать. – Норвегия сама будет диктовать свои тексты.

Я знаю, что нашёл здесь свой остров уединения. В каждой новой точке земли я ищу такой остров, место, где мятежная душа ищет успокоения. На горе у старинного склепа я брошу монету. Её будут поливать дожди с Атлантики, она вырастет большим деревом...

Я буду думать, волноваться, как переносят зиму мои скалы, валуны, деревья, звери и рыбы...

Теперь слова Къёрагболтен, Прейкештулен, Сортрондерлаг, Гейрангерфиорд слетают с языка легко и свободно, как паруса ветров и птиц.

Что это было?

Годы, как чемоданы, мы оставили на вокзале. Мы были на празднике глаз и слуха. Мы чувствовали вкус жизни со всеми его полутонами, восхищались мощью природы и зависимостью от неё человека. Тысячами глаз на нас смотрело в упор прошлое Норвегии. Это было потрясающе – открыть незнакомую страну за пределами городов.

Мы пережили удивительный магнетизм происходящего, когда простые эпизоды жизни превращались в завораживающе-мистическую новеллу. Мы узнали, что имел ввиду Паустовский, говоря о зове морских вод.

Мы испытывали ощущение нереального, крылатого существования. Мы подымались на какие-то новые, неизвестные высоты духа.

Ничто в моей жизни глобтроттера не вызывало такого заразительного интереса, не открывало в сердце такой захватывающей любви, не заставляло вспомнить всю прямоту и неподкупность детского зрения... Вспомнить точность этого зрения... всё то, что, казалось, было давно потеряно, забыто, потонуло в нарастающем водовороте и хаосе времени, в сутолоке ежедневных забот...

Вибрирующая граната сердца, утонувшее солнце, гудки пароходов, тихая грусть, шелестящие звуки слов:

«Farvel, Norge! Jeg vil virkelig savne deg... (До свидания, Норвегия! Мне будет тебя не хватать...)

Карл Абрагам

СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ ДЕТИ

(Окончание. Начало в альманахе «До и после» №18)

«Враги народа», заполнившие лагеря по приговорам 1937-38 годов, состояли в основном из мужчин. Женщины тоже были, но в значительно меньшем количестве. Главное – не было детей. Польские евреи ехали в ссылку всей семьёй, со своими детьми, которым ещё предстояло вкусить в полной мере изуверские порядки сталинских лагерей и пережить вместе со взрослыми холод, голод, болезни и смерть близких.

После путешествия по железной дороге, а то и на баржах по реке, люди шли пешком к месту ссылки. Иногда это были десятки километров по бурелому или заболоченному лесу. Скарб, вещи, узлы везли на подводах. Место ссылки представляло собой несколько бараков, построенных когда-то заключёнными среди дремучего таёжного леса. Стёкла в окнах, как правило, отсутствовали.

В бараках было грязно и тесно. Одна очевидица пишет: «нас терзали комары, клопы и вши. О нормальном сне и речи быть не могло». Ночью по бараку шастали огромные крысы, которые никого и ничего не боялись. В одном из поселений ссыльные взбунтовались: вместо деревянных топчанов они потребовали железные кровати. Эффект был незначителен: клопы взбирались на потолок и оттуда падали на человека, пытавшегося уснуть.

Названий у поселений не было, был только номер. Это напоминает гулаговские лагпункты. Те тоже были под номерами. Некоторые поселения были обнесены колючей проволокой. Подавляющую часть ссыльных составляли польские евреи и лишь единицы – этнические поляки. Вот что сообщил один 15-летний юноша: «В нашем поселении было шестьсот евреев и тридцать поляков. Никаких конфликтов меж-

ду нами не возникало. У нас в бараке жил один польский чиновник, – глубоко верующий католик и ярый антисемит, занимавший в недалёком прошлом высокий пост. Он подружился с моим отцом. Они подолгу вели душевные беседы, и в конце концов пришли к выводу, что в сложившихся условиях утешение можно найти только в религии».

В других поселениях межнациональные отношения выглядели далеко не так благостно, как рассказал этот юноша. Вот только несколько цитат:

«Мы жили в бараке с поляками и белорусами. Нам многое приходилось терпеть, особенно от белорусов. Они оскорбляли и унижали нас, иногда били. Мы неоднократно обращались к начальству с просьбой о выделении отдельного барака для евреев, но всё оставалось по-прежнему».

«В поселении № 54 нас разместили вместе с украинцами, которые у нас всё отнимали и часто подвергали побоям».

«В нашем поселении жили сосланные туда русские. Они издевались над нами и говорили: «вы никогда не выйдете на свободу».

Сотни тысяч абсолютно бесправных людей, не приспособленных к тяжёлому физическому труду и суровым климатическим условиям, были брошены в тайгу на лесоповал. Работали по 12-14 часов в сутки и получали за это мизерную зарплату, которой едва хватало на пайку хлеба и тарелку супа. Тот, кто

выполнял норму, получал 800 граммов хлеба, тот, кто не справлялся с заданием, а таких было большинство, – 500 граммов. Суп мог себе позволить далеко не каждый. Работала вся семья: отец валил деревья, всё это, понятно, вручную, – о бензопилах можно было только мечтать – мать обрубала ветки, а дети обдирали кору. За пятиминутное опоздание на работу налагался штраф: в течение трёх месяцев человек получал только 75% от заработанного. Опоздавший трижды, наказывался тремя месяцами тюремного заключения. Все дети без исключения рассказывают о том, как они голодали. Детская пайка хлеба была во всех поселениях одинаковой – 400 граммов на день. Зимой ссыльные больше всего страдали от обморожений. Работали и при пятидесятиградусном морозе. Наиболее уязвимые места (пальцы, уши, нос) подвергались некрозу, проще говоря, отмирали. Один мальчик написал следующее: «Не помню уже в связи с чем, но нас перевели из одного поселения в другое. Ближайшая столовая находилась за два километра от места лесоповала. Некоторые ссыльные не хотели терять время на дорогу, и потому я вызвался приносить им суп к месту работы, при условии, что с каждой порции буду получать по две ложки супа. За раз я приносил по 5-6 порций. Это продолжалось до тех пор, пока я не

отморозил себе пальцы. Мои пальцы перестали сгибаться и я не смог больше ходить за супом».

Летом людей «доставали» комары. Накомарники, которые следовало шить самим, не помогали. От укусов лица людей опухали до такой степени, что становились неузнаваемыми. Замечу, что пухли не только от комариных укусов, но и от голода, от элементарной дистрофии. Те семьи, которые не получали помощи со стороны, погибали. Хроническое недоедание, брюшной тиф, дизентерия, цинга и высокий травматизм, вызванный несоблюдением правил техники безопасности, – вот основные причины высокой смертности среди ссыльных.

В лучшем положении находились те, кто получал посылки от родственников. Другие, очень немногие, приторговывали тем, что привезли с собой. Кто-то продавал вещи, чтобы прокормиться, один из ссыльных тачал сапоги для начальства из привезённой с собой кожи, другая торговала галантереей и обшивала жён офицеров. Ну и, наконец, лето в Сибири это не только тучи комаров, но и сезон грибов и ягод, что вносило некоторое разнообразие в скудный рацион лесных жителей.

Основная масса ссыльных работала в лесу. Лишь немногие работали в шахтах, на рудниках, на кирпичном производстве, в каменоломнях и на строительстве железной дороги. Мало того, что этим людям поручали самую грязную и самую трудоёмкую работу, оплата труда была столь незначительной, что работавшие там люди постоянно голодали и очень скоро превращались в доходяг. Создаётся впечатление, что власть намеренно создавала условия, обрекавшие ссыльных на верную смерть. Геноцид в чистом виде! Неудивительно, что среди ссыльных начались волнения. То там, то тут вспыхивали забастовки: люди бросали работу и требовали улучшить условия труда. В таких случаях на место прибывали части НКВД и чинили расправу над восставшими: в каждом населённом пункте по своему сценарию. В одном поселении 20 мужчин арестовали, заковали в цепи и отправили в областной центр. А вот что пишет один тринадцатилетний мальчик: «В посёлке свирепствовала малярия, люди умирали, как мухи. В один из дней умерло тридцать малышей, и люди – женщины и мы, дети, вышли, что называется, на улицу. Энкаведешники, угрожая оружием, быстро разогнали демонстрантов. Взрослые попрятались, ну а мы никакого страха не испытывали. Один энкаведешник спросил: «Что вы хотите?» Мы сказали: «Хотим домой, в Польшу». Меня и ещё четырёх пацанов – приводят имена и фамилии ребят – посадили на несколько дней в карцер, в котором было темно и холодно, и не давали есть. В конце концов нас перевели в другое поселение.

Положение ссыльных евреев усугублялось тем, что все они были

людьми глубоко верующими. Это значит, что по субботам и религиозным праздникам они на работу не выходили. Самые жёсткие репрессивные меры (сокращение пайки хлеба наполовину, помещение верующего на несколько суток в карцер, а то и заточение в тюрьму) не могли заставить людей отказаться от выполнения ритуальных обрядов. Молиться дома не возбранялось, но собираться вместе и «превращать барак в молельный дом» было категорически запрещено. По той же причине существовал запрет на погребальную молитву (кадиш), требующую присутствия при этом десяти мужчин. Дети саботировали посещение школы, в ожидании, что их поведут в хедер. Один мальчик написал: «Я ходил в школу, но уроков намеренно не делал. Когда приходил домой, то дедушка читал мне места из Торы и рассказывал историю еврейского народа».

Не надо думать, что ссыльные смирились со своей участью. Несмотря на угрозы начальства «вам никогда не выбраться отсюда, вы всё равно здесь все подохнете», евреи надеялись, что весь этот кошмар когда-нибудь кончится, и они обретут свободу. Наиболее активные ссыльные установили связь с соседними поселениями (покидать пределы посёлка после работы не запрещалось). С трудом верится, но однажды несколько тысяч евреев решило бежать на волю. Замечу, что ссыльные поляки в этом безумном побеге участия не принимали, но и не предали своих земляков-иноверцев. Готовились основательно. Собрали несколько сот ручных тележек, чтобы не тащить всё на своём горбу. Колёса нарезали из гладкоствольных брёвен. Набрали воды, взяли съестное из того что было, и отправились в путь. Произошло это ночью в один из советских праздников. Беглецы дождались, когда охрана напьётся, и спокойно снялись с места. Дети шли пешком, самых маленьких несли на спине. Энкаведешники спохватились, когда таёжные жители ушли за 20 км. Их догнали и просили вернуться, обещав при этом улучшить условия труда и качество питания. А для устрашения арестовали 20 мужчин. Но люди в этот раз не дали себя обмануть и продолжали свой путь по направлению к реке. Рекой оказался приток Оби, Томь. Беженцы захватили грузовое судно и поплыли в направлении Томска. Их пытались остановить: налетело шесть самолётов, давших несколько предупредительных выстрелов, на беглецов были направлены артиллерийские орудия, но евреи сказали: «лучше смерть, чем такая жизнь». Увы, через четыре дня запасы провианта кончились, и евреям пришлось вернуться. После этого происшествия питание ссыльных несколько улучшилось: в рационе появилась картошка и макароны. Продолжалось это около 6 недель, а потом всё вернулось на круги своя.

С началом Великой Отечественной войны рацион хлеба ужали с восьмисот граммов до шестисот. Продолжительность рабочего дня увеличили на 2 часа.

Два раза в неделю работали бесплатно: «всё для фронта, всё для победы!»

Польские евреи, сосланные в 1940 году в Сибирь и на Крайний Север, через 14 месяцев случайно узнали, что они свободны и как польские граждане могут ехать на все четыре стороны. 30 июля 1941 г. в Лондоне было подписано соглашение между польским генералом В.Сикорским и послом СССР в Великобритании И.М. Майским, в котором советская сторона амнистировала всех польских военнослужащих, находящихся в заключении. Основным результатом этого соглашения стало формирование Армии Андерса и освобождение более четырёхсот тысяч польских граждан, пребывавших в СССР в качестве ссыльных, депортированных и заключённых.

Велика была радость поселенцев, когда они узнали об «амнистии». Строго говоря, это действие никак амнистией назвать нельзя, ибо амнистия является актом освобождения от наказания осуждённых судом лиц. Эти люди не были судимы, поэтому говорить об амнистии не приходится. Они были насильно, без суда и следствия, отправлены в ссылку.

Начальство принялось уговаривать ссыльных, чтобы они не уезжали, обещав при этом улучшить условия труда и хорошее питание. В одном из поселений комендант обещал ссыльным обеспечить землёй, сельскохозяйственными орудиями и семенным материалом. В другом – предлагали снабдить семью стройматериалами для дома, картофелем и крупным рогатым скотом. Но никакие уговоры не могли удержать людей на месте. Приближалась зима, и бывшие ссыльные устремились на юг, в тёплые края. Бухгалтерия произвела с ними полный расчёт. Кроме этого, их снабдили хлебом на два дня. Осень сорок второго выдалась дождливой, дороги раскисли и стали непроходимыми. Польские граждане, вроде бы восстановленные в своих правах, шли пешком по этим дорогам до ближайшей железнодорожной станции. Иногда это были десятки, а то и сотни километров. Чтобы добраться до Средней Азии, надо было купить билет, который стоил около 120 рублей. «Таких денег, – как пояснила одна девочка, – ни у кого из нас не было. И тогда нам посоветовали обратиться с жалобой в польское представительство в Бузулуке. Ответ не заставил себя долго ждать: нас посадили в вагоны и мы поехали в направлении Ташкента». Поезда шли на юг из Сибири, из Архангельской области, с Алтая и Северного Урала. И не только в Ташкент, но и в другие города Средней Азии. Эта

поездка измученных, истощённых непосильной работой людей, явилась для польских евреев новым тяжелейшим испытанием. Шла война, составы с польскими беженцами подолгу простаивали на станциях, их обрабатывали в последнюю очередь. Люди находились в пути около двух месяцев. Хлеб беженцы получали один раз в четыре дня. Другой еды не было. Дети на остановках просили милостыню. Из числа транзитных пассажиров подавали чаще всего солдаты, у которых дома тоже были дети или младшие братья. Беженцы питались в основном лебедой и другой сорной травой. Смертность в дороге была катастрофически высокой. Умирали от голода и дизентерии. Многие поняли, что совершили ошибку, покинув место ссылки.

А вот и долгожданная Средняя Азия, в нашем представлении тёплый солнечный край, знаменитый своими восточными базарами, древней культурой и неповторимыми памятниками архитектуры. Тесные улочки и уже тронутые атрибутами цивилизации красивейшие города – Ташкент, Самарканд, Бухара.

Сюда-то и хлынула поздней осенью сорок второго основная масса польских евреев. Но здесь их не ждали. И без того переполненные эвакуированными города не могли вместить ещё несколько сот, а то и тысяч польских беженцев. Людям приходилось жить и спать под открытым небом. Свирепствовали холод, голод, дизентерия, брюшной тиф и высокая смертность. Вот что увидела одна девочка по прибытии в Самарканд: «Сотни людей лежали на улицах: больные со здоровыми, живые с мёртвыми. Мы, дети, уже так привыкли к виду покойников, что перестали их бояться. Процветало воровство и мародёрство: крали друг у друга, особенно нагло вели себя в этом отношении узбеки, от которых нельзя было отделаться». Аналогичная картина наблюдалась и в других городах Средней Азии.

И всё же... Людям надо было где-то жить. Первое время беженцы жили на улице. С наступлением холодов каждый подыскал себе жильё. Назвать это «жильём» можно только с большой натяжкой. Это были сараи, лачуги, подвальные помещения, погребя и глинобитные мазанки. Спали на голом полу.

Дневной рацион состоял из четырёхсот граммов хлеба. Хлеб получал не каждый, а только тот, кто состоял на учёте. Килограмм хлеба стоил по госцене один рубль, сои – шесть рублей. Килограмм сушёного чернослива – 30 рублей. В течение трёх месяцев цена за килограмм муки взлетела на чёрном рынке до ста рублей. Беженцам в Бухаре жилось намного легче. В городе находилось польское полпредство. Беженцам выделялись денежные суммы (до 300 рублей на семью в месяц) и по полкило муки на человека. Одежду и нижнее бельё выдавали

только этническим полякам. Бухарские евреи очень радушно принимали польских соплеменников: они совместно молились и помогали им, насколько могли, материально. Много предложить они не могли, т.к. сами нуждались, а самые богатые бухарские евреи давно были в ссылке.

Чтобы выжить, приходилось заниматься спекуляцией. Вот что пишет один юноша: «мой папа познакомился с председателем одного сельпо (в авторском тексте – кооператива). Он продавал нам хлеб, чай и миндаль по одной цене, а мы перепродавали это по более высокой цене». О фактах спекуляции рассказывали и другие ребята. Взрослые поставляли продукты, а дети их продавали. При этом приходилось быть предельно осторожным, т.к. за спекуляцию очень строго наказывали. «Однажды меня застукали на горячем, – рассказывает один мальчик, – отвели на участок и там страшно били. Но я никого не выдал, сказав, что я сирота». Вырученные деньги отдавали родителям. Но их всё равно не хватало на жизнь. «Мы постоянно были голодными» – написала одна из спасшихся девочек. Один из беженцев в отчаянии обратился с письмом к президенту Рузвельту, чтобы тот разрулил ситуацию. В ту же ночь его арестовали, и больше о нём никто ничего не слышал.

Глубокой осенью 1942 года энкаведешники собрали в Самарканде польских беженцев, и в очередной раз обманным путём, пообещав вначале отправить евреев в Англию, послали их работать в колхозы. В колхоз отправляли тех, кто не мог предоставить справку с места работы. Некоторые семьи записывались в колхоз добровольно, т.к. дальнейшее пребывание в городе не имело смысла: либо голодная смерть на улице, либо хоть какая-то работа за кусок хлеба в колхозе. «Колхозники» работали на уборке хлопчатника, что называется, и стар и млад, в том числе пятилетние дети. Наиболее выгодной считалась работа по уборке овощей. Оплата труда осуществлялась в колхозах по-разному: расплачивались то хлебом, то мукой, а то и зерном. Детский рацион составлял половину взрослого. Беженцы жили в глинобитных домиках, досок не было, поэтому спали на голом земляном полу. «Крыша» протекала, и во время дождя пол превращался в грязное месиво. Другого жилья правление колхоза предоставить не могло. Очень скоро по прибытии в колхоз хлебную норму урезали вдвое. Вот что пишет один подросток: «Мы жили в мазанке и работали на уборке зерна. За это нам платили по одному килограмму ржи в день. По завершению уборочной кампании количество зерна на одного человека уменьшили в два раза, а затем и до трехсот граммов в день». А в это время дизентерия, брюшной тиф и малярия творили своё чёрное дело. Ведь ели и пили

что попало: картофельные очистки, траву, бурьян, жмых, невымытые овощи и т.п. Воду брали из арыка.

Заболевших, по возможности, госпитализировали. Большая часть из них умирала. Выздоровевшие, т.н. реконвалесценты, были настолько ослаблены, что работать в колхозе больше не могли. Поэтому многие семьи снимались с места и возвращались в город. Уезжали не только по состоянию здоровья, но и из-за низких расценок при расчёте. Вот что написал один подросток: «В колхозе я пахал землю и порвал при этом свои единственные ботинки. За десять трудодней я получил один кг. муки. Решил бросить работу и подался в город». Беженцы продавали последнее, что у них было, чтобы хоть как-то прокормиться. И тем не менее, смертность среди польских евреев была исключительно высокой. Вот что сообщали дети по этому поводу:

«Когда мы покинули Польшу, нас было семеро, а осталось трое»,

«Нас было семеро, а осталось двое: мой брат Абрам и я»,

«Когда мы прибыли в Россию, нас было одиннадцать душ. Остались две тётки, трёхлетний кузен и я».

«Из пятнадцати человек нашей семьи, сосланных в Россию, осталось шестеро».

Было и такое, что вымирали целыми семьями. Люди прибегали ко всевозможным ухищрениям, чтобы только не умереть с голоду. К событиям того времени относится и формирование на территории Советского Союза польской армии под командованием генерала В. Андерса. Служба в армии избавила бы польских евреев от голодной смерти. Однако евреев в польскую армию не принимали.

Некоторые евреи, особенно дети, сознательно совершали правонарушения, чтобы попасть в тюрьму: там была крыша над головой и хоть какое-то питание. Но власти очень быстро разгадали этот нехитрый манёвр, после чего число оправдательных приговоров заметно увеличилось.

А между тем на улицах Средней Азии росло число беспризорных – круглых сирот. Это были в основном дети польских евреев, которых следовало куда-то определить. Устраивали их либо в польские, либо в русские детдома. В случае смерти одного из родителей ребёнок считался полусиротой. Таких детей в детские дома принимали крайне неохотно. В ряде случаев ребёнок вовсе не был сиротой, но выдавал себя за такового. Сочинялась легенда о том, что оба родителя умерли и ему негде жить. Худое, оборванное и изголодавшееся дитя по несколько дней обивало порог сиротского дома и горько плакало при этом. После длительной осады ребёнка в конце концов принимали. Для большинства воспитанников еврейские дети были объектом издева-

тельств и побоев. Вот что написал один ребёнок: « Нас били, плевали в лицо, а по ночам запихивали мыло в рот», другой мальчик сообщил: «Польские дети постоянно «цепляли» нас, выбивали из рук тарелки с едой, наливали воду в постель, устраивали «тёмные». В одном из детских домов было запрещено говорить на идиш. В другом – принуждали молиться вместе с поляками. Надо отдать должное воспитателям: они, как правило, брали евреев под защиту. Задаёшься вопросом, а были ли детские дома, в которых находились только дети польских евреев? Да, мало, но были. Они находились под патронатом польского полпредства. Снабжались они гораздо хуже, чем русские и польские аналогичные учреждения. Несмотря на все эти минусы, дети крепко держались за место в детском доме. Только находясь там, можно было выжить. Какой бы малой ни была хлебная норма, еврейские дети, сами не доедая, часть этого пайка сохраняли для своих близких. Когда родственники приходили их проведать, дети тайком, чтобы никто не видел, отдавали им сэкономленное.

Начатая в марте 1942 года планомерная эвакуация польской армии Андерса в Иран, продолжалась в течение всего года. За армией потянулись гражданские лица, не желавшие оставаться в Советском Союзе. Эвакуацию польских евреев не следует понимать как нечто само собой разумеющееся. Сотрудники польских представительств ничего не предпринимали, чтобы взять их с собой, хотя де-юре они являлись такими же гражданами Польши, как и этнические поляки. В детских домах составлялись списки детей, подлежащих эвакуации, и в первую очередь в списки вносились дети поляков и лишь после этого – фамилии еврейских детей. Забегая вперёд, отмечу, что из общего числа польских детей (13948), вывезенных поздней осенью 1942 года из республик Средней Азии, был только 871 ребёнок еврейского происхождения, что составило 6,2%.

У круглых сирот проблем с эвакуацией не было. Сложнее было тем ребятам, у которых были в живых родители. В принципе, родители должны были остаться. Всех детей сразу вывезти не могли. Никто не знал, попадёт ли ребёнок в следующий транспорт или нет. Разлука с родными и близкими проходила очень болезненно. Многие дети, сами того не понимая, расставались с родителями навсегда. Было довольно много случаев, когда дети уезжали, не успев попрощаться с близкими, т.к. узнавали об отъезде в последнюю минуту.

Эвакуация осуществлялась главным образом водным путём. Поезда доставляли польских беженцев в г. Красноводск, и далее пароходом в иранский морской порт Пехлеви. Здесь беженцев встречали сотрудники Польского Красного Креста и работники Еврейского Агентства

«Сохнут». Переход по Каспийскому морю запомнился детям почти полным отсутствием питьевой воды. Пили морскую воду, которая воля бензином. Несколько человек умерло по этой причине. Их трупы выбрасывали за борт. И здесь, на этом этапе эвакуации, поляки продолжали третировать евреев. Дети терпели все эти издевательства, т.к. знали, что скоро придёт свобода. Другая часть армии Андерса вместе с гражданским населением перешла границу в районе Ашхабада и достигла г. Мешхеда – крупного центра на северо-востоке Ирана. Нетрудно догадаться, что дальнейшие судьбы этнических поляков и польских евреев развивались по разным сценариям. Дети польских евреев были собраны в Тегеране и размещены в детских домах. Самый большой из них был развёрнут в палаточном городке. Иранские евреи сердечно принимали своих польских соплеменников. Они приглашали их в гости, приносили с собой вкусную еду и задаривали подарками.

Все дети по прибытии были подвергнуты врачебному осмотру. Перед взором врачебных комиссий предстали истощённые до края дети – живые скелеты. Вот как выразился один врач: «Кого нам присылают, детей или покойников?» Тех, кто нуждался в лечении, помещали в английские госпитали. После выздоровления ребёнка выписывали, и он получал новую одежду.

Израильская писательница и журналист, обладательница многих литературных премий Двора Омер (1932 – 2013), рассказала на страницах своей книги о том, в каком состоянии прибыли дети, бежавшие из Советского Союза: они «потеряли веру в людей, были травмированы и затравлены, больны физически, а некоторые и психически. Многие страдали от цинги, трахомы, инфекционных и кожных заболеваний. Они носили с собой мешочки с сушёным хлебом, не выбрасывали старое тряпье и не носили выданной им новой одежды. Дети спекулировали полученными вещами на чёрном рынке и всегда держали при себе узелки со своими вещами».

Дорога из Ирана в Палестину оказалась не простой. Иракское правительство не разрешило транзит польских евреев через свою страну. Пришлось договариваться с властями Индии. Разрешение на такой трансфер было получено. По трансиранской железной дороге дети прибыли в порт Карачи, и оттуда морским путём в Суэц. Путь следования транспорта с детьми на борту был более, чем опасен: повсюду были расставлены мины, особенно у входа в Персидский залив. Об этой опасности никто на судне, кроме команды, не знал. Капитан боялся, что если об этом узнают дети, то последствия могут оказаться непредсказуемыми. Но капитан вытянул правильную фишку, и дети были благополучно доставлены в пункт назначения.

Вместо эпилога. Лишь в 1997 году «Дети Тегерана» были признаны жертвами Холокоста. До сих пор эти дети, теперь уже глубокие старики, никакой денежной компенсации за это не получают. В 2004 году их оставалось 217 человек. Сколько из них живы сегодня, никто не знает.

[234]

- Литература:* 1. Henryk Grynberg, *Kinder Zions*, Reclam Leipzig, 1995
2. Tomasz Szarota, *Nachwort zum Buch Kinder Zions*, S. 191-199
3. Dvora Omer, *The Teberan Operation*, Washington, D. C., 1991
The Rescue of Jewish Children from the Nazis

Станислав Львович

БУКЕТЫ МОИМ БАБУШКАМ

«Кто умер, но не забыт – тот бессмертен».

Лао-Цзы (VI век до Р.Х.)

Мы, наша семья – это Раиса Наумовна Стефанюк – наша Бабушка, наша *Буся*; Клавдия Ивановна Стефанюк – Мама – моя, брата Димы, а позже – и сестры Лены, жили в Москве, на Садово-Триумфальной улице, почти на пересечении улицы Горького (теперь она опять, по-дореволюционному, именуется Тверской) и Садового Кольца у самой Триумфальной площади (теперь это «Площадь Маяковского», потому что в центре её стоит огромная чёрная фигура «ассенизатора и водовоза»). Но жили мы – дети там только от осени по весну, так как на каждое лето меня и братика Диму увозили на два-три месяца к бабушке Анне Васильевне на станцию Кашира, что в ста километрах от Москвы, если ехать по Павелецкой железной дороге. Ехать раньше было долго – чуть не три часа. До реки Пахра – целый час... А там и «Горки Ленинские» – платформа такая, где лечился, а потом и умер сам Ленин! Я всё время его вспоминал, когда поезд переезжал по мосту через речку Пахру... Но в самих Горках ни разу не был, и какие там горки, высокие или нет, не знаю: с поезда и не видать никаких... Даже странно – Горки – и без гор! Но ещё более странное я услышал про «Горки Ленинские» от нашего домашнего истопника – дяди Ахмеда. Он был татарин, но, в отличие от других (я знал пару многодетных татарских семейств, живших в соседнем дворе), жил совсем один – без детей и даже без жены. Его полуподвальная комната была рядом с котельной – дверь в дверь, только наискосок. Хотя комната и была большая, но из-за отсутствия какой-либо домашней мебели казалась огромной, как тёмная мрачная закопчённая пещера... Дневного света в ней почти и не было – напротив

нашего дома, со стороны чёрного хода, стоял высокий четырёхэтажный дом из тёмно-красного кирпича. Этот дом к нам был повернут своей задней стеной, без дверей и почти без окон... Поэтому и солнце-то в полуподвальное окно жилища дяди Ахмеда не заглядывало никогда! Вот потому-то он держал постоянно включённой большую и очень яркую стосвечёвую лампочку, висящую голо, без абажура, на обтянутом материей двойном электропроводе. Лампа висела над синей тумбочкой, что стояла возле изголовья железной кровати. Вот и вся мебель – кровать, тумбочка, табуретка да лампочка... Да ещё раковина с краном холодной воды. Даже радиотарелки не было у дяди Ахмеда, хотя и без радио он, казалось, знал не только все новости за вчерашний и сегодняшний день, но и вообще про всё на свете, о чём его ни спроси!

А спрашивать я любил с детства – про что угодно – только дай выспросить. Дядя Ахмед охотно

отвечал, так как мы с ним подружились давно – ещё в начале войны, в то время, когда фашистские самолёты прилетали с бомбами к нам из Германии и сбрасывали их по Москве где попало. Почему-то прилетали они ночью – наверное, думали, что их так труднее увидеть. Но лучи прожекторов быстро их находили, схватывали голубыми длиннющими пальцами и не отпускали, пока зенитки не сбивали самолёт. Но бомбы они всё-таки успевали сбросить – хоть куда, но и в дома бомбы тоже часто попадали. Все жильцы нашего дома боялись немецкого налёта и прятались либо на станции метро Маяковская (прямо там, на рельсах и шпалах, где днём ходят поезда); там, на путях, и ночевали – на своих, принесённых из дома, раскладушках или на своих же матрасиках. Всё же удобнее всего было прятаться от бомб не в метро, а в котельной, у дяди Ахмеда... Там мы – жители нашего дома – сидели и ждали сигнала «Отбой!» – в котельной уже был чёрный репродуктор – он звал в укрытие и отпускал «по домам», когда был «отбой»... Кто не спал, тихо разговаривал. Ахмед кипятил на котле чайник с водой, и желающие сами делали себе чай, иногда с сахаром. Постепенно все немного попривыкли к регулярным, но как будто не очень опасным налётам, и иногда не спускались даже в котельную. Ахмед потом ворчал и выговаривал нашей маме, что нельзя попусту рисковать такими ребятишками (брату было всего два года, мне уже почти семь!). Не очень любили мы спускаться в метро ещё и потому, что прямо против наших окон была установлена целая зенитная батарея, которая, как нам казалось, нас специально и защищала от бомбардировщиков! Это были две пушки, что всегда смотрели вверх, в небо, своими тонкими стволами. Снизу пушку направляли в нужное место на небе молодые девушки: одна сидела на железном стульчике, и этот стульчик очень смешно уезжал

(почти по кругу) то вправо, то влево, и тем самым помогал зенитчице прицеливаться и стрелять! Другие девушки подносили заправленные в ленты узкие, словно огромные пули, снаряды и заряжали эти пушки... И пушки, и стульчик, и девушки – все были тёмно-зелёного цвета, чтобы немцы сверху их не увидели. Но ночью и так ничего не было видно, кроме длинных голубых лучей прожекторов, да красивых красно-жёлтых огней, вылетающих при выстреле из ствола зенитки. Днём же и с земли немного разглядишь, так как девушки всё зенитное хозяйство покрывали сеткой с нашитыми на эту сетку рваными большими тряпками – как будто под ними был не город с домами и улицами, а колхозная земля, или какие-то лужи или грязь – как кому из немцев сверху покажется... Это называлось «маскировка». А знаете, была ещё «светомаскировка», когда в жилых комнатах запрещалось включать свет, если окна, особенно большие, как наше одно, огромное, чуть не в полстены, не были задёрнуты плотной и очень тёмной занавеской, и чтобы щелей в занавеске не было никаких, иначе свет мог заглянуть во двор и подсказать бомбардировщикам, где мы от них прячемся! Мне до сих пор кажется, что самой лучшей маскировкой могли бы быть огромные деревья (говорят, что это были столетние липы!), которые стояли перед нашим домом, но их срочно вырубил, так как они могли помешать зенитчицам ловить самолёты.

На войне всё решает приказ командира, особенно если он самый старший, и деревья вырубил... А там, где они росли, как раз и поставили пушки и вырыли ещё траншеи и землянки, чтобы девушки могли прятаться и отдыхать, не уходя далеко от своих орудий. Под защитой собственных дворовых зениток мы жили спокойно и не всегда уходили по команде из радио: «Воздушная тревога» и противному вою сирены «ВУ-ВУ-У-У-У». Однажды, в сентябре первого года войны, мы также решили «прогулять», и после сигнала «Воздушная тревога» остались ночевать дома – то есть в нашей комнатке на втором этаже. Но, примерно в середине ночи, мой братик Дима вдруг проснулся, громко заплакал и потребовал, чтобы мы пошли скорее в «котельню». В эти годы он любил частенько понуть (как и в последующие, пока не вырос, не стал доктором наук и профессором), поэтому наша решительная мама цыкнула на него, но и это не помогло... Ныл и ныл... Пришлось быстро одеться, захватить всегда готовый узелок с глиняным горшочком для него же и... вниз, в подвал по лестнице чёрного хода. И только мы спустились по железной лесенке до самой котельной, над нами, словно сразу во всём мире, раздался страшный грохот! Дом, не считая всех нас, вздрогнул. Со стен посыпалась закопчённая штукатурка. Все дети, не говоря уж о Диме, заорали в один голос. Затем всё как будто затихло, и лишь,

словно издалека без остановки, как пулемёты, стали стрелять зенитки – наши, домашние или чужие, соседские – уже не понять. Дядя Ахмед – единственный взрослый мужчина среди нас, сидящих вокруг чёрного отопительного котла, молча вышел и через долгих десять минут (а может десять часов, кто разбирал) вернулся, и сказал, что дом цел, и мы будем, наверно, живы.

Тут вдруг заговорило радио и объявило «по Москве отбой». Мы поднялись и, с чем пришли, с тем и ушли, не догадываясь о том, что нас может ждать «дома». Наша комната была в квартире, находящейся невысоко – на втором этаже. Только мама отперла своим длинным ключом дверь комнаты, а мы стояли ещё сзади неё, как вдруг услышали её – «А-Ах!». Я скорее проскочил в комнату из коридора и тоже ахнул: огромное трёхсекционное окно – наша гордость: из этого окна можно было видеть все дома даже через улицу, все зенитки и траншеи, слышать все разговоры во дворе – это окно лежало на полу, каким-то образом перепрыгнув через стоящий под окном большой квадратный дубовый и страшно поэтому тяжёлый стол! Но это ещё не всё! Огромные куски стекла, бывшие, наверно, раньше оконными, торчали из двух подушек, на которых должны были лежать головы мамы и нашего спасителя – Димы! (Я, как большой, спал на диване, а мама с Димой – на двуспальной тахте). Днём мама узнала, что в дом на другой стороне нашей Садово-Триумфальной улицы попала огромная, самая большая в той войне, бомба весом в тыщу килограммов! Она разворотила до земли большой трёхэтажный дом, да ещё и ювелирный магазин (говорили, что разбирающие развалины рабочие находили позже какие-то драгоценности). Так вот, взрывная волна от этой огромной бомбы ударила по всем ближним и дальним домам, везде повыбивала стёкла, а нередко и вместе со стёклами и рамы, как это случилось у нас...

Анна Васильевна

После этой страшной бомбёжки мы всегда ходили во время тревоги в метро, пока не уехали в «эвакуацию»... Но к дяде Ахмеду я нередко приходил и до и после эвакуации, пока он не заболел и не умер... Умер он уже в конце войны, хотя и не дожил до её конца совсем немного. Я рассказывал дяде Ахмеду о своей каширской бабушке Анне Васильевне Устиновой, о доме, в котором мы жили, о погребе, где установлены бочки с кислой квашеной капустой, а весной появлялась грунтовая, то есть подземная вода. Вода стояла долго, несколько весенних месяцев, и была довольно глубокой: кастрюли со сметаной, бидоны с молоком приходилось ставить на кирпичи, а по кирпичам ещё протягивать пешеходные доски. В этом же подвале мы всей, временно переселившейся

ся в Каширу, семьёй, в самом начале войны прятались уже от «местных» бомбёжек... Бабушкин деревянный, из толстенных брёвен дом – пятистенка – стоял на Комсомольской улице в железнодорожном посёлке «Станция Кашира». До старинного города Кашира от станции было примерно три километра – это почти час нашего пешего хода. А вот до Москвы, до Павелецкого вокзала – точно СТО километров... Поэтому у нас была как бы межгородская жизнь. Но всё-таки, скорее, городская. Хотя при доме был большой сад, и огород с помидорами, огурцами и, конечно, картошкой... А какие у нас в саду вишни, груши, яблони и какие разные яблоки на них растут: «антоновка», «коричн(ев)ая», «пепин шафран», и, как самые ранние и пахучие – «белый налив» (но я «открыл», что раньше всех поспевают те яблоки, в которых уже подросли червяки!)

Слушая мою наивную болтовню, дядя Ахмед не прекращал своей работы по котельным делам: вечно что-то свинчивал и развинчивал, смазывал и протирал, выгребал шлак из-под решётки и забрасывал на неё новые порции каменного угля или брикетов... Когда я затихал, он подкидывал уже свой вопросик по поводу нашего каширского или московского житья-бытья, и мой словесный ручеёк не прерывался бы и до вечера, если бы не окрик моей мамы, зовущей сверху, то есть из квартирной двери «чёрного» хода, на обед... Голос у мамы был молодой и звонкий, так что ей и спускаться вниз, в котельную, не надо было. Все, и прежде всего я, слышали её зов, и беседа приостанавливалась. Когда я как-то посетовал на отсутствие горок в «Горках Ленинских», дядя Ахмед вдруг прервал свою очередную работу и спросил, были ли мы сами в этих «Горках»? Узнав, что и не собирались, он как бы вздохнул, и вдруг сказал:

– А ведь я жил там много лет! И работал даже... – Уж тут я накинулся на него с очередной пулемётной очередью вопросов, но он только буркнул:

– Погоди, придёт время, я всё тебе расскажу, а пока нельзя.

– И про горки нельзя? Они очень высокие?

– Да нет там, считай, никаких горок, так, чепуха холмистая, а вот бывшая барская усадьба есть... В ней-то и жил товарищ – он приостановился, как будто забыл его имя, – Ленин... Там и болел, там и вроде... – опять притормозил – помер... Царствие ему небесное, если что... Оттуда и повезли его в Москву... Ты ещё в Мавзоле не бывал? Теперь-то его закрыли, да откроют, как война кончится.

– А Вы там работали? С самим Лениным?

– Ну, не совсем с Лениным, но вроде того. У нас там театр особый устроен был. Как музей, только с живыми артистами. Ты в Музее Ленина не был? Его тоже пока закрыли... Побываешь ещё... Вот у нас там был

как бы Музей и Театр вместе... Только я раскрыл привычно рот, чтобы выпалить уже созревшую моментально очередь вопросов, как сверху раздался зовущий голос мамы, и я побежал домой, не зная, что меня ждёт...

А там сидели двое военных, и один из них был мой ПАПА! Он был очень большой и красивый! На его гимнастёрке, там, где раньше были красные «кубики», такие командирские значки, сейчас была длиненькая «шпала»... А рядом с ним сидел, как сказал папа: «Мой самый главный помощник!», дядя Серёжа... Они привезли шоколад, конфеты и что-то хорошее маме...

...Мама чего-то плакала, да и мне вдруг захотелось поплакать, но я не стал... Один Дима, сидя на коленях у папы улыбался шоколадным ртом... Потом мы обедали, и папа рано уехал (с дядей Серёжей, конечно) по своим военным делам, а мы стали вдруг куда-то собираться... Пока мы собирались, позвонил папа и сообщил, что он заедет позже, через две недели, а сейчас он получил приказ срочно ехать в свою курсантскую школу, а мы должны быть готовыми к... «эвакуации»!

Я впервые услышал это слово, а мама мне объяснила, что это означает срочный уход пешком или отъезд на поезде или машине («А на лошадях можно», – спросил я, не очень подумав, за что получил от мамы лёгкий шлепок), куда-нибудь в безопасное место. Главное – подальше от Москвы! И тут она вспомнила, что у них в Университете (а наша мама была студенткой третьего курса Исторического факультета МГУ, но занятия в этом году из-за войны и наступления немцев к Москве всё не начинались), так у них в Университете уже разработаны подробные маршруты выхода из города в восточном направлении, и только требуется команда для сбора с вещами во дворе Университета на Моховой улице.

Пока это всё происходило, наступили особые для Москвы дни: 13-15-го октября! Как мы узнали только через много лет, Правительство решило в эти дни покинуть столицу, и покинуло её, переехав (частично, и то хорошо) в город Куйбышев... И маме позвонила староста студенческой группы и сообщила, где точно должна строиться студенческая колонна, уходящая из города... Оказывается, в эвакуацию студенты высшей школы должны были уходить пешком, в определённом, до последнего момента им не известном, направлении. Мама была уже готова: она «отоварила» продуктовые карточки в магазине – получила чуть ли не целую наволочку пряников и много-много пачек фруктового киселя. Мне сшили из вафельного полотенца мешочек – рюкзачок, куда и положили пачки с киселём; упаковали два чемодана с вещами (в том числе и глиняный горшочек для Димы), и мы

вышли из дома, заперев комнату и квартиру на все обороты ключей... Я отпросился на пять минут и сбегал к чёрному ходу в котельную. Дядя Ахмед сидел в своей комнате один... Перед ним стояли бутылка водки и стакан, почти пустой. Никакой еды не было на синей тумбочке. Я быстро рассказал о нашей «эвакуации», достал из своего заплечного мешка две пачки киселя и положил их около бутылки. Дядя Ахмед молча вздохнул, обнял меня за плечи и поцеловал в «куда-то около уха», и я быстро убежал к маме.

Во дворе, за жёлтым зданием геологического корпуса МГУ, уже стояло много молодёжи – студентов и студенток... Там мы встретили и тётю Надю, с которой училась мама, и начальницу колонны (колонной называли всех нас, когда мы выстроились для похода)... Но тут наш Дима опять расплакался, увидев вокруг себя так много незнакомцев... И этим он опять, как и раньше, при бомбёжке, нас всех спас! Вот какое особое свойство у него открылось!

Мама и тётя Надя сказали, что с детьми, да ещё с малыши, они и километра не пройдут и останутся здесь, в Москве! «И будь, что будет!» Около нас в шеренге студентов стояла ещё одна мамина знакомая – она была библиотечарша и выдавала книги студентам для учёбы: «У меня ключи от библиотеки, я не сдавала их, всё равно некому, ни одного сторожа или дежурного и не видно!»

И мы все впятером – мама, тётя Надя, тётя Библиотечарша (я забыл, как её звали), Димочка и я – пошли в библиотеку Исторического факультета... Там мы заперли обе двери на все ключи и даже на большие крюки, и принялись располагаться на жильё. Мама расстелила для Димы одеяльце и уложила его спать, я принялся рассматривать стенды с книжками, тётя Библиотечарша начала разжигать угловую высокую печку, чтобы нам не замёрзнуть, а тётя Надя и Мама стали о чём-то тихо разговаривать, доставая из сумочек всякие документы, фотографии, справки... Потом они подсели к печке, в которой уже горел жёлтый огонь, и зачем-то стали засовывать в огонь эти самые справки и фотографии... Я подошёл поближе и вдруг увидел папино письмо и его портрет в военной форме, уже с новенькой «шпалой» и с орденом! Но пламя быстро схватило фотографию. Она свернулась в трубочку, почернела и превратилась в розовый пепел. Обе женщины молча смотрели на печной огонь... Оглянувшись на меня, мама сказала тихо: «Если фашисты придут в Москву, никому не говори, что твой Папа – красный командир и политрук, а то нас всех убьют»...

Ночевали мы на столах, постелив пачки газет и журналов, тесно прижавшись друг к другу (мы с Димой лежали посередке)... Свет решили не гасить полностью, а то в незнакомом месте было ночью немного

всем страшно... В середине ночи нас разбудил громкий стук в дверь! Стучали долго и сильно, как будто даже ногами и, судя по голосам, пьяные мужики... Мы затихли, как мышки, и ждали, пока и стучать, и пытаться выломать двери этим, за дверью, не надоело... Старинные двери Университетской библиотеки выдержали всё...

Утром мама выглянула наружу. Через пять минут вернулась и сказала, что вокруг: «Ни души!» До нашей площади Маяковского мы шли пешком. И Манежная площадь, и улица Горького, и даже наша Садово – Триумфальная, были абсолютно безлюдны... Ни милиционера, ни красноармейца, ни троллейбуса – ничто не двигалось в пространстве – как в сказке о заколдованном королевстве. И дома у нас, в нашей многокомнатной коммунальной квартире было тихо и безлюдно. Мама через чёрный ход спустилась к дяде Ахмеду и позвала его к нам... Из какого-то уголка появилась бутылка «Шампанского». Дядя Ахмед ловко, почти без «выстрела», выдернул пробку, и мы (включая и меня) выпили за Папу, и за нас, и за то, чтобы ни один фашистский гад не захватил нашу Москву.

Радио по-прежнему молчало... В такой тишине прошёл ещё один день, и вдруг, на третий день «молчанки», «тарелка» заговорила, и мы все узнали, что в боях как раз недалеко от нашей Каширы доблестные кавалеристы сорвали попытку немцев сходу овладеть Москвой с южного направления... По улицам прошумели машины, и стали ездить троллейбусы и открылись, как ни в чём ни бывало, московские магазины, и на перекрёстках появились фигуры милиционеров – регулировщиков...

Спустя пару дней по каким-то делам маму занесло к Киевскому вокзалу (она у нас была свехубеждённая материалистка и никогда не верила, как теперь говорят, в экстрасенсные ситуации и волшебные совпадения, но против факта случайной встречи с папой не пойти): огибая угол знаменитого вокзального здания от касс метро к кассам поездов дальнего следования, она буквально наткнулась на... Папу!

– Клания! Ты что здесь делаешь, в Москве!? Почему не эвакуировались?!

И закрутилась горячка! Выяснилось, что через три дня на восток, в Среднюю Азию, отходит поезд с профессорами и преподавателями МГУ. Уж конечно, без студентов, но, как потом выяснилось, с любовницами и домработницами... Отец – недаром был политрук командирской школы, недаром прямо с поля боёв быстро добрался до Наркома Просвещения и получил три пропуска в профессорский вагон... Три пропуска – это три полки... И мама срочно вызвала из Каширы свою сестру – нашу весёлую певунью «Тётю Тоню», которой ещё и семнадцать лет не было...

Всё это я выпалил дяде Ахмеду, который почему-то и обрадовался, и погрустнел одновременно... И тут он доверил мне «страшную тайну»,

взяв с меня клятву: «Никому! Ни родным, ни чужим, ни детям, ни взрослым не выдавать её, иначе всем будет плохо!»

Я, конечно, не задумываясь, дал эту Клятву! Тогда мой друг подвёл меня к стене своей полуподвальной комнаты и показал мне два кирпича около самого угла, почти под окном, но чуть правее окна... Покрытые грязноватой побелкой, эти кирпичи ничем не отличались от соседних. Дядя Ахмед достал из тумбочки большой магнит, похожий на подкову (у меня у самого был такой: им гвоздики с пола собирать очень удобно)... Приставил магнит к правому кирпичу, и тот прилип, как будто в нём была железка... (Наверное, в самом деле железка, только её не видно)... Кирпич легко вылез из стены... Также вытянулся из стены и соседний кирпич... За ними обнаружилась абсолютно чёрная дыра, даже яма, но не очень глубокая... Дядя Ахмед залез в чёрную дыру правой рукой почти по плечо и вытащил большой, как школьный портфель (у меня уже был портфель такого же размера), пакет, весь обмотанный клеёнкой... Клеёнка была тёмно-красного цвета (такие мама подкладывала под простынку братику) и перевязана тонкими верёвками... Похоже, внутри пакета были книжки или толстые тетрадки...

– Здесь мои дневники и мои литературные работы... Но их нельзя пока ни читать, ни тем более печатать, так как за это могут расстрелять как самого последнего фашиста, хотя в них настоящая ПРАВДА. Но есть люди. И их очень много. И они очень сильные. И этим сильным людям такая Правда не нужна. И она должна быть пока спрятана. Если я умру, то никто этой Правды не узнает... Но когда-нибудь придёт время, и ты сможешь за меня её рассказать... Но будь осторожен, так как ты можешь сам погибнуть и не рассказать людям эту Правду... А пока поезжай в свою Среднюю Азию и возвращайся живым и здоровым... Может, я тебя и дождусь...

Он опять засунул пакет в чёрную яму, вставил оба кирпича и... мы ... расстались... Я не знал тогда, семилетний, говорливый и наивный пацан, какое наследство я получил... К счастью, или к беде. Но Тайну я уже умел хранить... Дальнейшие дни до отъезда пролетели молниеносно: в два часа отправлялся поезд «Москва-Ашхабад»; в двенадцать наш вагон №4 уже был забит «профессурой» и, конечно, наши три полки были сплошь заполнены (на всякий случай) чьими-то чужими вещами; и уж никакую «тётю Тоню», как безбилетную, не пустили в вагон... Но тут папа и его помощник дядя Серёжа проявили воинскую смекалку: за пять минут до отхода они приподняли девушку «под-локотки» и всунули её в вагон – прямо в открытое окно нашего купе!... Поднялся визг соседской «профессуры», но поезд тронулся и всем пришлось постепенно успокоиться... Так мы и поехали в эвакуацию...

За месяц нашего путешествия с Запада на Средний Восток – наша семья прижилась в вагоне: Димочка был всегда миролюбивым (да и сегодня, в свои семь десятков), мамина оперативность позволяла нерасторопным профессорским «жёнам» уверенней переносить тяготы автономной поездной жизни (где проводниковый чай обычного мирного времени заменяло ведро с кипятком, которое надо успеть набрать в считанные пять минут остановки на какой-то никому не известной захолустной станции)... Певунья Тоня влюбила в себя всех перестарков-доцентов, а я всегда был контактен и любил пообщаться с кем бы то ни было... Мы, слава Богу, уезжали от бомбёжек и, кто знал тогда, может и от фашистской оккупации и германского плена... Параллельно с нами проезжала странно-непривычно экипированная польская армия генерала Андерса (Сталин пропустил её чуть ли не в Индию... Зато остальных, бежавших от немецкой армии польских офицеров, приказал забить, как скотину).

...Навстречу нашему поезду нередко шли эшелоны с уже одетыми в белые зимние полушубки солдатами «сибиряками»... Это «работало» предсмертное сообщение Рихарда Зорге: «На Дальнем Востоке японцы наступать не собираются!»

...Из профессорских чемоданов стали выбрасывать давно позеленевшие от плесени батоны и буханки, запасённые в Москве... На степных полустанках меняли в тамбуре марлю и иные тряпочные дела на картошку, рис и сало... Вагонная жизнь шла автономно, как в космическом корабле, о котором ещё и сам Королёв, конструировавший в это время в секретной шарашке «Катюшу», и не успевал мечтать... Мама приловчилась варить детям манную кашу (чаще всего на воде), ставя кастрюльку на раскалённую докрасна толстую стальную пластину, применяемую обычно для крепления рельсов к деревянным шпалам... «Патент» был моментально «украден» всеми соседками...

Впереди был Ташкент, где многие должны были сойти и присоединиться к многочисленной творческой столичной интеллигенции, уже «окопавшейся» в «хлебном» городе... И тут наша Мама ... потерялась! Не фигурально, а буквально! Хотя, «по закону Ньютона», потерялись скорее мы, а она осталась на какой-то ташкентской платформе, а наш поезд взял, да и тронулся в неизвестном нам направлении! А мы, два пацана, стоим у окна, ревём что есть мочи... А все соседи ахают, но сойти боятся! Как и положено в реалистической пьесе, после небольшого сюрреалистического антракта мама нашлась на том же месте, где и была, но с кипятком, и сама кипела от гнева на всех сразу: «нечего реветь» (это нам) и «могли бы предупредить заранее» (это неизвестно кому из поездной бригады)... А на рассвете следующего утра я впервые

увидел до сих пор не забытые нежно-розово-золотистые вершины горной цепи Копет-Даг! Мы приехали в Ашхабад – столицу Туркмении!

Чем отличаются «эвакуанты» от «эмигрантов», я так в конце концов и не понимаю! Чужая страна... Чужой язык... И уж конечно, иной климат. Чужие обычаи... Скучное социальное пособие... Небогатая, но дружеская социальная помощь практически во всём... Грех жаловаться и грех ликовать...

Почти год ашхабадской жизни укрепил ребячье здоровье, чему помогали и регулярно покупаемые (на отцовский офицерский аттестат - жалованье) ведра винограда, и мой месяц в пионерлагере в пригорной долине «Фирюза»... Помогали и регулярно отгавливаемые в ближайших к дому пустынных барханах черепахи, которых та же «сторукая» мама (!) ошпаривала в ведре кипятком, раскалывала топором по боковине и кормила вечно ненасытных сыновей черепашим супом и мясом рептилий, ничуть не уступавшим куриному... И даже...

Но тут пришла «похоронка»...

IN MEMORIAM... Воспоминание...

Высота 201,8. Южнее Наро-Фоминска... Река Нара... Западный берег... Бойцы – курсанты осторожно продвигались через неглубокий овражек. Это проведённая природой лёгкая царапина на безбрежном море земли отделяла совсем лысую возвышенность № 201,8 от засаженной строевым сосняком прибрежной полосы, должна была послужить нам дорогой во фланг немецкой позиции... Но уже через метров полста впереди идущие бойцы увидели выступающие из-под снега поперёк овражка неплотные ряды колючей проволоки... Пройти их не было б труда, но по бокам колючки лежали, даже не замаскированные, мощные толстые шашки... Видны были даже взрыватели, но сапёров-то у нас и не было... Тогда я, подойдя к преграде, но не слишком близко, расстрелял одну за другой обе мины, и курсанты быстро проползли под колючкой и через сто метров оказались у входа во фланговые траншеи немцев... «Ура!», подкрепленное ручными пулемётами, и мы вышибли немцев из траншеи и со всей высоты 201,8... Пока мы рассматривали трофеи – оружие, документы убитых офицеров, со стороны леса, росшего на прибрежной полосе, раздались стрельба и крики, и на теперь уже *нашу*, только что взятую траншею, стала надвигаться группа немцев... Именно их-то мы отрезали от основных сил немцев, ушедших за эту высоту 201,8.

– Все за мной! – крикнул наш политрук Лев Александрович Стефанюк, вытащил из кобуры свой пистолет и побежал обратно в овражек, в который намеревались скатиться и немцы...

Я схватил стоявшую в блиндаже немецкую винтовку, пачку патронов к ней и крикнув: «Лев Александрыч! Не ходи! Без тебя отобьём!», – бросился его догонять и почти догнал уже в овражке... Он, а за ним и курсанты, стали карабкаться по крутому склону навстречу выстрелам и немецким голосам... Я почти догнал его, схватил, дотянувшись снизу, за валенок, но Лев Александрович оттолкнул мою руку, вырвался на самый край овражка и оказался на ровной площадке перед лесом... С трудом карабкаюсь, я выскочил наверх следом за ним. Сильный огонь из леса заставил всех бойцов улечься в снег и замереть... Пули свистели и ложились часто-часто; даже головы нельзя было поднять... Прошла минута огневого шквала и наступило затишье. На краю оврага негусто росли молодые берёзки, недалеко от меня лежала срезанная снарядом большая ель... Правее в снегу запрятались старший сержант и, поодаль, пара курсантов... «Ребята, где Стефанюк?» «Вот он... Убит»... «Как???» – крикнул я и от неожиданности приподнял голову, но тут же нырнул опять в холодную снежную ямку: – от ближайшей берёзки мгновенно налетевшая пуля отщипила кусок щепы, попавший мне в щёку... Кто-то как будто подслушивал наш разговор и моментально реагировал на него выстрелом...

Сержант, не поднимаясь, крикнул:

- Не вставайте, в вас стреляет снайпер, который Стефанюка убил.
- А ты его видишь?
- Вижу, только достать не могу – деревья мешают!

Я прополз, как крот, сквозь снег прямо до поваленной снарядом ёлки, забрался в ветки и осторожно раздвинул их... Метрах в семидесяти от нас внутри рядка саженных сосен, наизготовку для стрельбы «с колена», выставив винтовку с оптическим прицелом, по-хозяйски, как егеря на пристреленной точке, расположился немец... Видимо, меня высматривает... На груди, прямо на шинели, был виден какой-то значок или орден. Вот под этот-то «орден» я и подвёл мушку винтовки, захваченной мною в немецком же блиндаже... Отличный инструмент, бьёт точно... Мгновенье... Немец выронил свою винтовку и... упал на спину... Я вскочил и, крикнув: «Отомстим за Стефанюка! Вперёд!» – побежал по снегу к лежащему снайперу... Курсанты, стреляя из винтовок и автоматов, за мной...

Через полчаса всё было кончено... Мёртвые немцы лежали молча, раненые стонали, а оставшиеся целыми, сбросив оружие и подняв руки, ждали нашей команды...

Мы согнали их в овражек. На плащпалатке пронесли в траншею Льва Александровича и уложили на нары в блиндаже, выбросив наружу, в снег, лежавшего там убитого немецкого офицера, документы которого мы вместе со Стефанюком рассматривали менее часа назад...

Возле тела Льва Александровича поставили часового. Я осмотрел убитого...

Стефанюк умер, вероятно, мгновенно: возле левого соска была маленькая пулевая ранка... Крови почти не выделилось... Связисты подтянули провод, я доложил комдиву о выполнении задания и гибели командира...

Стало темнеть... Около восьми появился старшина с подносчиками пищи и боеприпасами... Через час позвонил начштаба дивизии и приказал сдать позиции на высоте 201,8 и вернуться на восточный берег реки Нара.

Отходили грустно... Четыре курсанта несли на плащпалатке тело Льва Александровича... Кроме него, мы потеряли убитыми и ранеными около двадцати курсантов...

В штабе мы получили приказ сосредоточиться на новом плацдарме... Командование принял я, воентех первого ранга Сергей Стефановский...

Трое суток продолжались бои... Наконец, (осталось из 150-ти курсантов только четырнадцать) нас сменили и отвели в Апрелевку, где мы и ожидали пополнения вплоть до января 1942-го года.

«На стенах Войны отпечатки всех рук: Российских крестьян и берлинских рабочих...

Средь них и твои – Политрук Стефанюк... Полвека назад... Может, прошлую ночью?»

Продолжение следует.

Светлана Сокольская

КУКЛА

«Такой прелестный ребёнок, – и так неуклюже одет», сказала нам вслед сухонькая старушка, когда я с мамой выходила из «Гастронома» на Покровской, главной улице города Тирасполя. Старушка явно знала лучшие времена. Может быть, она также помнила другие, довоенные магазины, а на моей памяти ничего лучше не было, чем этот гастроном. Там, стоя в очереди за плавленым сырком, можно было разглядывать богатства, лежащие за стеклом витрины. Очень интриговала меня своей позолоченной чешуёй копчёная селедка, и я даже подумывала, не это ли есть золотая рыбка; в другой витрине красовалось печенье «Крокет» и «К чаю», мягкие конфеты «Подушечки», а также мечта детства – какао «Золотой ярлык» в украшенной восточным орнаментом упаковке, и совершенно недоступный шоколад «Гвардейский».

Шёл второй послевоенный год, голодный и холодный, одеться было не во что, к тому же, в городе с наступлением темноты хозяйничали банды, и я не раз слышала в разговорах взрослых название «Чёрная кошка», после чего просыпалась ночью в страхе.

Но мирная жизнь постепенно налаживалась, к тому же в Тирасполь, как и по всей стране, прибывала помощь от различных благотворительных организаций. Это были так называемые «американские подарки»: одежда и обувь для детей. Брать можно было несколько вещей, и мама выбрала мне из большой кучи на полу в комнате Городского совета мохнатую шубку, валенки с галошами и зелёную шапку с ушками, как у кошечки. Этой шапочкой я особенно гордилась, и она всем нравилась.

Мама признавалась впоследствии, что могла прийти ещё раз, но было страшно: а вдруг пришьют, как позже выражались, низкопоклонство перед Западом. Она устроилась на работу в детскую библиотеку, в которой проработала до пенсии. Фонд библиотеки по тем временам

был солидным, им пользовались также и взрослые читатели, поэтому маму знал потом весь город, как взрослые, так и дети. А я ходила в детский сад. Мне там нравилось: давали кусочек чёрного хлеба, посыпанного сахаром, после обеда на третье был компот из сухофруктов, и каждый день надо было выпить ложку рыбьего жира. Я недоумевала, почему дети отворачивались от ложки и капризничали, так что медсестре приходилось их уговаривать, а то и прикрикнуть.

Садик закрывался в шесть часов, а мама работала до семи часов вечера. Можно было посещать круглосуточную группу, но мама меня там не оставляла. Мой детский сад находился приблизительно на полпути между городским рынком и нашим домом. Мне уже было пять, шестой год, дорога была знакома, и я ходила домой сама. Рядом с садиком находилась кузница, возле неё мои ноги всегда застревали: там кузнец ворочал огромными клещами подковы, летели искры, шипела вода, остужая металл – это было завораживающее зрелище. По дороге домой находился центр города, и здесь всегда были люди – начиналась городская «стометровка», где вечерами прогуливалась молодёжь.

В этот день, а это был уже ноябрь, я возвращалась, как всегда, домой одна. Вдруг на этом самом пяточке в центре города меня остановила молодая, круглолицая, благополучная на вид девушка и спросила, есть ли у меня кукла. Куклы у меня не было. А хочу ли я её иметь? Да, я хотела, и непременно, чтобы она была в платице и с туфельками на ногах. Девушка пообещала мне большую куклу с голубыми глазами и пушистыми волосами, взяла меня за руку, и мы с ней пошли.

Шли мы долго, миновали много улиц, прошли мимо разрушенного войной театра, где до войны часто гастролировала еврейская музыкально-драматическая труппа, и где мой дедушка, известный в городе портной по шитью офицерских мундиров, не пропускал ни одного спектакля. Теперь от театра остались лишь чёрные, закопчённые стены и глубокое нутро, развороченное бомбёжками. Для местных мальчишек этот разбитый войной театр был притягателен, как древний средневековый замок. Они его обшарили сверху донизу, ходили по краю стен на высоте нескольких этажей и соревновались друг с другом в храбрости.

Тем временем мы с моей провожатой вышли за черту города. Там, на просёлочной дороге она остановилась, показала мне на стоящий невдалеке маленький домик и сказала: «В этом домике твоя кукла. Дай мне шубку, шапку и валенки, я одену в них куклу и принесу тебе». Я всё послушно сняла и отдала кукле. Подозрений в моей голове не возникало, образ красавицы-куклы затмевал неокрепшее детское сознание. На ногах у меня оставались одни галоши.

Долго я стояла на месте и ждала её. Стало темнеть, и начал моро-

сильный дождик. Сообразив, видимо, что ждать больше нечего, я двинулась назад по дороге. Галоши мои утопали в грязи, и мне еле удавалось вытаскивать их из болота. Несколько раз навстречу мне попадались крестьяне-молдаване с перекинутыми через плечо мешками. Я обращалась к ним с одним вопросом: «Как пройти на Луначарского 17?» Наш домашний адрес я знала твёрдо. Но они проходили мимо, понуро глядя в землю, и даже не повернув головы.

Выбиваясь из сил и охваченная страхом, я шла дальше. Уже совсем стемнело, и вокруг не было ни души. Вдруг слева у дороги показался небольшой дом со светящимися окнами. Оттуда вышел мужчина и выплеснул воду из таза прямо на дорогу. К нему я бросилась с тем же вопросом: «Как пройти на Луначарского 17?»

Мужчина внимательно глянул на меня, взял за руку и завёл в дом. Там сидели две женщины и резали яблоки кружочками на сушку. Видимо, это был один из пунктов Опытной станции. Женщины обсушили, обогрели меня и, должно быть, расспросили. Потом мужчина завернул меня в фуфайку, посадил в двуколку и повёз в город. Впервые в жизни мне довелось ехать в таком экипаже, да ещё с лошадкой, но после всего пережитого не было радости в моей детской душе. О кукле я уже не думала.

Когда двуколка выехала на тускло освещённую улицу Луначарского, я увидела, что вдоль неё бежит моя мама, а навстречу ей идет человек с ребёнком на плечах, и мама в большом беспокойстве спрашивает его: «Скажите, там, в детском саду есть ещё дети?»

Прохожий не ответил, наверное, не понял. Я, увидев маму, застыла, будто меня сковали. Мужчина, привёзший меня в двуколке, услышал её вопрос и закричал: «Женщина, вот ваш ребёнок!» Но мама с досадой отмахнулась от него, и в тревоге опять обратилась к прохожему: «Там, в детском саду ещё остались дети?» Тут я, наконец, закричала: «Мама!»

На этом можно было бы поставить точку, если бы у этой истории не было драматического продолжения. Примерно через полгода, помню, что было уже очень тепло, мама привела меня в здание, расположенное около небольшого сквера возле Днестра. В этом скверике в то время стоял на пьедестале советский танк, первым ворвавшийся в освобождённый от немцев Тирасполь. Рядом со сквериком было здание народного суда. Мы вошли внутрь. Там посреди большой пустой комнаты стоял стул, а на стуле в профиль ко мне сидела худая, изможденная, молодая женщина и смотрела безучастным взглядом в стену.

Мама спросила меня: «Это та женщина, которая тебя увела?» Я ответила: «Да». Мне было ясно, что это не она, та была молодая и красивая.

Но я сказала: «Да», чтобы утешить маму. Что стало с этой женщиной, я так никогда и не узнала. Как и не узнала имени мужчины – моего спасителя.

Величественный памятник полководцу Суворову, основателю города, восседающему на отлитом из бронзы коне, поставили тираспольчане недалеко от здания суда, куда мама водила меня пятилетнюю. Как-то оказавшись возле этого памятника уже взрослой, я вспомнила о женщине, сидевшей на стуле, и о моих «показаниях». «Ну зачем, зачем я тогда сказала «Да»?», – назойливо застучало в висках. – Что с ней стало? Даже если эта несчастная и была замешана в моём деле, то ведь со мной, слава Богу, ничего не случилось. И потом, прошло уже столько лет...»

И вот теперь я заявляю: «Это была не она».

Я прошу, отпустите её!

НЕЧАЯННАЯ ВСТРЕЧА

*«Не властны мы в самих себе
И, в молодые наши леты,
Даём поспешные обеты,
Смешные, может быть, всевидящей судьбе».*

Е. Баратынский (1823)

Удивительно, как легко я узнала этого человека. Ведь видела его, может быть, раз или два в жизни, да и то больше четверти века назад. Но об этом потом. А сейчас в маленьком зале здания еврейской общины с золотым куполом собралось молдавское землячество Берлина и его окрестностей. Звучала молдавская музыка, бурлящая, как весенний речной поток и своей энергией увлекающая за собой. Мне предложили сыграть на этом вечере. Люди ещё только собирались.

Раздумывая, куда сесть со скрипкой, я остановилась в проходе. Мимо прошел невысокий плотный мужчина с проседью в волнистых волосах. Что-то в его облике показалось знакомым, и я невольно глянула ему вслед. Не может быть... В следующую минуту сомнений уже не было. Когда мужчина, возвращаясь, поравнялся со мной, спросила:

– Простите, вас не Леон зовут?

– Да, – удивился он, быстро окинув меня взглядом, – а вы кто?

– Помните детскую библиотеку в маленьком южном городке? Моя мама работала в читальном зале.

Это озадачило его. Сдвинув брови и с трудом шагнув в прошлое, он произнёс:

– Да, да, припоминаю.

Мне было лет двенадцать, когда в маминой библиотеке появилась практикантка, вчерашняя десятиклассница. Хотя ей было всего девятнадцать лет, звали её по имени-отчеству: Анна Дмитриевна, что делало её в моих глазах взрослой. Она была сиротой, жила у тётки. Сотрудницы библиотеки принимали в ней большое участие. Им она доверительно рассказала, что мать, умирая, наказывала ей:

– Выходи замуж за еврея, будешь хорошо жить.

Время было послевоенное, нелегкое.

Анна Дмитриевна была грациозной стройной девушкой с тонкими чертами лица и глубокими тёмными глазами. Говорила она высоким голосом, слегка растягивая слова, как будто жалуясь, и в манерах у неё было что-то барственное. Работая в библиотеке, она вечерами посещала драмкружок в городском Доме культуры. Там, среди самодеятельных актёров, она познакомилась с еврейским парнем, который учился в пединституте, играл на скрипке и неплохо пел. Это был обаятельный юноша с приятным лицом и волнистыми волосами.

Не он ли тот самый?

Ухаживая за Анной Дмитриевной, он иногда заходил в библиотеку, и немолодые сотрудницы таяли, произнося его имя: «Ле-он!». Вскоре стало известно, что Леон женится на Анне Дмитриевне, и молодые уезжают в маленький городок, где жили его родители. В нашем городе с его смешанным населением этот брачный союз никого не удивил. Все в библиотеке радовались счастью бедной девушки.

Через год я уехала учиться в столицу республики. Окончила училище, консерваторию, начала работать, у меня появилась своя семья. Прошло не одно десятилетие. Ничто не напоминало мне о судьбе девушки из библиотеки.

Однажды, переходя дорогу недалеко от дома, я увидела идущую навстречу Анну Дмитриевну. Внешне она мало изменилась, и голос её звучал так же жалобно-тягуче. Обрадовавшись друг другу, мы отошли в сторону, и я услышала рассказ об её жизни. Троллейбусы, шурша, проносились мимо, люди спешили по своим делам, а для нас как будто и не было этой четверти века, и мы сразу сравнялись в возрасте.

В том маленьком городке Анна Дмитриевна и её муж работали в школе, он учителем, она библиотекарем. Оба руководили художественной самодеятельностью, устраивали вечера, проводили праздники, и были в почёте. Жили у родителей Леона. Старый тесть был тяжёлым

деспотом, вспоминала она. Он совсем не соответствовал тому образу добродетельных мужей – евреев, который когда-то сложился у нее в голове. Мать Леона немало от него натерпелась. Так и жили. Анна Дмитриевна научилась готовить еврейские блюда, делала даже фаршированную рыбу. Выросли их два сына. В семье часто говорили по-еврейски, по праздникам пели еврейские песни, и мальчишки знали идиш, а у нее с языком не вышло. Иногда ей казалось, от неё что-то скрывают, разговаривая на своём языке, и порой она улавливала недовольство во взгляде мужа. Но молчала, стараясь не думать об этом.

Анна Дмитриевна рассказывала, а я соображала. В провинциальном городке, в традиционную еврейскую семью, не признававшую смешанных браков, сын привез русскую невестку... Ох, нелегко было ей... Но успешный муж, двое сыновей, устроенный быт, интересная работа – было ради чего терпеть. Да и она сделала всё, как мама велела.

– Муж задумал переехать в город побольше, – продолжала Анна Дмитриевна.

Он устроился на работу в школе, поменял квартиру, которая досталась им от умерших родителей, и они живут здесь, в этом районе. Вот как! В нашем районе, где мы были свидетелями его становления.

Прошло немного времени, и я столкнулась с Анной Дмитриевной в дверях хлебного магазина. Мы остановились на минутку, и она поведала свою тревогу: муж познакомился с женщиной, её зовут Белла. Стал уходить из дому, одно время отсутствовал, потом вернулся. Голос её звучал совсем беспомощно. К тому же, она одна в чужом городе, ни родных, ни друзей...

– А что дети? – спросила я.

– Дети тоже предатели, – сказала она с горечью.

– Они говорят: ну, так папа погулял на старости лет...

В следующий раз мы сидели с ней на скамейке возле моего дома. Слушать её рассказ было тягостно. Муж всерьёз влюбился, и теперь, накануне серебряной свадьбы они стоят перед разводом. Анна Дмитриевна прикрыла лицо рукой, но слёзы, несмотря на преграду, струились по её щекам. Она в отчаянии, не знает, что предпринять, нервы на пределе, ей уже пришлось какое-то время провести в неврологическом диспансере. Она говорила и говорила, а моя душа исходила состраданием к ней. Ужас её положения пронзил меня до немоты. Долго сидели мы тогда на той скамейке. Слёз у неё уже не было. Она сидела прямо, смотрела перед собой и разговаривала со мной, меня не видя. Голос её звучал глухо и странно. Собравшись с мыслями, я стала что-то говорить, пытаюсь облегчить её душевную боль. Но всё было тщетно, бедная женщина была безутешна. Она уже не слышала меня. Она не слышала никого. В

полном смятении рассталась я с Анной Дмитриевной. Больше мы не встречались, но долго ещё в моём мозгу, как беспокойный мотылёк, трепетал вопрос: «Как она там?»

Последующие события отвлекли меня от этих дум. К тому времени в городе уже вовсю поднимались националистические настроения. После концерта к ноябрьским праздникам, который проходил во Дворце «Октомбрие», нас, музыкантов, долго не выпускали из здания, потому что мимо шла возбужденная и агрессивная толпа демонстрантов. Первые сигналы будущих перемен в мире заставили задуматься о судьбе собственной семьи и детей. Вскоре мы эмигрировали в Германию.

Издали я следила за Леоном. Он подошел к привлекательной, немного полноватой женщине, сидящей за круглым столом, и произнес её имя. Боже мой, да это же Белла! Одного взгляда было достаточно, чтобы оценить её полную достоинства зрелую красоту. Спокойным, уверенным взглядом окидывала она зал. Леон склонился к ней, и в лице его, в мягкой его улыбке я прочла, что он любит, любит её, а она радостно подняла к нему глаза, и стало ясно, что это счастливая пара.

Вечер был в разгаре. Земляки делились воспоминаниями и новыми впечатлениями. Три женщины спели под аккомпанемент гитары несколько еврейских песен. Парочка активных толстячков озвучила юмористический монтаж. Прошел конкурс на лучшее знание еврейских кулинарных рецептов. После него разгорелась дискуссия о том, какую начинку положено класть в настоящий еврейский штрудл, и какое название правильное – «штрудл» или «баклава». Атмосфера в зале стала совсем семейной. Где-то слышались взрывы хохота, там рассказывали анекдоты. Я сыграла, как было обусловлено, несколько молдавских вещей. Тут ко мне подошел Леон с просьбой разрешить ему поиграть на моей скрипке, его инструмент не в порядке. С большим интересом вслушивалась я в его исполнение. Играл он на удивление хорошо, с чувством и шармом, присущим одарённым самодеятельным музыкантам. Потом спел приятным тенором несколько песенок на идиш. Зал отозвался щедрыми аплодисментами.

Возвращая скрипку, Леон рассказал, что живет недалеко от Берлина, и сыновья тоже с ним в этом городе. «А Анна Дмитриевна умерла», – произнес он, как бы отвечая на мой немой вопрос. На лице его появилась гримаса не то боли, не то досады, а может, это было и то и другое вместе. Прощаясь, мы обменялись телефонами, договорились как-нибудь встретиться, посидеть, вспомнить прошлое, да так и не встретились. Наверное, и не надо. Вспоминать нам было уже нечего.

«Крепка, как смерть, любовь; стрелы её – стрелы огненные...»

Леонид Немировский

НАШИ УНИВЕРСИТЕТЫ

Не знаю, простое ли это совпадение, или наметилась тенденция? На моей памяти три человека примерно за год до смерти решили навестить родные места, покинутые ими в детстве накануне эмиграции. Я говорю о трёх великих музыкантах: Владимире Горовце, Леонарде Бернстайне и Игоре Маркевиче. Двоих родители увезли в Америку. Маркевич с семьей поселился во Франции.

Начало 80-х годов. Москва теснилась слухами о редком музыканте, заведомо королевских и президентских залов и т.д. Выяснилось лишь, что он родился в Жмеринке, а в 25-м году отбыл в Америку. Это были скудные сведения о великом пианисте, чьи «клавиши» добрую половину двадцатого века восхищали цивилизованный мир. Сейчас мы ждали его в Москве.

Увиденное и услышанное было сродни обману, астигматизму – зрения, слуха, привычного представления о музыке!

...Густо освещённая сцена Большого Зала Консерватории казалась пустой. Куда-то уплыл блестящий чёрный «СТЕЙНВЕЙ». В центре, будто на якоре, благородно-коричневого цвета дрейфовал, интригуя зрителя, камерный рояль. Нетерпение росло. В дальней кулисе появился человек, направляясь к роялю... Рабочий, или настройщик?

Но человек почему-то улыбнулся залу и начал говорить с ним по-английски. Мы поняли: это – Горовец! Нам ясно было всё, хотя английского никто не знал. С нами разговаривали его глаза, мудрые глаза еврейского Бога, тихо сошедшего на сцену...

А затем он играл. Это было продолжение разговора, но уже на привычном, музыкальном языке. Не ясно только было, почему Шуберт или Шопен звучит не так, как принято слышать, как этому нас учили. И не понятно, на какой волне восприятия, но пальцы пианиста, нежно массируя клавиши, убеждали, что Шуберт – именно такой, Шопен – такой,

а Моцарт, сидя у Бога на ладонях и улавливая Его идеи гениальным ухом с миниатюрной мочкой, звучит только так, а другим быть не может!

...Это был обман, но обман в о з в ы ш а ю щ и й. Мы слушали, верили и по-другому принимать уже не могли. Он играл божественно, умудряясь и во время игры метать добрые, ироничные взгляды. А мы, упиваясь звуками, с лукавым нетерпением ждали завершающего аккорда, за которым, глуша овации, последует всё разъясняющая улыбка.

Это была одна из его последних репетиций-конcertов в Москве... Потом он играл в Ленинграде, Киеве. Горовец прощался с Россией, прощался с миром, который он любил, который его боготворил.

Впервые этот Человек появился в Москве в 1959-м, после Вана Клиберна (Международный конкурс имени Чайковского). Оглушительный американский десант! На дворе «оттепель». Оттаяла и политика: американцы на время стали друзьями... А затем – глубокий долгий лёд, протянувшийся на десятилетия.

В 1988-м году по миру прокатился Фестиваль молодежных симфонических оркестров. И вот Человек снова в Москве. Концерты в Зеленом театре, в Филармонии, Консерватории... Легендарный Леонард Бернстайн – композитор, дирижёр, уникальный интерпретатор Густава Малера – руководит молодежным студенческим оркестром! В программе: Первая, юношеская, симфония Дмитрия Шостаковича.

(Легендарный Бернстайн? А мы его и не знали. Спасибо кино, показавшему «Вестсайдскую историю» и поведавшему нам о мюзикле. А Бернстайн – дирижёр? Это ведь отдельная эпоха! Нам залепили глаза, законопатили уши. Не отвлекайтесь, товарищи, стройте своё будущее... Мир хорошо знал Кандинского, Малевича, Филонова, Фалька, слушал музыку Малера, видел экзальтирующего, потеющего от счастья Бернстайна, без проблем смотрел кино «Смерть в Венеции», наслаждаясь зрительно-звуковой органикой: Дирк Богарт и божественное малеровское «Адажиетто».)

А мы ещё долго «расшифровывали» Прокофьева, привыкали к Шостаковичу, пялились на холсты Кандинского, аки на коровью мазню, не подозревая в них симфонию цвета.

А бедный Малер, ещё в 19-м веке поносимый музыкальным вождём «Могучей кучки», гениальный Густав Малер – у нас до сих пор не понят, а потому и не принят. Такая вот жёсткая логика! Для Шостаковича Малер был кумиром. Ну что из того: нам бы с Шостаковичем разобраться.

И вот звучит его Первая, юношеская симфония в исполнении молодёжного симфонического оркестра. За дирижерским пультом – Леонард Бернстайн!..

Мы слушали её неоднократно, знали почти наизусть: озорная, студенческая с присущей композитору иронией музыка. И никак не увязанное с этим траурное шествие... И вдруг, по воле дирижёра, именно это шествие – вскрыло тайный смысл симфонии, заложенный юным гением Шостаковича: «Жизнь, её радости – лишь приятная прогулка перед Вечным сном!»

...Концерт окончился. Бернстайн сидел в центре растянувшегося стола в тускло освещённом фойе. Несмотря на усталость, он был возбуждён, приподнят в ожидании встречи с людьми, разделившими с ним сегодняшний вечер. Всё походило на тайную вечерю, или на тайную исповедь. Он говорил с каждым из нас. Мудрый, слегка ироничный еврейский взгляд притягивал, завораживал, оставляя ощущение близкого родства: ведь его родители, давние выходцы из местечка под Ровно, и, наверное, наши предки – из одного корня. Мы все вернулись в детство... Через полтора года Леонарда Бернстайна не стало. Я, не любитель автографов, оставил себе память об этом Божественном Человеке.

Да, он был великий дирижёр – американец с русскими корнями!..

Дирижерская школа в России с отъездом в Америку Сергея Рахманинова (1918г.) практически исчезла. Ситуация наладилась где-то в середине века: в Москве «завучал» Александр Гаук, в Ленинграде – Евгений Мравинский. Блистательные педагоги ленинградской Консерватории Илья Мусин и Николай Рабинович плодили талантливых учеников.

Для московских студентов «шестидесятые» явились счастливой порой. Следом за Клиберном и Бернстайном к нам пожаловали Караян, Лорин Мазель, Клаудио Аббадо с умопомрачительными спектаклями театра «Ла Скала». Вся эта гениальная лавина чудным образом ворвалась, качнув дамбу, отделявшую нас от мира.

В 1963-м году в Союз прибывает известный французский дирижер Игорь Маркевич. Восхитительные концерты в Москве: гениальное прочтение музыкальной классики с присущей дирижёру сверхэлегантной манерой исполнения!

И вот кафедра Консерватории (не блиставшая педагогическими талантами) приглашает маэстро сделать мастер-класс с последующим проведением учебного семинара... «Но не предвидел Юлий Кломпус, что это был опасный шаг».* Студенты полюбили педагога безгранично: талант, волшебное обаяние. В нём жила Франция со всей её культурой – от барокко, романтизма до импрессионизма и «новой волны»! Естественно, в следующий приезд маэстро в Москву семинар пришлось повторить. Однако, увидев, как студенты привязались к своему кумиру, решено было семинары прервать, а на состоявшемся Всесоюзном Кон-

курсе дирижеров его обожателей «срезать», чем и посрамить Дьявола!

Позже ученики Маркевича нашли свои достойные места: Владимир Кожухарь возглавил оркестр в Киеве, Джансуг Кахидзе – в Тбилиси, Тамила Кольчинская – в Израиле и Америке. Но на том «Празднике дирижеров» им определили позорные арьергардные места. А главные призы конкурса достались «блатным»: родичу музыкального босса А. Михайлову и Максиму Шостаковичу, бесталанному наследнику, при жизни отца ещё нелицеприятно о нём отзывавшемуся и ловко ухватившему наследство по смерти Композитора.

...А Игорь Маркевич ещё не раз нам дарил концерты-праздники. В последний свой приезд он посетил Киев, где имел особенный успех: ему аплодировала публика города, в котором 70 лет назад великий музыкант родился и прожил целых два года перед отъездом в Париж...

В 1983-м сердце музыканта перестало биться. Но биение дирижерской палочки, движение его элегантных рук над волшебной музыкой – всегда с нами!

** Фраза из поэмы Давида Самойлова.*



[259]

Ди П 19 / 2015

Новые переводы

Давид Яновский

С немецкого

ГЕНРИХ ГЕЙНЕ

(1797 – 1856)

* * *

Не верю я в небо святое,
Сказок поповских предмет,
Я только в глаза твои верю,
В них мой небесный свет.

Не верю я в Господа Бога,
Сказок поповских предмет,
Я в сердце твоё лишь верю,
Другого Бога мне нет.

Не верю я в демона злого,
Про муки ада враньё;
Я только в глаза твои верю
И в сердце злое твоё.

* * *

Жизнь – сияние жаркого дня,
А смерть – холодная ночь.
Уже темнеет, мне хочется спать,
Долгий день утомил меня.

Растёт над моею кроватью вишня,
Поёт на ней молодой соловей;
Поёт он о звонкой любви,
Мне и во сне это слышно.

ЛИОН ФЕЙХТВАНГЕР
(1884 – 1958)

[261]

ПСАЛОМ О МУЖЕСТВЕ

Хвала тому, кто в битве как мужчина
Себя ведёт. Повсюду свищут стрелы
И сталь звенит. Перед его глазами
Мечи мелькают. Смерть перед собою
Он видит, но её он не боится.

Отваги это требует, конечно,
Но мужественным в битве быть не трудно,
Бойцы отвагой делятся друг с другом,
И каждый верит: смерть его минует.
Как никогда, в сраженьи ощущает
Себя бессмертным каждый из бойцов.

Но всё же выше мужество того,
Кто к дикарям в затерянные страны
Один идёт, чтоб жизнь их изучать.
Или того, кто, стоя у руля,
Когда кругом одна вода и небо,
Ведёт корабль к далёким берегам,
Чтобы открыть неведомые страны.

Однако так же, как луна бледнеет,
Когда восходит солнце, так бледнеет слава
Их всех пред славою того, кто в бой идёт
За то, что не увидеть, не потрогать.

Произнести его хотят заставить слово
Бесплотное, придуманный фантом,
Что прозвучит, и сразу же исчезнет,

Которое никто и не услышит.
Но он откажется его произнести.

А иногда приказывает сердце
Произнести решительное слово.
И знает он, что это смерть сулит,
И что наградой единственной будет
Ему лишь гибель страшная, и всё же
Он это слово громко произносит.

Вот, если кто-то жизнь свою положит
На то, чтоб власть добыть или богатство,
То знает точно он за что воюет,
И цель свою он видит ощутимо.
Но что такое призрачное слово?

Поэтому я вам и говорю:
Хвала тому, кто смерть принять готов
За слово, что в его родилось сердце.
Поэтому я вам и говорю:
Хвала тому, кто слово правды скажет.
Поэтому я вам и говорю:
Хвала тому, кого нельзя заставить
Произнести заведомую ложь.

Он в суете унылых наших дней
На самое тяжёлое решился.
Сказал он смерти жестом: «Приходи!
К тебе готов я за одно лишь слово.
Я твёрдо откажусь от слова лжи,
И оглашу бесстрашно слово правды.»

Хвала тому, кто к гибели готов
Всего за слово. Это та отвага,
Которую сам Бог благословит.

МАКС БРОД
(1884 – 1968)

УРОК ДРЕВНЕЕВРЕЙСКОГО

Мне было тридцать лет, когда я начал
Учить язык народа своего. И мне
Казалось: тридцать лет я был глухим.

Меня вдруг потрясло то, что давно таилось.
Оно меня, как молния, пронзило.
Забытые во мне проснулись звуки,

Что в колыбели я слышал когда-то.
Они сопровождали детство, юность
И первую любовь, и возмужанье.

Но слишком поздно колыбельная вернулась.
Ко мне она вернулась злым упрёком
И как раскаты грома, принесла

Она сумятицу и боль. Но я покорно
Склонил пред нею голову: так мать
Ругает в гневе нас. И это было

Слияние потоков, звон пустыни,
Забытый звук шофара; и как будто
Меня с горы позвал наш старый Бог.

КЕТЕ ЛЯЙХТЕР
(1895 – 1942)

*Социолог, видный деятель социал-
демократической партии.
Родилась в еврейской семье в Вене.
В 1939 году с мужем и двумя сыновьями
бежала в Швейцарию. В том же году
возвратилась в Австрию для антифашистской
пропаганды. В 1938 году арестована.*

*Прошла тюрьму, гестапо и Равенсбрюк,
где погибла в газовой камере.*

**МАЛЕНЬКИЙ
КРАСНЫЙ КИРПИЧ**

Ты летаешь из рук в руки,
разрывая кожу на пальцах,
с которых капает кровь,
разрывая наши сердца,
что так бурно и жарко стучат.
Камни для дома чужого,
а до нашего так далеко...

ЭРИХ КЕСТНЕР
(1899 – 1974)

**ТЫ ЗНАЕШЬ КРАЙ,
ГДЕ ПУШКИ РАСЦВЕТАЮТ?**

Ты знаешь край, где пушки расцветают?
Не знаешь? Так узнай: он полон шарма.
Чиновники в бюро там восседают
Надменно, как фельдфебели в казармах.

На пиджаках погоны там растут.
Там нет голов, хоть у людей есть лица.
В незримых шлемах люди там живут.
В постели – начинают вмиг плодиться.

Когда начальник там чего-то хочет,
(Его профессия – чего-нибудь хотеть),
По стойке «Смирно!» там стоят все, молча.
Равнение направо! Замереть!

Рождаются там дети у жены
Со шпорами, с ружьём, с прямым пробором.
Там только лишь военные нужны.
Там штатским быть считается позором.

Ты знаешь этот край? Он мог бы стать счастливым,
Он много счастья всем бы приносил.
Там уголь есть и сталь, там есть сады и нивы,
Усердие и труд, и много добрых сил.

Там, если строят, – то одни казармы.
Ты знаешь край, где пушки расцветают?
Не знаешь? Так узнай: он полон шарма!
Плоды свободы там не созревают.

[265]

СТЕЛЛА РОТЕНБЕРГ
(1916 – 2013)

* * *

*Поэт-лирик, родилась в Вене,
в еврейской семье.
В 1939г. бежала в Англию, где
и жила до своей смерти.
Её родители и почти все
родственники погибли от рук
нацистов.*

ГОВОРЯТ...

Говорят, евреи слишком умны,
за это они гонимы.

Гонимые – впереди гонителей,
это неоспоримо.

БИОГРАФИЯ

Родилась
во время войны
в Вене,
умерла
во время войны
по дороге в Минск,
убита эсэсовцем
из Вены

за то, что быстрее не могла идти.
От неё не осталось
ни имени,
ни костей,
ничего от неё не осталось,
кроме негромкого крика.

ОТВЕТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПОСЕТИТЬ ГЕРМАНИЮ
ПОСЛЕ 1945 ГОДА

С кем буду я говорить?
В чей дом я войду с доверием?
Кто из них убил мою мать?

А ведь все они выглядят, как люди...

Леонид Бердичевский

Сиврита

ХАИМ НАХМАН БЯЛИК
(1873 – 1934)

ВЕСНА

Свежий ветер подул. Обнажился простор.
Небо ярче и цвет облаков серебристей –
это значит, весна опускается с гор,
на деревьях вот-вот уж появятся листья.

А вокруг тишина. И победа весны
знаменуется песней, пока ещё робкой,
но дыханье природы плывёт с вышины, –
это юность весны устремилась по тропкам.

Свежий ветер подул, нарушая покой,
направляя мой взор на улыбку природы,
просыпается зелень кустов под росой,
и деревья дают свои первые всходы.

Скоро брызнет в глаза многоцветие роз,
перестанут терзать беспокойные мысли,
возвратится из юности трепетность грёз,
и печаль унесётся дорогой тернистой.

САУЛ ЧЕРНИХОВСКИЙ

(1875 – 1943)

СОНЕТ

Природа, ты безостановочна в пробеге,
всегда взволнована при солнце и дожде.
Так повелось давно, и суждено вовеки, –
тебя не изменить в безумной чехарде.

Моя душа спешит, не мысля о ночлеге,
природе вторю я годами, – ночью, днём.
Я также нахожусь в неудержимом беге, –
решаем многое с природой мы вдвоём.

Пленяет скорость волн, что яростно о скалы
разбившись в пыль, летят, но повторяют вновь,
сначала в дерзкий путь – ведь к скалам их любовь
ведёт хоть этот путь коварный и немалый.

Вот так и я, снося пощёчины судьбы,
не жажду от неё ни крохи похвальбы.

Сидиш

САМУИЛ ГАЛКИН

(1897 – 1960)

Я ВОЗВРАЩУСЬ ДОМОЙ...

Я возвращусь домой, ведь песня мной не спета.
Там небо и земля ведут свой мирный спор,
там мягкая зима, там благородно лето,
хрустальные ручьи, смеясь, сбегают с гор.

Я знаю, там меня ещё не позабыли,
там каждая судьба несёт особый звук,
я возвращусь домой, свои расправив крылья,
размах у них широк, простором в сотни рук.

В моём пути преград достаточно случится,
неважно, – я хочу вернуться в дом мечты,
в котором встречу вновь свои родные лица,
и близких голоса, и милые черты.

ИЦИК МАНГЕР

(1901 – 1969)

[269]

ГРУСТНАЯ ПЕСЕНКА О НЕЖНОСТИ

Мне б хотелось для тебя купить луну
Из бумаги с серебристо-чистым звоном.
Я б в неё своё дыхание вдохнул,
И на дверь твою повесил восхищённо.

Я б поставил перед дверью трёх солдат
В голубых мундирах, только для дозора,
И полковника, – чтоб полным был наряд,
из японского тончайшего фарфора.

Чтоб свой пост не оставляли допоздна,
Чтобы каждый был внимателен и весел.
Стопку выпил бы искристого вина.
за здоровье моей маленькой принцессы

«Мы серьёзны, – мне полковник говорит,
обнажая свою сабельку кривую, –
напускаем строгость, пусть Господь простит,
но солдаты из фарфора не воюют».

Я с солдатами стою в одном строю
Перед дверью моей маленькой принцессы.
Прямо с неба, чтоб на дверь её повесить,
Золотую снял я для неё звезду...

А когда с чужбины навсегда вернусь,
Я на грудь принцессы сразу перевешу
Ту звезду с двери, – она сверкает пусть,
Как моё напоминание про нежность.

С французского

ТРИСТАН КОРБЬЕР

(1845 – 1875)

[270]

НОЧНОЙ НАТЮРМОРТ

Вникая в спор колоколов,
Его восприняла, как зов
Кукушка, что в часах хлопочет.

И восковые слёзы пьёт
Свеча, предчувствуя восход,
Хоть улицы в объятьях ночи.

Но вот, со скрипом, в тишину
Прёт катафалк навстречу сну, –
Несёт он страшную посылку.

И стая шумная ворон
Смолкает, слыша тяжкий стон, –
Покойник ждёт, сжевав улыбку.

АРТЮР РЕМБО

(1854 – 1891)

ВЕЧЕРНЯЯ МОЛИТВА

Как Ангел я, – свободен и беспечен.
В истоме целый день за пивом провожу.
Другим живот развлечь мне больше нечем,
Чтоб был он парусом, – за этим я слежу.

А осень мне несёт свои рулады.
Сонливую тоской закован я весь день
И ничего иного мне не надо,
Поверьте, совершать мне что-то, право, лень.
Меня на миг покинула дремота,

Её сменила полнотой икоту, –
Оглядываюсь, где поблизости пустырь.

Его заметив, – радостен безмерно, –
Среди густых я примостился терний, –
На них я облегчил свой мочево́й пузырь.

[271]

АНТОНИН АРТО

(1890 – 1948)

МОЛЬБА

Приносит в теле жар нам головную боль.
Он не зависит от излучений неба,
Которые летят, но боль здесь не причём,
И нет влиянья их на состоянье.

Оставим всё на рассмотрение неба,
И вспышки пропасти, явивгися нам,
Летят на землю, как сверло, вращаясь,
И головы кружат до горького накала.

От насыпи из звёздных дыр мы голодны,
Но голод этот тих и недокучлив.
Он шлёт потоки к кровяным сосудам, –
Достаточную дозу звёздной лавы.

Мы исчезаем постепенно, по частям,
С изрезанными жаркими руками.
Укройте нас волной из небосвода,
По направленью к смерти –
к самому концу.

Наш мозг в наследство сохранён, потомкам,
Для глубины их будущих открытий.
Похитив нас из нашего рассудка
Тайфунами, – ловцами катаклизм.

ЖАН ФОЛЛЕ

(1903 – 1971)

РИСУНКИ

Вот клиент
В ресторанном полумраке,
Вынимает ядра из миндаля,
И кладёт их в тонкую руку.
Он поводит плечом,
Выпивая стакан воды.
Лес белеет вдали
Под снежным покровом.
Крупная официантка
Остановилась,
Ей нравится увиденное...
Всё это картины зимней ночи, –
Они замедленны.
Конец страницы
В этой удивительной книге.
Слова в ней напечатаны
Разборчивым шрифтом.

*С польского***ЯРОСЛАВ ИВАШКЕВИЧ**

(1896 – 1980)

СЧАСТЬЕ

Почувствовать мгновенья терпкий вкус.
Ножом разрезать белую бумагу.
Ладонью укротить огня отвагу.
Как конь, безропотно, тащить свой груз.

Деревьев кроны приласкает луч.
Коня поводья раззадорят ноги.
И сделать шаг, решительный и строгий,
Чтоб шарик легче плыл в соблазне туч.

МУЗА

И день уже не в день, и ночь – не в ночь,
Когда вдали ты исчезаешь, Муза,
Свои по крохе удаляешь узы,
Ничем не в состояньи мне помочь.

Затем себя ты проявляешь вновь, –
Мой лоб клюёшь, как разъярённый ворон,
И я улавливаю рокот моря,
И сердце бурно заливают кровь.

В своих руках зажала острый нож,
И им моё ты сердце пробиваешь.
И то, что жизнь – почти что смерть – ты знаешь,
А то, что смерть – почти что жизнь – поймёшь.

ТАДЕУШ РУЖЕВИЧ
(1921 – 2014)

МОЙ ДЕНЬ

День к концу подошёл.
Закончился ужин.
После чистки зубов
Излит поцелуй.

Это только лишь день,
Тёмный, короткий,
Неповторимый.

Что случилось со мной?
День прошёл,
Промелькнул.
С утра и до ночи,
Такой же. как все.

Мой единственный день,
Чем меня одарил?
Не заметил его я.
Полагается так

Выйти прямо с утра,
И в полдень вернуться.
Повторится всё вновь
До раскладки вещей.

Мой единственный день –
Лучший мой бриллиант,
Этот яркий мой день.

Выражаю, мой день,
Я тебе восхищенье
Всею улыбкой души,
И открытостью сердца.

[274]

Д и П 19 / 2015

Асониа Бердичевский

Феликс Фельдман

С немецкого

ЭРИХ МЮЗАМ
(1878-1934)

БОЛЬ ЗЕМЛИ
ФЕВРАЛЬ 1915

Нависли звёзды глубже, чем всегда,
взгляд их тревожный заполнен огнём,
в нём отблеск боли, людская беда
и кровь, отражаясь, пульсирует в нём.
На срам наш не пьяйтесь в безрадостный час
о, звёзды, вы божьего света часть.
Наш звездоподобный блеск угас
и травит божественность нашу напасть.
Бесчинствует смерть. Война ревёт.
Бушуют страхи, земля чадит.
И Бога втоптали молитвой в помёт...
Пред звёздами неба – жалящий стыд!

НАДЛОМ

Потуже стянут поясок.
Желудок пуст. В кишках шумок.
В грязи трухлявое пальто.
Рубаха, словно решето.
Подошвы в лужах знают толк.

Взаймы кто даст? Кто даст мне в долг?
Кто ссудит талер, ссудит в долг?

Нет денег, шнапса, баб, еды.
В костях и теле знак беды.
Жестка постель. Морозна ночь.
Ни блох, ни вшей терпеть невмочь.
Хоть мир велик, но зол, как волк.
Взаймы кто даст? Кто даст мне в долг?
Кто ссудит талер, ссудит в долг?

Прошу всего лишь талер дать:
Для шнапса! Чтобы выбрать бл-дь!
Мне бл-дь иль пессию одну!
Вся жизнь моя пошла ко дну!
Лишь талер, голод чтоб умолк!
Взаймы кто даст? Кто даст мне в долг?
Кто ссудит талер, ссудит в долг?

ПЕСНЬ ВОЙНЫ

Колют, жгут, палят, стреляют,
рёбра, черепа ломают.
Шпионаж, грабёж, поборы,
шествия, патруль, дозоры,
кровь и брань; голодны, хворы...
Таков солдат, таков канон,
ружье в руке, вооружен,
ножом в другой вооружен –
и с Богом, с нами Бог,
так с Богом за страну и трон.

Из дерьма и сквозь клоаку,
всем вперёд ползком в атаку!
Шквал огня – рывок – гранаты –
раны – трупы – в землю вмяты –
браво, смелые солдаты!
Таков солдат, таков канон,
крестом пруссачим награждён,
баварский наградной жетон,

и с Богом, с нами Бог,
так с Богом за страну и трон.

Смирно! Мы не в карантине,
подравняться, эй вы, свиньи!
Тест врача – ослаблен, болен,
отпуск, отдых недозволен,
в караулке подконтролен.
Таков солдат, таков канон.
Так точно! Господин барон,
готов к атаке эскадрон!
И с Богом, с нами Бог,
так с Богом, за страну и трон.

Брань. Вперёд! Табак в кисете,
штык да нож, да тмин в пакете.
Смерть иль выиграть сраженье!
Нам признать ли поражение!
Ключья тел, уничтоженье.
Таков солдат, таков канон –
промок от пота балахон,
хлобыщет кровь со всех сторон,
и с Богом, с нами Бог,
так с Богом за страну и трон.

Бомба, грохот, вверх подброшен –
чрево вскрыто, крик истошен.
Небо красное, кошмары –
чёрт возьми! Носилки, нары...
Мама! Мама!! Санитары!!!
Таков солдат, таков канон,
песок во рту, последний стон,
земля на память с похорон –
и с Богом, с нами Бог,
так с Богом за страну и трон.

ЭЛЕГИЯ ВОЙНЫ

Песнь свою, года листая,
правлю сердцем в чуткий стих,
дар похвал не забывая

почитателей своих.
Но забыты песнопенья
теми, песнь кому дарил.
Нет среди душ того прозренья,
кто б достоин песни был.
А героев в наше время
кто же носит на руках:
смелость – дисциплины бремя,
матерь героизма – страх.
И любовь, души отраду
не восславят струны лир.
Зло готовит ей преграду,
зло – и долг, и лязг мортир.
Вместо радости лишь стоны,
гаснет прежний блеск светил.
Также песни наши тонут
в мраке фронтовых могил.

ГЕРТРУДА МАРКС (1851-1916)

* * *

Я отдаю слова бумаге на поруки,
Что тишине подскажут жгучесть дня.
Напев пера рождает песен звуки,
Мелодией заботы оттесня.
Столярный труд мне не взвалить на плечи,
Надеяться могу и просто ждать,
А время, что калечит, также лечит:
На всё про всё лишь божья благодать.

* * *

Всего-то эхо я и отзвук лишь,
Где голоса звучащие бытуют,
Прекрасный тон которых сохранишь,
Что с трепетом внутри души дрейфуют.
Я эхо в поиске желанных слов
И тех тонов, которые не бремя
Для слабых рук, хранящих тот улов,
Что души матерей несут сквозь время.

* * *

Зимний ужас, смерть и предки,
Сход к загробной тишине,
Шлют потомкам предки метки,
Люди гибнут на войне.

Юность ловит хватом встречным
Смерти стылая рука,
Всех страшит молчаньем вечным
Зов могильного холмка.

Стихли общие тревоги,
Отдых ищет плоти ткань,
Но родной земле в итоге
Платят все лихую дань.

Будь то долгими годами
Люд терпел и скорбь, и мрак,
Но пред ложем смерти сами
Исподволь смиряли шаг.

Подсознательно, вне воли,
Быть решаясь иль не быть,
Люд, оплакивая боли,
Всё же движим страстью жить.

* * *

Душевный мир твой – личная тетрадь;
Где нет судьи, не нужен и проситель.
Но каждый благодарно должен знать,
Что божьей благодати он носитель.

А жизнь твоя лишь сужженный аванс,
Которым управлять достойно можно,
И для руки дающей – это шанс
Продлиться благом в ближнем непреложно.

[279]

Ди П 19 / 2015

Новые переводы

С английского

РУПЕРТ БРУК

(1887 – 1915)

СОЛДАТ

Когда умру, хочу чтоб каждый знал,
Что есть клочок земли в чужих краях,
Где Англия отныне. Здесь я пал
И в почве тучной погребен мой прах:
Прах края. Здесь я вырос, просвещён,
Любовь познал и шел страны путями;
Я солнцем Англии, ветрами освящён,
Омыт её святыми родниками.

И помни, сердце воина вне зла,
Пульс памяти в нём сохранит всегда
Английской мысли дар неистребимый,
И дух, и песнь, что родина дала,
И смех друзей, и мирные года
Под райским небом Англии любимой.

С идиш

Х. ЛЕЙВИК (ГАЛЬПЕРН)

(1888 - 1962)

ПОЛОЖИ ГОЛОВУ

На плечо мне положи –
голову свою,
дети могут засыпать,
взрослым я пою.

Дети заняты игрой
знают в играх толк,
а играть с самим собой –
взрослых вечный долг.

Не пугайся, я ведь здесь,
спи, доверься снам –
ты уже заплакан весь,
что привычно нам.

Вытри слезы, не тужи,
я тебе спою;
на плечо мне положи
голову свою.

[281]

Д и П 19 / 2015

Новые переводы

Белла Якубова

С немецкого

ИОГАНН ВОЛЬФГАНГ ГЁТЕ
(1749 – 1832)

НАД ЗЕМНЫМ ШАРОМ

Между высотой и бездной
Я парил, окинув взглядом,
Всей планеты многозвёздной
Красоту, что синью рядом.

Днём, когда открылись дали,
На земле увидел горы,
Ночью звёзды засверкали,
Из вершин соткав узоры.

И теперь все дни и ночи
Слаблю я свободы лики.
Все, кто в правду верит очень,
Те прекрасны и велики.

ЧТО ШИРОКО, ТО УЗКО

Обязан терпеть, кто скромн.
Кто дерзок, должен страдать.
И каждый из них виновен, –
За всё ему отвечать.

ФЕНОМЕН

Когда стеною дождь идёт
Охватывая душу страхом,
Ты видишь радуги восход,
Ты увлечён её размахом.

Вдали едва заметен круг,
Увы, затянут он туманом,
Но радуга бледнеет вдруг,
Небесным схвачена обманом.

Придумай что-нибудь, старик,
Чтобы себя не огорчая,
Когда уж седины достиг,
С любовью встретишься случайно.

МНОГО СОВЕТОВ

Хоть с любым поговори, –
Он тебя не слушает.
Хоть другому отвори,
Мысль свою и душу ты.

Тот услышит, но совсем
Он иного мнения.
Уши прячет он зачем,
Исчерпав терпение?

Мир как будто незнаком,
И лишён он времени.
Осознав себя при том,
Не совсем потерянным.

ГЕНРИХ ГЕЙНЕ
(1797 – 1856)

БЕГСТВО

[284]

Д и П 19 / 2015

Морской прилив рычит, как пьяный,
в блестящем лунном освещенье.
качает лодочку упрямо, –
влюблённым только в ней спасенье.

«Ты очень бледен, ты испуган,
люблю тебя я, мой любимый.
Взгляни! Они гребут с натугой, –
отец нас встретит, поглядим мы.

А может вплавь теперь пытаться? –
ты мой единственный на свете.
Я слышу, стал уже ругаться,
и штормы проклинаяет ветер.

Старайся голову повыше
поднять над этою волною.
Кругом вода, – она всё ближе,
и лодочка полна водою.

Уж ноги затекли порядком, –
о. мой возлюбленный, родной мой.
И станут нам кончиной сладкой,
объятья, – души успокоив»

* * *

Укутаны в грозные, серые тучи,
спят трепетно, тихо, великие боги.
Разносится всюду их храп всемогущий, –
тревожно нас шторм сотрясает в дороге.

Бушует погода! Из туч заливает,
судёнышко наше почти что разбито.

Ах, кто этот шторм наконец обуздает,
от буйства природы спасёт, оградит нас.

Увы, не желает стихия смириться,
грозит она мачте, – но выхода нету.
Решил я плащом с головою укрыться,
и встретить с богами гладь моря и света.

[285]



Оглавление

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Яков Раскин.	6
Феликс Фельдман	18
Анжелла Подольская	26
Давид Яновский	40
Игорь Коган	47
Леонид Бердичевский	58
Саади Исаков	68
Вера Фёдорова	85
Константин Кербель	93
Бронислава Фурманова.	101
Давид Брацлавер.	108
Марина Авербух.	112
Олег Никогосян	125
Ирина Амлински	133
Елена Зельгер.	141
Елена Ямова.	146
Татьяна Устинская.	151
Галина Фирсова.	154
Вениамин Палагашвили	161
Леонид Немировский	165

ПУБЛИЦИСТИКА. МЕМОАРЫ. ЭССЕ

Леонид Бердичевский	167
Мина Полянская	174

Генриетта Ляховицкая	190
Алесь Таранович	208
Карл Абрагам	224
Станислав Львович.	235
Светлана Сокольская	248
Леонид Немировский	255

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

Давид Яновский	260
Леонид Бердичевский	267
Феликс Фельдман.	275
Белла Якубова.	282

[287]

